

Марк Алданов

БЕГСТВО

Предисловие

Критики называли «Ключ» — «Бегство» историческим романом. Думаю, что это неверно. Во всяком случае, мой замысел был иной: на фоне перешедших в историю событий только проявляются характеры людей.

Возьму для примера главы «Бегства», действие которых происходит в Киеве. Едва ли нужно объяснять, что если б я хотел подойти к украинским событиям в качестве исторического романиста, — я очень расширил бы эти главы и построил бы их совершенно иначе. В действительности, моей целью, конечно, не была картина большого и разнородного движения, в котором принимало участие много достойных людей. Мне важно было лишь выяснить, как поведут себя в связи с событиями на Украине некоторые действующие лица романа, оказавшиеся в 1918 году в Киеве.

С гораздо большим правом можно было бы сказать, что я подошел, как исторический романист, к большевизму. Однако и здесь меня меньше интересовали события, чем люди и символы, — очень внимательный читатель заметит и то, что их связывает с моей исторической тетралогией.

К людям «Ключа» — «Бегства» я, быть может, вернусь.

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Между двойными стеклами окон осенью не положили ваты, не поставили стаканчиков с серной кислотой. Паркетов не натирали три месяца, субботних уборок не делали. Но работы у Маруси было больше, чем прежде. После смерти барыни горничная ушла, и Маруся осталась у Яценко одной прислугой. Доходы ее от этого не увеличились; на чай теперь почти никто не оставлял; в передней, уходя, гости надевали шубы без помощи Маруси и, стараясь на нее не глядеть, смущенно выходили на улицу. Маруся у дверей строго-пристально на них смотрела, впрочем, больше потому, что этого требовал профессиональный долг. В действительности чувства ее были сложные: ей и жалко было господ, но было и приятно, что все они разорились. Такое же чувство, только еще более тонкое, Маруся испытывала и в отношении Николая Петровича. Соболезнование в ней преобладало: она искренно любила барина, Витю и заливалась непритворными слезами, когда от новой болезни, называвшейся испанкой, скорострительно умерла Наталья Михайловна (хоть ее прислуга любила значительно меньше). Тем не менее Маруся говорила теперь с Николаем Петровичем грубовато-фамильярным тоном, который прежде был бы невозможен. Жалованья ей давно не платили. Питались они все хуже. Съестные припасы трудно было доставать в Петербурге и за большие деньги, а у них в доме денег было очень мало. Витя завтракал в училище, обедал и жил у Кременецких, которые на время взяли его к себе после смерти Натальи Михайловны. Николай Петрович был теперь ко всему равнодушен. Вид у него был ужасный, — все к нему приходившие говорили это в один голос, чувствуя, что такие слова приятны Николаю Петровичу.

Об ужасном виде Яценко в этот темный зимний день сказал с силой, точно требуя каких-то выводов из своих слов и соответственных действий, Владимир Иванович Артамонов, забежавший к ним на минуту. В ту зиму 1917—18 гг. люди не просто приходили друг к другу в гости, а забежали на минуту, о чем тотчас, еще в передней, предупреждали, как

бы успокаивая хозяев. Это нисколько не мешало оставаться долго, до позднего вечера: делать всем было нечего. Впрочем, и поздний вечер теперь наступал в десять или в одиннадцать. Прежде в эти часы настоящие петербуржцы еще подумывали у себя дома, не пойти ли попозднее куда-нибудь скоротать вечерок. Теперь после полуночи выходить на улицу было неприятно: из уст в уста ежедневно передавались рассказы о ночных нападениях и грабежах в лучших частях города.

Приятеля часто бывали у Яценко. Дома никому не сиделось, а к Николаю Петровичу ходить было естественно, никакого предлога не требовалось: приходили его развлекать после случившегося с ним тяжкого несчастья. «Да, доброе дело посидеть с ним, хотя, знаете, бывает и тяжело, — говорили друзья, — ведь совсем разбитый конченный человек...» Развлекали Яценко по-разному: одни старались разговаривать о посторонних предметах, другие, напротив, умышленно говорили о покойной Наталье Михайловне и, в отсутствие Николая Петровича, доказывали, что именно так и нужно поступать: «Что ж с ним о политике разговаривать, это фальшь: у него ведь только покойница на уме и, наверное, ему гораздо приятнее, когда говорят о ней».

Впрочем и те, которые так думали, скоро с воспоминаний о Наталье Михайловне переходили на другой предмет, единственно всех тогда занимавший: говорили о том, что надо уезжать, что «быть Петербургу пусту» (кто-то разыскал и пустил это старинное предсказание), и сообщали новые слухи о *них*, об их делах и намереньях (большевиков в столице называли не иначе, как *они*). Маруся, подав чай без сахара и хрустальную вазочку с вареньем, оставшимся от барыни в большом количестве, у порога открыто прислушивалась к разговорам господ, что, конечно, также было бы невозможно прежде.

— А вот, помяните мое слово, дражайший Семен Сидорович, больше двух месяцев они не продержатся, — горячо говорил Артамонов Кременецкому, тоже зашедшему провести Николая Петровича. — Два месяца и каюк, попомните мои слова!

— Попомнить попомню и, разумеется, все это мыльный пузырь и препоганый мыльный пузырь, — озабоченно отвечал Кременецкий — а все-таки пора, батенька, на юг. Ведь и два месяца надо как-нибудь прожить... Что ж делать? Волен, болен народ...

Артамонов и Кременецкий прежде никак не стали бы называть друг друга «дражайший» и «батенька». Они и знакомы были далеко не близко.

— На юг! — воскликнул Владимир Иванович и сгоряча взял еще варенья из вазочки, на которую он дивно поглядывал (ему и хотелось сладкого, и совестно было в голодном Петербурге обедать Николая Петровича). — Чем же на юге лучше?

Завязался спор. Артамонов признавал, что народ болен, но не мог понять, почему он болен только на севере. Семен Исидорович объяснял это историческими причинами, разницей в характере землевладения в Великороссии и на Украине. Спорил Кременецкий очень учтиво, с оговорками в пользу противника, разве только чуть иронически, — так опытный оратор, отвечая в заключительном слове оппонентам, вежливо оговаривается: «вероятно, я выразился недостаточно ясно», давая, однако, понять интонацией, что дело отнюдь не в неясности его выражений, а в глупости его оппонентов.

— Я старый строй не защищаю, — кричал не совсем кстати Владимир Иванович, — многое у нас было худо, но такого, такого у нас с сотворения мира не было!..

— Да кто же говорит? — удивлялся Семен Исидорович. — Я говорю не о старом строе, а о проблеме дня.

— И я о проблеме дня!

— Факт налицо: юг сыт, а север голодает. Марфуша покушай, а Макавей поговей... И уж одно я твердо знаю — это то, что полтавские дядьки ни о каких рачьих и собачьих депутатах слышать не хотят. Поверьте мне, оздоровление придет оттуда, в результате сначала дезинтегрирующего, а потом интегрирующего процесса...

— Да что ваш юг, его и вообще, увидите, не сегодня — завтра целиком оккупируют ваши немцы! — кричал Владимир Иванович. Он все еще ненавидел немцев, но гораздо менее остро, чем прежде, и больше не называл их швабами.

— Юг, если хотите, мой, — с достоинством отвечал Кременецкий, — а немцы так же мои, как ваши.

— Вы как знаете, а я под защиту немецких штыков становиться не желаю!

— И я поверьте, не желаю, но что ж теперь делать? Разве я не говорил с первого дня революции, что этот человек погубит Россию?..

Николай Петрович не раз слышал такие споры с разными вариантами. Он устало слушал и иногда для приличия вставлял несколько слов.

Защитив свой взгляд, Семен Исидорович взглянул на часы и поднялся.

— Однако, пора, девятый час, — сказал он и простился с хозяином, особенно крепко пожав ему руку. Николай Петрович проводил гостя в переднюю и там еще раз сердечно поблагодарил Кременецкого за Витю.

— Верно, он вам в тягость.

— Да что вы, как вам не стыдно! — с чувством сказал Семен Исидорович. — Мы все с ним так сжились, он у нас теперь как родной. И вы знаете, он полезен в доме: бывает, Муся уходит под вечер, так нам спокойнее, когда он ее провожает: все-таки не одна, вдвоем не так жутко.

— Ну, спасибо... Поблагодарите, пожалуйста, и Тамару Матвеевну. А милая невеста ваша как?.. Когда же свадьба? — спросил устало, с видимым усилием, Николай Петрович. Семен Исидорович развел руками.

— А я знаю, когда? — недовольно ответил он. — За погодьем перевозу нет. Когда война кончится, тогда и свадьба... Если она когда-нибудь кончится, проклятая. Ну, прощайте, дорогой... Ах, да, — добавил он, не совсем естественно заторопившись и поднимая со стула из-под меховой шапки что-то завязанное в бумагу. — Имею поручение, впрочем не к вам, а к Марусе. Жена велела вам сие передать. Мы с оказией получили от родных с юга целое сокровище, — смеясь, сказал он, — так вот малую толику Тамара Матвеевна просит вас принять в презент... Возьмите, Маруся.

— Спасибо большое... Но, право, это лишнее, у нас все есть.

— Как же все? Что вы! Сахару во всем доме ни кусочка, — вмешалась Маруся, с удовлетворением принимая объемистый пакет.

— Не знаю, право, как вас благодарить за вашу любезность.

— Неужели вам не совестно?.. Я вам говорю, мы целую Голконду¹ получили. Хотим даже по сему случаю устроить пир на весь мир, то есть позвать на обед вас и еще двух-трех друзей... Предупреждаю, обед и с Голкондой будет скверный: минули дни счастливые Аранжуэца!² Попили их кровушки, правда, Маруся?.. Очень, очень вас просим... И Вите будет так приятно.

— Спасибо...

— Значит, придете... Что ж, дорогой Николай Петрович, надо крепиться и взять себя в руки, — застегиваясь, сказал вполголоса Кременецкий. Он подумал, что в этот день ни разу в разговоре не вспомнил о Наталье Михайловне (Семен Исидорович доказывал, что надо о ней говорить с Яценко). — Близкие уходят, а нам приказывают долго жить. Я уверен, и покойница хотела бы, чтоб вы бодро перенесли это ужасное испытание... Берите пример с Вити. А уж как он ее любил! — сказал Кременецкий тем книжно-плаксивым тоном, которым теперь обычно говорили с Яценко. — Так до скорого свиданья...

Он вынул заложенную в левую перчатку ассигнацию и сунул ее Марусе, которая очень его выделяла из числа гостей.

— До свиданья, Маруся... Если что нужно, протелефоньте.

¹ Государство в Индии (XVI—XVII вв.), славилось добычей алмазов.

² В Аранхуэрсе (Испания) произошло восстание, результатом которого было отречение монарха и отставка премьер-министра.

Семен Исидорович поднял воротник, вышел, тут же забыв о Николае Петровиче, и кликнул извозчика. Экипажа у него с октября не было.

Яценко вернулся в столовую. Артамонов тоже с ним простился. Он и задержался для того, чтобы не выходить с Кременецким, которого все-таки недолго любил, несмотря на сблизившую их общую петербургскую беду.

— И вы уходите? Спасибо, что зашли, Владимир Иванович, — безучастным голосом сказал Яценко. Артамонов взглянул на него и вдруг вспомнил Наталью Михайловну, прежний милый дом, где так были рады гостям. «Да, здесь конечно, — тоскливо подумал он. — А может, везде конечно, и старое никогда не вернется...»

— Ну, прощайте, дорогой друг, — сказал он, крепко стиснув руку Николаю Петровичу.

На кухне Маруся развернула пакет. Там было два фунта прекрасного сахара-рафинада, кофе, конденсированное молоко. Она с особым удовольствием разложила все так, как лежало при Наталье Михайловне, когда были полны стоявшие на полках фаянсовые коробки с надписанными названиями продуктов. Маруся собиралась уходить, но, не удержавшись, тут же поставила на огонь воду, насыпала кофе в мельницу и привычным движением принялась вертеть ручку. Это доставило ей такое удовольствие, что она нарочно медленно вертела, то открывая, то закрывая полукруглую крышку, под которой понемногу опускалось зерно. Когда ручка пошла легко, впустую, Маруся вытащила из мельницы ящик, с наслаждением понюхала ароматный коричневый порошок и сварила кофе. Она налила себе стакан, выпила, улыбаясь от радости, горячего кофе с двумя кусками сахара, с полной ложкой конденсированного молока. Затем поставила другой стакан с сахарницей на поднос и торжественно понесла в кабинет барина.

Николай Петрович лежал на диване. Он теперь и спал в кабинете. Вместо ночного столика у дивана стоял табурет, покрытый газетным листом, который никогда не менялся.

— Кофе принесла, — сказала Маруся радостным и гордым тоном.

— Спасибо... Поставьте сюда.

— Сейчас бы выпили... Горячий...

— Да, я сейчас выпью... Вам нужно что-нибудь?

— Денег на завтра дайте... В лавке будут с утра давать сало, если не врут, — взволнованно сообщила Маруся. — Свиное топленое по четыре двадцать, скотское по два пятьдесят.

Яценко вынул желтую ассигнацию.

— Хватит?

— Как же может на все хватить? — кисло сказала Маруся. — Ну, да я скотское куплю, самую малость.

— Да, скотское. Больше ничего? — «Прежде не говорили скотское сало, — подумал он. — Все и в мелочах стало грубее»...

— Больше ничего... А я сейчас уйду, Николай Петрович, — сообщила для сведения Маруся и удалилась в свою комнату, не дожидаясь ответа. Яценко, наверное, разрешил бы Марусе уйти, но она не прочь была показать, что теперь никаких разрешений не требуется.

В своей комнате Маруся принарядилась, затем достала из ящика листок сероватой плотной бумаги: приглашение на бал. Наверху листка было от руки написано: «Развеселая танцулька», а внизу: «Цена пять рублей». Но Маруся не платила: ей в подарок прислал билет знакомый матрос. Одевшись, осмотрев себя в зеркало, припудрившись пудрой барыни, она потушила свет и обошла квартиру. Везде все было благополучно. Маруся спустилась по черной лестнице и вышла из дому, вздрагивая от холода и волнения: на улице было жутко.

II

Николай Петрович тотчас после февральской революции был назначен по своему

ведомству на видную должность четвертого класса. Быстрый скачок по службе его смутил, — особенно неловко было перед старыми сослуживцами. Но в ту пору посыпалось очень много самых неожиданных назначений, и скрытое раздражение против адвокатов, сразу захвативших самые видные посты, было столь велико среди деятелей суда, что свой человек, хотя бы получивший необычное повышение, почти не вызывал недовольства. Никто вдобавок не мог обвинить Яценко в подлаживании к новому правительству: его давняя репутация либерала была всем известна.

Октябрьский переворот положил конец службе Яценко. С этим событием почти совпала по времени смерть Натальи Михайловны. Таким образом сразу разбилась и личная жизнь Николая Петровича, и жизнь внешняя, налаженная двадцатипятилетней привычкой.

Яценко проводил дома почти весь день. Хуже всего было по утрам: он просыпался в восьмом часу с чувством нестерпимой, смертельной тоски. Днем, после обеда, приходил Витя, потом являлись гости. Длинное утро было нечем заполнить. Николай Петрович много читал, преимущественно философские книги.

Вскоре после октябрьской революции ему пришлось продать часть библиотеки: книжный кооператив любителей взялся ее продать на выгодных условиях. Прежде расстаться с книгами было бы для Николая Петровича делом немыслимым. Теперь это сошло много легче, — чуть неловко было перед Марусей и перед теми знакомыми, которые находились в лучших условиях. Откладывая в ящик толстые томы Чичерина, Градовского, Соловьева, Николай Петрович припоминал, когда и где он приобретал эти книги, как заботливо отдавал их в прочный полукожаный «с углами» переплет; он прежде надеялся, что книги эти будет когда-либо читать и Витя. Николай Петрович снимал книги с полок и заботливо укладывал их в ящик, подбирая сходные по формату томы. В правом углу ящика между двумя горками образовался глубокий провал, пригодный для книг большого формата. Яценко рассеянно окинул взором полки, подыскивая, что бы такое сюда положить. По размеру очень подходили тома «Handwörterbuch der Staatswissenschaften»³, — стоявшие на третьей полке. Вдруг воспоминание полоснуло болью Николая Петровича: словарь был подарен ему Наташей ко дню его рождения. Он страстно хотел купить это издание, но стоило оно дорого, и Николай Петрович все не решался на покупку. Наталья Михайловна изо дня в день в течение месяцев копила деньги и, собрав нужную сумму, тайком выписала словарь, название которого едва ли могла произнести. «Из тех грошей, что я ей давал на туалеты... И это для того, чтобы как-нибудь меня порадовать, — сказал себе Николай Петрович. Рыдания подступили у него к горлу. — Да, такова была вся ее жизнь: я и Витя, Витя и я, никогда ничего, ничего для себя... Какие у нее были свои радости?..» Николай Петрович вдруг беззвучно заплакал, склонившись над ящиком и опустив голову на руки.

За книгами под вечер пришел бородатый человек в никелевых очках. Сконфуженно потирая руки — совершенно так, как актеры изображают застенчивых ученых, — он назвал себя представителем кооператива и тотчас стал рассказывать, какие люди, — князья, сенаторы, профессора, — теперь должны продавать библиотеки. «Я ведь понимаю, с библиотекой часть души уходит», — книжной фразой выразил он чувства вполне искренние. По этим словам, по сконфуженному виду представителя кооператива Николай Петрович понял глубину своего социального падения.

О том, что придется делать, когда разойдутся деньги, вырученные от продажи книг, Яценко старался не думать. Они и так берегли каждый грош и жили чуть только не впроголодь. Это было одной из причин, почему Николай Петрович согласился на временный (теперь все было временное) переезд Вити к Кременецким. Ему было неловко и совестно, но

³ «Карманный словарь политических наук» (нем.)

он понимал, что в доме Тамары Матвеевны мальчику будет во всех отношениях гораздо лучше. Николай Петрович не без горечи думал, что Витя сравнительно легко перенес их несчастье. «Да, юность, юность», — говорил себе со вздохом Яценко.

Кременецкие, особенно Тамара Матвеевна, приняли живейшее участие в горе Николая Петровича. Витя был принят у них как родной сын. Семен Исидорович, тоже почти не занятый теперь, приезжал к Яценко два-три раза в неделю. Тамара Матвеевна беспрестанно звала к себе Марусю и давала ей то белую муку, то колбасу, то консервы. Из деликатности она часто брала за эти продукты деньги, «по своей цене», но всегда выходило так, что стоили они баснословно дешево.

Другие приятели тоже очень тепло отнеслись к горю Николая Петровича. Ему казалось, что в общей беде люди стали добрее. Приходили к нему даже мало знакомые люди. Так, однажды пришел Александр Браун. Этот неожиданный гость был чрезвычайно неприятен Яценко, — он сам не вполне понимал, почему именно. Вид у Брауна был, впрочем, в самом деле жуткий, и немногочисленные слова его дышали злобой. В тот вечер, когда он зашел, вскоре после кончины Натальи Михайловны, у Николая Петровича было несколько человек гостей. Говорили о новой болезни, пронесшейся в то время по всей Европе. Кто-то заметил, что процент смертности от испанки ничтожен.

— Если бы болезнь эта была смертельной, — сказал с усмешкой Браун, — в ней по крайней мере было бы возможно увидеть «перст карающей судьбы». Но как-то трудно допустить, что за грехи небывалой войны Провидение покарало нас — инфлуэнцой.

Гости замолчали. Это замечание показалось им бестактным и неуважительным в отношении Николая Петровича, у которого испанка унесла жену.

— Ах, неверие, неверие, — сказал со вздохом Кременецкий, — пора все это пересмотреть. Ведь современная наука не стоит на точке зрения материализма и позитивизма, это давно пройденная человечеством ступень. Будущее мыслится мне как своеобразный высший синтез научного и религиозного мышления... Лично я давно пришел к вере в Бога, — сказал Семен Исидорович, ободряя Николая Петровича и как бы свидетельствуя, что вера в Бога отныне не может считаться признаком отсталости, если лично он к ней пришел.

— При виде того, что творится... — начал было Яценко и не закончил. — А вы? — спросил он Брауна.

— Пока Господь Бог меня не лишит рассудка я в Него не поверю, — ответил, засмеявшись, Браун.

И опять резкость, бестактность этих слов, особенно этот неприятный, почти грубый смех кольнули всех гостей. «Атеизм с остротами, очень дешевая вещь», — подумал тоскливо Яценко. Браун тотчас встал и простился.

Николай Петрович выпил кофе, затем снял бархатное покрывало с дивана и сел на постель в раздумьи, безжизненно опустив голову на грудь. «Где же люди, с которыми прошла моя жизнь? — спросил себя он. — Тот говорил: „часть души“... Да что же осталось теперь от моей души?.. Умер отец, умерла мать, сестра. С Наташей исчезло остальное, главное... Что осталось? Политика, служба... Выдуманный мир... Друзья детства? — Он вспомнил киевскую гимназию, радости, жгучие интересы тех дней, катящиеся вниз по улицам весенние потоки, залитый майским солнцем Царский Сад... — Кажется, никого больше нет... Может быть, иные где-либо и доживают свой век, как я. Для меня и они умерли... Кроме Вити никого и ничего нет... Да и ему я больше не нужен...» Николай Петрович припоминал все то тяжелое, что выпадало в жизни на его долю, служебные неудачи, личные обиды, разочарования в людях, которых он считал приятелями, клевету, мерзкие сплетни, пускавшиеся о нем, как обо всех, — это казалось ему теперь совершенно ничтожным. Но почти столь же ничтожным казалось ему теперь и все, что еще могло ждать его в жизни. «Ничего, ничего не осталось, — думал он, и холод все рос в его душе. —

Кажется, уж и недолго ждать... Пора, пора», — сказал себе Яценко, взглянув на фотографию Натальи Михайловны, стоявшую на табурете у дивана. Николай Петрович подумал, что именно тогда, когда он смотрел на портрет жены, да еще на кладбище у ее могилы, ему всего труднее было обратить свои мысли к Наталье Михайловне: самые скорбные, щемящие душу воспоминания всегда приходили случайно.

— Да, пора, — повторил он вслух и, вздрогнув, принялся раздеваться. На табурете, вокруг лампы, уже были привычные места для часов, ключей, бумажника. Слева в углу оставалось ничем не занятое место, и там, в старом номере газеты, Николаю Петровичу неизменно бросались в глаза одни и те же строки:

«По требованию гласного Левина, предложение о том, чтобы вся дума пошла в Зимний Дворец, подвергнуто было поименному голосованию. Все без исключения гласные, фамилии которых назывались, отвечали: „Да, иду умирать“ и т. п.».

III

Семен Исидорович с некоторой растерянностью отнесся к помолвке своей дочери: уж очень было странно, что Муся выходит замуж за английского офицера. Осложнялось дело еще и денежным вопросом. О приданом Муси теперь говорить было, затруднительно. Состояние Кременецкого было вложено в государственные бумаги и в акции надежных частных предприятий. Еще год тому назад близкие люди знали, что Мусе назначено в приданое не менее ста тысяч рублей, скорее сто пятьдесят тысяч, а если потребуется, то и все двести. В 1917 году эти цифры потеряли прежнюю внушительность. За доллар приходилось платить пять думских рублей. Никто не сомневался, что столь чудовищный курс не может продержаться долго. Однако именно теперь, как раз тогда, когда было нужно, приданое Муси выражалось в иностранной валюте невзрачной, неприятно звучащей суммой, — как назло, в Англии была такая крупная валютная единица. После октябрьского переворота дело стало еще сложнее. Правда, Семену Исидоровичу незадолго до восстания большевиков удалось, при любезном посредстве Нещеретова, перевести часть состояния в Швецию.

Жизнь Семена Исидоровича шла (хоть он об этом никогда не думал) по двум главным, параллельным линиям: по линии идейно-общественной и по линии материальных интересов. Кременецкий пользовался в делах репутацией человека безукоризненного. Однако свои интересы он всегда умел отстаивать и ограждать превосходно. Так, разговаривая с богатыми клиентами, из которых иные были связаны с ним и по общественной работе, Семен Исидорович очень легко, без всякого видимого усилия, даже почти бессознательно, переходил с одной линии на другую, если беседа вдруг перескакивала с общих вопросов на дела. Линии эти скреститься не могли: то, что Кременецкий иногда со вздохом называл своим «общественно-политическим служением», никак не мешало ему брать с богатого клиента максимальный гонорар, который клиент мог заплатить по роду дела, по своему состоянию и по своему характеру. Не мешало оно Семену Исидоровичу и получать по льготной цене разные учредительские или другие паи в предприятиях его богатых клиентов. В связи с войной прежде строго параллельные линии грозили скреститься. В первые годы войны в обществе относились несочувственно к переводу денег в нейтральные страны; да это было и запрещено. Однако по мере того, как шли события, Семен Исидорович задумывался: переводить деньги за границу было неловко (впрочем, делалось это в секрете); но и оставаться без средств до той поры, пока доллар не будет снова стоить два рубля, Семену Исидоровичу не улыбалось. Летом 1917 года Нещеретов предложил ему комбинацию, при помощи которой, без серьезного нарушения закона, можно было перевести деньги в шведский банк. Семен Исидорович высказал сомнение, — допустимо ли это по соображениям политическим. Нещеретов вытаращил глаза и с беспокойным любопытством подумал, что, вероятно, Кременецкий имеет возможность переводить деньги за границу по лучшему курсу.

В сентябре сомнения Семена Исидоровича рассеялись: у него была семья. Сумму денег

он перевел довольно порядочную, однако выкроить из нее приданое для Муси было трудно. Семен Исидорович вздохнул свободнее, когда жених его дочери как-то в разговоре дал понять, что ему ничего не нужно. Из того же разговора выяснилось, что Клервилль, будучи лично человеком не очень богатым, должен со временем получить наследство от чудачки-тетки, у которой было восемь тысяч фунтов годового дохода. Это сообщение чрезвычайно порадовало Кременецких. Семен Исидорович увидел в нем что-то английское: в его кругу никто не получал наследства от теток, — все имели детей, жен, мужей. Нечто приятно-английское было и в определенности самой цифры, — восемь тысяч фунтов в год: в Петербурге большинство богатых людей никак не могло бы назвать цифру своего дохода: один год — шальные деньги, другой — сидишь с чистым убытком. Кременецкие с ласково-сочувственными улыбками слушали рассказы майора о причудах старой тетки. Выяснилось, что ей семьдесят два года: это тоже было хорошо. Был разговор о деньгах и вечером в спальне Кременецких.

— Он прекрасно понимает, что ты не обидишь Мусю, — говорила мужу Тамара Матвеевна, зная, как ему неприятно отсутствие приданого у дочери. — Рано или поздно все ей достанется, мы с собой не унесем... Все говорят, что за Заем Свободы уж всякое правительство заплатит полным рублем. И потом акции банков, ведь это все равно, что золото!

— Конечно... Нет, это прекраснейший человек, из самого лучшего общества, и джентльмен с головы до пят! — бодро говорил Семен Исидорович. — Муся будет с ним очень счастлива...

Тамара Матвеевна поддакивала и вздыхала.

Нещеретов бывал в доме Кременецких очень редко. Говорили, что его увлечение госпожой Фишер превратилось в связь, довольно дорого стоившую Аркадию Николаевичу: спорное наследство Фишера находилось под секвестром, и его вдова нуждалась в деньгах. А после октябрьского переворота ее права вообще стали довольно сомнительной ценностью. Несмотря на помолвку Муси, Кременецкие в душе не прощали Нещеретову того, что он не оправдал их надежд. Но они поддерживали с ним добрые отношения, чтобы никто и подумать не мог, будто они хотели выдать Мусю за «этого толстосума».

Общественное положение Семена Исидоровича не выросло в последний год. Он не сделал политической карьеры в пору Временного правительства. Несмотря на его связи и популярность, еще увеличившуюся в связи с юбилеем, никакого поста Семену Исидоровичу не предложили. Друзья настойчиво намекали в правительственных кругах, что Кременецкий, вероятно, согласился бы помочь правительству личным трудом. Однако из этого ничего не вышло. Семен Исидорович небрежно говорил, что никакой должности не принял бы, так как настоящий адвокат должен оставаться на своем посту. Он иронически отзывался о своих коллегах, ставших сенаторами или товарищами министра, и охотно, со всякими расписываньями, передавал анекдоты о новых сановниках, об интригах, ходатайствах, забеганьях с заднего крыльца, предшествовавших их назначению. О самом Временном правительстве Кременецкий уже летом отзывался с большой горечью, а с осени называл его «преждевременным правительством».

Октябрьская революция выбила Кременецкого из колеи, как всех. Семен Исидорович старался бодриться, однако очень нервничал, оставшись без дела. Нервничала и Тамара Матвеевна, поддаваясь, как всегда, настроению мужа. Правда, им было гораздо лучше, чем большинству их знакомых. Некоторые прямо голодали. По доброте своей и по общему с мужем радушию, Тамара Матвеевна подкармливала друзей, находившихся в особенно трудном положении. Делали это Кременецкие незаметно, со всей возможной деликатностью, — деликатность так их самих умиляла, что они даже ее преувеличивали, как в обращении с Витей. Тамара Матвеевна видела, что им живется много лучше, чем другим; но она чувствовала, что Семен Исидорович так жить долго не может: работа, судебные речи,

общественная жизнь, отзывы в газетах ему были необходимы, как воздух.

В эту пору одно небольшое обстоятельство, случившееся год тому назад, странно сказалось в жизни Кременецкого. Незадолго до своего 25-летнего юбилея Семен Исидорович получил билеты на концерт, устроенный украинской организацией, и, находясь в особенно добром настроении духа, послал тогда устроителям пятьдесят рублей. В этой щедрости организация усмотрела сочувствие Кременецкого. С тех пор ему часто посылались разные билеты, приглашения, брошюры. У Семена Исидоровича понемногу завязались украинские связи. Сам он родился в Вильне, но родители его были родом из Малороссии и гимназию Семен Исидорович окончил в Харькове. Прежде Кременецкий в разговорах об украинском движении обычно со смехом рассказывал, что в малороссийском переводе монолог Гамлета начинается словами: «буты чи не буты, от то заковыка». Теперь он избегал шуток на эту тему.

В ноябре один из новых знакомых принес Семену Исидоровичу с таинственным видом какую-то бумагу и долго с ним после того беседовал. В этой бумаге, называвшейся третьим универсалом, говорилось: «Народ украинский и все народы Украины! На Севере и в столицах идет междоусобная и кровавая борьба. Центральной власти нет. И по всему государству растут безволие, анархия и разруха. Не отделяясь от республики Российской и сохраняя единство ее, мы твердо станем на нашей земле, чтобы силами нашими оказать помощь всей России. До созыва Украинского учредительного собрания вся власть принадлежит нам, Украинской центральной раде, и правительству нашему — Генеральному секретариату Украины»...

С этого дня в разговорах с приятелями Семен Исидорович часто, с озабоченным видом, обращал их внимание на «чрезвычайно любопытный документик, Третий универсал Центральной Рады». Приятели изумленно его переспрашивали: никто не знал ни что такое Рада, ни что такое универсал, ни какие были два первые универсала. Семен Исидорович отвечал на эти вопросы быстро и сбивчиво.

— Это не суть важно, — говорил он, показывая документ, — и не в словах дело. А вот обратите, дражайший, внимание: «не отделяясь от республики Российской»... и «силами нашими оказать помощь всей России». Это не фунт изюма!

IV

Свадьба Муси была отложена на неопределенное время, что очень волновало Мусю. Она по-прежнему была влюблена в Клервилля. Тем не менее ей порою было с ним трудно и даже скучно. Приходилось подыскивать темы для разговора. Этого с Мусей никогда не бывало: она со всеми говорила, как Бог на душу положит, и всегда выходило отлично, — по крайней мере так казалось и ей, и ее друзьям.

В мире внешнем от того, что все называли блестящей победой Муси, оставались уже привычные радости: так, Глафира Генриховна лишней раз пожелтела, когда ей сказали, что Клервилль единственный наследник 72-летней богачки-тетки. «Это, конечно, приятно, но я все-таки не могу прожить жизнь назло Глаше», — говорила себе Муся. Из-за войны и политических событий почти не было приготовлений к свадьбе, подарков, заказов, скрашивающих жизнь и убивающих время. В мире же внутреннем над основой влюбленности (часто не менее страстной, чем прежде) у Муси росли неожиданные чувства. Спокойного уверенного счастья не было. Ей трудно было бы себе сознаться, что в ее сложных чувствах над всем преобладал страх, — страх перед тем неизвестным, что ее ждало.

— Когда же «enfin seuls»?⁴ — ядовито спрашивала Глаша.

Муся смущенно смеялась.

— На следующий день приходи за интервью, — говорила она как бы небрежно и

⁴ Наконец одни (фр.)

тотчас меняла разговор. Об «enfin seuls» Муся думала дни и ночи. Бывали минуты, когда ей хотелось, чтобы брак ее расстроился, но расстроился сам собою, лишь бы не по ее собственной воле. «Пусть все будет и дальше как было до сих пор!» — иногда со страхом и отчаянием говорила себе Муся, забывая, как прежде тяготилась своей беззаботной жизнью. Это настроение быстро проходило — Муся сама себя ругала «неврастеничкой» и «психопаткой». «Но ведь я *была* влюблена?» — спрашивала себя Муся и с ужасом себя ловила на этом «была». «Да нет же, и теперь все как раньше», — решительно твердила она. Все и в самом деле было как раньше, однако не совсем как раньше. Сомнения в успехе рассеялись, дело было закреплено. Клервилль стал как бы ее собственностью. Теперь надо было научиться тому, как с этой собственностью обращаться.

Больше всего Муся боялась за Клервилля, боялась, что он в чем-либо поступит не так: «сразу разрушит все», — тревожно думала она. Порою, когда они оставались вдвоем, ей стыдно было смотреть в лицо жениху, — она боялась тех мыслей и чувств, которые ему приписывала, боялась и того, что он прочтет ее собственные мысли и чувства. Иногда этот страх и стыд сказывались с такой силой, что Муся, отправляясь с женихом в ресторан, в театр, на выставку, к удивлению и легкому неудовольствию Клервилля, приглашала кого-либо из своего кружка.

Говорить с полной откровенностью Муся не могла ни с кем. Мысль об откровенной беседе с матерью пришла бы Мусе последней. С Глашей, с которой ее связывала многолетняя дружба-ненависть, в теории, «вообще», все было обсуждено также и на тему «enfin seuls», с разными подробностями, — не исключая довольно грубых. Теперь, когда Муся стала невестой, пришлось бы говорить уж не «вообще», а о Клервилле. Это было бы неловко, да и не деликатно, тем более, что у самой Глафиры Генриховны совершенно не удался роман с молодым адвокатом, которым она очень интересовалась. По словам Никонова, атака Глаши на адвоката, как наше наступление в Галиции, была отбита с уроном благодаря широко развитой сети железных дорог в тылу у противника: адвокат уехал из Петербурга. Муся весело смеялась этой шутке, уже почти забыв, что недавно она сама была в таком же положении, как Глаша, в трудной роли барышни, с беззаботным видом ловящей жениха.

— То ли дело, Мусенька, вы! Экой Перемышль штурмом взяли! — сказал Никонов.

— Перемышль очень доволен.

— Об этом мы его спросим годика через два... Что быть ему с легким украшением на голове, — с маленьким, — это, Мусенька, верно.

— Григорий Иванович!..

— Ну, что «Григорий Иванович»? Правду я говорю, Мусенька, мне ли вас не знать?

Так ему, разумеется, и надо. Gott, strafe England!⁵ — ужасно произносятся немецкие слова, сказал со свирепым лицом Никонов. Он обращал в шутку накопившееся в нем раздражение. Это раздражение льстило Мусе, как ей льстили душевные страдания Вити.

С Витей, особенно после его несчастья, она была чрезвычайно ласкова и нежна. В сравнении с той жизнью, которая перед ней открывалась, будущее Вити представлялось бедным и тоскливым. Мусе было очень его жаль: она искренно любила Витю. «В сущности я их всех люблю, — думала Муся в лучшие свои минуты (настроение менялось у нее беспрестанно), — все-таки жизнь прошла с ними, и, надо признать, прошла не так плохо...» Мысль о том, что она покидает свое общество навсегда, угнетала Мусю. Она хорошо знала своих друзей, по природе лучше замечала в людях дурное и особенно смешное, чем хорошее. Прежде Мусю раздражали снобизм Фомина, неискренность Березина, мрачная ограниченность Беневоленского. Теперь даже они казались ей людьми хорошими, вполне порядочными. «Никонов, князь, эти просто прекраснейшие, благородные люди, а Витя и Сонечка — очаровательные дети. Но и те, право, милы, хоть не без слабостей, конечно, как

⁵ Боже, покарай Англию! (нем.)

все мы, грешные...» Только Глаша продолжала раздражать Мусю, — напоследок, быть может, еще больше, чем прежде.

Витя жил у Кременецких уже довольно долго. Для него революция пришла как раз вовремя. Он сам себе говорил, что «целиком ушел в общественную жизнь для того, чтобы забыться от жизни личной». К политической свободе очень кстати присоединилась собственная свобода Вити, как раз в ту пору им завоеванная. Витя состоял в разных комитетах и вошел в школьную комиссию по изучению военно-дипломатических вопросов. В этой комиссии он прочел доклад. Полемизируя с «крайностями Милюкова», Витя доказывал необходимость довести войну до победного конца в полном единении с союзными демократиями, однако борясь с чужими и собственными аннексионистскими тенденциями (от Дарданелл Вите отказаться было нелегко). Его доклад имел большой успех, принята была резолюция Вити, — правда, с существенной поправкой оппозиции, — и он был избран для связи в центр по объединению всех учащихся средне-учебных заведений, — предполагался Всероссийский съезд. Ни в какой политической партии Витя не состоял. Он смущенно говорил товарищам, что примыкает к правым эсэрам, не во всем, однако, с ними сходясь. Вопрос о необходимости вступить в партию очень беспокоил Витю. К концу лета он было решил формально примкнуть к правым социалистам-революционерам (как и все, он не замечал забавности этого сочетания слов). Но как раз в училище прошел слух, что Александр Блок «заделался левым эсэром». Это смутило Витю: он боготворил Блока. А потом стало уже не до, партий.

Октябрьского переворота Витя вначале почти не почувствовал, — так все у них в доме было в те дни захвачено и раздавлено скоропостижной смертью Натальи Михайловны. Когда Кременецкие предложили Николаю Петровичу отпустить сына к ним, Витя слабо протестовал, не желая оставлять отца, однако скоро уступил настоянию старших. Втайне ему страстно хотелось поселиться у Кременецких: мысль о том, что он будет жить в одной квартире с Мусей, очень его волновала. Это волнение стало почти мучительным, когда ему отвели комнату рядом со спальней Муси.

Кременецкие отнеслись к Вите с необыкновенной заботливостью и вниманием. В его комнату поставили большой письменный стол, кресла, диван. Тамара Матвеевна все беспокоилась, не будет ли ему неудобно, — Витя отроду не имел таких удобств. Вначале предполагалось, что он переезжает к Кременецким «на время». Но прошел месяц-другой, и не видно было, когда и почему это «на время» должно кончиться: жизнь нисколько не налаживалась; все хуже и мрачнее становилось и существование Николая Петровича. Витя никого не стеснял у Кременецких, ему все были рады. Муся же прямо говорила, когда он заикался об отъезде: «Это еще что? Ни для чего вы не нужны Николаю Петровичу, ему с вами было бы еще тяжелее. Пожалуйста, выбейте глупости из головы, никуда вас не отпускают...»

У Вити от этих слов Муси сладко замирало сердце. После октябрьской революции общественная жизнь ослабела, и его любовь зажглась с новой силой. Тенишевское училище начинало пустеть, товарищи и соперники Вити разъехались. Сообщения в городе стали труднее. Витя выходил гораздо меньше.

С Клервиллем ему было тяжело встречаться. В обществе англичанина Витя бывал мрачен и молчалив, что доставляло наслаждение Мусе. Особенно задевало Витю то, что Клервилль совершенно не замечал его ревности и был с ним очень любезен.

Зато, когда жених Муси уезжал (он уезжал из Петербурга очень часто), Витя оживал, Кременецкие теперь ложились спать рано. Муся с Витей часто подолгу вдвоем засиживались в гостиной. С ним Мусе всегда было и легко, и приятно, и интересно. Она небрежно ему говорила, что он, конечно, мальчик, но мальчик очень умный. С той поры, как репутация ума была Мусей за ним признана, Витя больше не старался быть умным, от чего очень выигрывал.

Как-то вечером Муся, жалуясь на холод в гостиной, предложила перейти в ее комнату. Постель там уже была постлана. Входя в комнату Муси, Витя из всех сил старался не покраснеть и потому покраснел особенно густо. Это тоже доставило Мусе наслаждение. Кутаясь в шаль, она села у пианино.

— Ну-с, а вы тут садитесь на ковер, — приказала Муся, чувствуя свою безграничную власть над юношей. Было совсем как в театре, — любимое ощущение Муси. Разговор не завязывался. Но это ее не тяготило; с Клервиллем молчание всегда выходило неловким.

— Так вы в самом деле поедете потом в Индию? — спросил тихо Витя.

Муся, не отвечая, задумчиво на него смотрела. И его тихий голос, и ее задумчивое молчание тоже были как в театре.

— Ну, что ж, вы скоро поступите в университет, станете большой, у вас начнется новая, интересная жизнь, — сказала она как будто нехотая, а в сущности отвечая на его мысли. Муся вдруг подняла крышку пианино.

— Скажите, вы не знаете, что теперь делает этот Браун? — будто так же нехотая, без всякой связи в мыслях, спросила она и, не ожидая ответа, заиграла «Заклинание цветов»: «E voi — o fiori — dall' ollezzo sottile...» — едва слышно, точно про себя, пела Муся. Окончив музыкальную фразу, она взглянула на Витю, улыбнулась и резко захлопнула крышку пианино, — только зазвенел хрусталь на бронзовых подсвечниках. Муся сама уже почти не чувствовала, где у нее начинается театр. Витя сидел на ковре, с лицом измученным и бледным. Муся быстрым ласковым движением погладила его по голове.

— Что, милый? Взгрустнулось?.. О Наталье Михайловне вспомнили? — спросила она.

Муся знала, что Витя совершенно не думал в эту минуту о матери, и Витя понимал, что она это знает. Но эта комедия его не оскорбила и, невольно ей поддаваясь, он сделал вид, будто Муся верно угадала его чувство.

V

Особняк Горенского на Галерной улице был вскоре после октябрьского переворота захвачен для какого-то народного клуба, и князь остался без квартиры. Такая же участь постигла доктора Брауна: гостиница «Палас» была реквизирована большевиками. По случайности, Браун и Горенский очутились в одном доме: им обоим предложил гостеприимство Аркадий Нещеретов. По столице ходили слухи, что во все слишком просторные квартиры будут вселены большевики, и богатые петербуржцы старались заблаговременно поселить у себя приличных людей.

Дом Нещеретова был вначале только взят на учет. Контора в первом этаже продолжала работать, но работала она очень плохо, — «на холостом ходу», как говорил хозяин. Поддерживались некоторые старые дела, однако и они чахли с каждым днем. Большинство служащих уже было уволено.

Нещеретов при Временном правительстве стал ликвидировать свои многочисленные предприятия. Дела тогда еще кое-как можно было вести, но они больше не доставляли ему удовольствия. Все стало непрочным. Хозяин не был хозяином, закон не был законом, контракт не был контрактом, рубль не был рублем. Не доставляла прежнего удовольствия и самая нажива. Исчезло все то, о чем прежде мало думал заваленный работой Нещеретов и что само собой должно было к нему прийти рано или поздно: чины, ордена, придворное звание, Государственный Совет. В марте люди, захлебываясь от искреннего или деланного восторга, повторяли, что жизнь стала сказочно-прекрасной. Для Нещеретова же она с первых дней революции стала серой и неинтересной. Тонкий инстинкт подсказывал ему, что надо возможно скорее переводить капиталы за границу, — и он это делал. Имел он возможность уехать за границу и сам. Но Нещеретов кровной любовью любил Россию, не представлял себе жизни на чужой земле и в глубине души предполагал, что все поправится. Как все могло бы поправиться, об этом он не думал, и уж совсем не находил, что улучшение дел в какой бы то ни было мере могло зависеть от него самого. Наведение порядка было чужим делом. А так

как люди, им занимавшиеся, явно его не выполняли, то Нещеретов с лета 1917 года усвоил весело безнадежный иронический тон, точно все происходившее доставляло ему большое удовольствие. Он любил рассказывать о происходивших событиях. Говорил он хорошо, но, как большинство хороших рассказчиков, слишком пространно и потому несколько утомительно. Вежливый князь слушал его с повисшей на лице слабой улыбкой усталости. Браун обычно вовсе не слушал.

Деньги Нещеретов переводил за границу безостановочно на свое имя. Собственно, деньги эти принадлежали не ему, а банку и акционерным предприятиям, которыми он руководил. Люди, осведомленные о переводных операциях Нещеретова, в недоумении пожимали плечами, а старый финансист, его давний недоброжелатель, с подчеркнутым, преувеличенным негодованием говорил всем по секрету, что этот блеффер должен неминуемо кончить арестантскими отделениями. Однако при ближайшем рассмотрении оказывалось, что Нещеретов ничего явно противозаконного не делал. «Комар носу не подточит», — энергично утверждал один из ближайших помощников Аркадия Николаевича.

Вскоре после октябрьского переворота в контору Нещеретова явились комиссары для ревизии дел. В отличие от других банкиров, он встретил комиссаров очень любезно, с тем же весело-безнадежным видом, сам предложил взглянуть на книги и показал целую гору книг, в которых разобраться было, очевидно, невозможно. В течение двух часов, угощая гостей чаем и папиросами, он объяснял им значение своих дел и, под конец беседы, получил от комиссаров свидетельство о том, что в делах гражданина Нещеретова все оказалось в полном порядке. В конторе после этого почти ничего не изменилось; лишь процесс перевода денег в Швецию еще несколько ускорился.

Почти ничего не изменилось и во втором этаже дома. Нещеретов продолжал жить богато, доставая за большие деньги все, вплоть до свежей икры и шампанского. Но он и шампанское пил с весело-безнадежным видом. Говорил он теперь зачем-то деланно-прикащичьим языком и своих новых жильцов называл тоже как-то странно: «сэр» или «пане». Особенно иронически относился Нещеретов к Горенскому, — быть может, потому что князь, человек очень богатый, остался после октябрьской революции без гроша: он денег за границу не переводил, да и в России ничего не догадался припрятать.

Хозяин и гости не стесняли друг друга и обычно встречались только по утрам, в столовой.

— Вчера проезжал я, сэр, по Галерной улице, — ласково сказал Горенскому Нещеретов, наливая себе чаю. — Славный у вас был домик, а? Совсем хорош домик...

— Мда, — неопределенно ответил князь.

— Кажется, товарищи им довольны. Ну, и вам, верно, очень даже приятно, что ваше добро досталось народу...

— Если б мое добро действительно досталось народу, — сказал, вспыхивая, Горенский, — я, поверьте, нисколько не возмущался бы. Но дело идет не о народе русском, а о насильниках, о захватчиках, о разных псевдонимах, которые...

— Да я ничего и не говорю, — тотчас согласился Нещеретов. — Хоть, правду сказать, мне и невдомек, отчего же вы сами, сэр, до революции не отдали домик русскому народу? Ну, приют бы какой устроили для деток, а? И садик ведь есть... Премилый бы вышел приют...

— Мой дом дедовский... А вы почему своего не отдали?

— Я? — изумленно переспросил Нещеретов, поднимая брови чуть не до волос. — Помилте, зачем же я отдам хамью свое добро? У меня не дедовское... Горбом наживал, да вдруг возьму и этой сволочи отдам!.. Разве это я хотел революции, сэр? Разве это я у Семы на банкете говорил такую распрекраснейшую речь?

— Вот, вот!.. Позвольте вам сказать, что те самые люди, которые считали народ хамьем и сволочью, которые держали его в невежестве и в рабстве, те и довели Россию до нынешнего состояния... И они же теперь валят с больной головы на здоровую! Временное правительство виновато? Да?

— Помилте, князь, кто же валит? Хоть, конечно, неважноецкое было правительство... И название экое выбрали глупое: «временное правительство». Точно не все правительства временные! Ну, естественно, и оказалось оно уж очень временное... Что?.. Масла не угодно ли, князь? — ласково предлагал Нещеретов. — А вот кого, правда, жаль, это N... N... (он назвал фамилии богатых министров Временного правительства). N., говорят, отвалил два миллиона на революцию. Теперь, кажись, сидит, горемычный, в крепости... В крепость при проклятом царском строе и дешевле можно было попасть, а? Жаль малого. Правда, пане профессорже?

— Совершенная правда, — подтвердил Браун, допивая чай.

— Профессор с нами и спорить никогда не изволил, потому знал, что придет Учредительное Собрание и уж оно все как следует рассудит. И большевиков прогонит, и немцев прогонит. Такая уж, почитай, силища!

— Одно я чувствую, — сказал с жаром Горенский, обращаясь к Брауну, — это то, что стыдно глядеть в глаза союзникам. Теперь нам двадцать пять лет нельзя будет носа показать в Париж: разорвут на улице, услышав русскую речь!

— Если победят немцы?

— Увы, не надо быть пророком, чтобы теперь это предвидеть с уверенностью... Подумайте, когда освободилась вся их сила и тиски блокады разжались с открывающейся для немцев богатой житницей Украины, они неминуемо должны задавить союзников, как задавили нас.

— На союзников мне в высокой степени начхать, — вмешался снова Нещеретов. — А нас как же было не задавить? У них Вильгельм, малый совсем не глупый, а у нас батрацкие депутаты... Но позвольте, я что-то не пойму, — опять начал он, изображая на лице крайнее изумление. — Ведь вы, сэр, хотели революции? Вы Бога должны благодарить, что все так хорошо, по справедливости, вышло...

— Барин, вас спрашивают, — доложил Брауну вошедший лакей.

— Кто?

— Дама. Фамилии не сказали... Сказали, что вы их знаете.

— Не иначе, как знаете, — игриво произнес Нещеретов. — Пане профессорже, и зала, и гостиная к вашим услугам.

— Благодарю вас... Что ж, попросите эту даму в гостиную.

— Слушаю-с.

В распорядке дома Нещеретова ничего не изменилось. Лакеи ходили во фраках и выражались так же, как в былые времена.

Дама была на вид лет тридцати пяти, худая, невысокая, некрасивая. С улыбкой на желтоватом лице она повернулась к входившему Брауну и особенно-энергичным быстрым движением протянула ему руку.

— Ах, это вы? — до невежливости равнодушно сказал Браун.

— Не ждали?

— Врать не стану, не ждал...

— И неприятно удивлены? — полушутливо спросила дама, видимо, несколько смущенная приемом.

— Отчего же неприятно? — не слишком возражая, переспросил Браун. — Садитесь, пожалуйста, Ксения Карловна.

Они сели.

— Вы как узнали, где я теперь живу?

— Случайно. В нашей Коллегии работает один субъект, который, кажется, ваш приятель...

— Какой субъект и в какой коллегии?

— По охране памятников искусства и истории... Некто Фомин.

— Он мой приятель?.. Так вы охраняете памятники искусства и истории?

— Как видите... Мы не такие уж вандалы.

— Много работаете?

— Очень много... Как мы все.

— Вы все — это коллегия или партия?

— Партия... Александр Михайлович, — сказала дама, — позвольте обратиться к вам с просьбой...

— Сделайте одолжение.

— Я прошу вас, ну, очень прошу, оставьте вы ваш враждебный тон. К чему это? Ведь вы знаете, как я вас ценю и люблю...

— Покорнейше благодарю.

— Вы знаменитый ученый, мыслитель с широким общественно-политическим кругозором, ну, пристало ли вам относиться по обывательски к нам, к партии, к ее огромному историческому делу...

Лицо Брауна дернулось от злобы.

— Вы, Ксения Карловна, быть может, пришли обращать меня в большевистскую веру? Так, зашли в гости, поговорили четверть часа с «мыслителем», вот он и стал большевиком, да?

— Нет, столь далеко мои иллюзии не идут... Хоть как бы я была счастлива, если б вы вступили в наши ряды!.. Александр Михайлович, давайте раз поговорим по душам, — с жаром сказала Ксения Карловна.

— Нет, уж, пожалуйста, мою душу оставьте. Давайте без душ говорить... У вас ко мне дело?

Дама невесело улыбнулась.

— Я думала, что в память наших давних добрых отношений вы меня примете лучше... Есть ли у меня к вам дело? И да, и нет...

— Не понимаю вашего ответа, — с возраставшим раздражением сказал Браун. — «И да, и нет»... По-моему, да или нет.

— Ну, да, есть дело... Мне поручено сказать вам, что если вы захотите, мы предоставим вам самые широкие возможности научной работы, такие, которых вы, быть может, не будете иметь нигде в буржуазных странах Запада. Мы вам дадим средства, инструменты, выстроим для вас лабораторию по вашим указаниям, по последнему слову науки. Одним словом...

— А не можете ли вы вместо всего этого дать мне заграничный паспорт? Для отъезда в буржуазные страны Запада.

— Вы хотите уехать из России? Почему же?

— Да уж так... Знаете, в Писании сказано: «вот чего не может носить земля: раба, когда он царствует, и глупца, когда он насытится хлебом»... Жизнь меня слишком часто баловала вторым: зрелищем самодовольных дураков. Но, оказалось, первое гораздо ужаснее: «Видел я рабов на конях, и князей, ходящих пешком»...

— Вам не совестно это говорить? — взволнованным голосом сказала Ксения Карловна. — Мы положили конец рабству, а вы нас этим попрекаете! Вы, вдобавок, и не князь и никакой не аристократ, что ж вам умиляться над обедневшими князьями?

Браун засмеялся.

— Очень хорошо, — сказал он, — очень хорошо... Вы, очевидно, к моим словам подошли с классовой точки зрения. Самое характерное для большевиков — плоскость (Ксения Карловна вспыхнула). Среди вас есть люди очень неглупые, но загляни им в ум — в трех вершках дно; загляни им в душу — в двух вершках дно. А если еще добавить глубокое ваше убеждение в том, что вы соль земли и мозг человечества!.. — Браун махнул рукой. — Спорить с вами совершенно бесполезно и так скучно!.. Большевистская мысль опошляет и тех, кто с ней спорит.

— Как же мне было вас понять? — сказала, видимо, сдерживаясь, Ксения Карловна. —

Рабство категория экономическая... Не скрываю, я от вас ждала все-таки другого. Ваш хозяин, выстроивший эти хоромы, может так говорить, но не вы!

— Мой хозяин — «глупец, насытившийся хлебом», но он тут ни при чем. Он по крайней мере свою глупость никому насильно не навязывает. Вашей же партии я предсказываю бессмертие: такой школы всеобщего опошления никто в истории никогда не создавал и не создаст... Да, помимо всего прочего, большевистская партия — это гигантское общество по распространению пошлости на земле, — вроде американского кинематографа, только неизмеримо хуже. Людям свойственно творить гнусные дела во имя идеи, — здесь и вы, быть может, не побьете рекорда. Но иногда идея бывала грандиозной или хоть занимательной. А у вас и самой идее медный грош цена.

— Это идея раскрепощения человечества, не больше и не меньше! Как же не медный грош цена! «Занимательного», разумеется, немного, но мы...

— Полноте, все политические деятели работают на человечество, уж тут вы торговой монополии не получите... Ваши идеи, вот они, — Браун взял со стола газету. — Нет, и не трудитесь выбирать: загляните в любой столбец, ваша идея везде. Ее поймет без всякого труда и обезьяна. А уж пуделю она покажется, быть может, слишком элементарной... Почитайте, почитайте, — сказал он, нервно тыча рукой в газету. — Я когда-то в Париже, в минуты мрачного настроения, останавливался перед киосками на бульварах: газеты всех направлений, газеты на всех языках, тут и серьезное, тут и юмор, тут и политика, тут и литература. — «Какой ужас! — думал я: — девять десятых ложь, и все духовная отравка!»... Теперь, по сравнению с вашей печатью, мне передовик «Petit Parisien» кажется Шопенгауэром, а репортер «Daily Mail» — Декартом... Глупое есть такое слово, которому очень повезло в нашей литературе: «мещанство». Господи, какое мещанство вы породите в «самой революционной стране мира»! Ну, просто европейским лавочникам смотреть будет любо и завидно. А тогда вы все свалите на перспективу: посмотрим, мол, что люди скажут через пятьсот лет? Это очень удобно, и вы, вдобавок, будете правы, ибо и через пятьсот лет много будет дураков на свете.

— Я вижу, что вы очень раздражены, — сказала сухо Ксения Карловна, — и, если на то пошло, добавлю, что это характерно: бесстрашие философской мысли и отвращение к политическому действию. Безошибочный признак житейского дилетантизма, забвение всего того, чему вы служили...

— Чему я служил, — перебил ее Браун, — это вопрос другой и довольно сложный. Во всяком случае вашим сослуживцем я никогда не был и мне, слава Богу, в отставку подавать не надо. А вашей партии, — продолжал он (лицо его было бело от злобы), — вашей партии я в сущности могу быть только благодарен. Я не имел больше никаких почти интересов в жизни. Вы, как юношам у нас в провинции учителя гимназии, вы дали мне жизненную цель. Плохенькую, но дали!..

— Бороться с нами будете? Тогда, пожалуй, не очень конспиративно мне об этом заранее заявлять, — сказала со слабой улыбкой Ксения Карловна.

— Обязаны донести?

— Обязана, но не донесу, хотя бы потому, что не очень мы боимся дилетантов.

— Ну, вот, все сказано. Бросим в самом деле этот разговор.

— Хорошо, бросим... Как же вы живете?

— Ничего, слава Богу. Угла своего, благодаря вашему правительству, не имею. Как видите, живу в гостях.

— На недостаток комфорта, кажется, вы пожаловаться не можете? — сказала Ксения Карловна, обводя пренебрежительным взглядом богатую гостиную.

— Да, да... А вы как устроились?.. Ведь я вас только раза два видел мельком со времени вашего возвращения из-за границы. В газетах что-то читал о товарище Каровой и вспомнил, что это была ваша кличка...

— Мы так с вами разошлись в политическом отношении, что я не решалась вас тревожить.

— Помнится, мы никогда не были близки в политическом отношении. Вы всегда были большевичкой.

— С самого основания партии, — с гордостью подтвердила Ксения Карловна. — А вы всегда были «Озлобленный ум»... Кажется, так кто-то шутит у Тургенева?.. Я, однако, посещала в Париже ваши лекции не только с удовольствием, но и с пользой.

— Еще раз благодарю... А знаете, с кем я здесь познакомился? С вашей... С госпожой Фишер, женой вашего отца.

— Она меня весьма мало интересует, — холодно-презрительно сказала Ксения Карловна.

— А сам ваш отец вас интересовал? Что ж вы меня о нем не спросите? Ведь я с ним встречался в последние месяцы его жизни...

— Мы были чужие друг другу люди. Не стану притворяться неутешной дочерью... Я принимала отца как существующий факт.

— А деньги существующего факта вас интересовали?

— Однако это уж... Вы очень не любезны!

«Если вы только теперь это заметили», — хотел было ответить Браун, но удержался. Он смотрел на Ксению Фишер со злобой и с насмешкой. «И весь твой большевизм от безобразной наружности», — подумал он.

— Любезность никогда моей специальностью не была, а теперь, я думаю, она и вообще отменена, — сказал Браун. — Когда вы освободите человечество, постарайтесь его еще немного и облагородить. Очень повысятся другие ценности. Скажем, например, ум или хотя бы наружность? С этим ведь и ваша партия ничего не поделает. Сытые захотят стать красавцами, всего не нивелируешь, правда?

— Это замечание, извините меня, сделало бы честь Кузьме Пруткову, — сказала, вставая, Ксения Карловна.

— А то все, все фальшь, — продолжал Браун, тоже вставая. — О красоте говорят уроды, о любви к людям злодеи, об освобождении человечества деспоты, об охране искусства люди, ничего в искусстве не понимающие. Неудачники и посредственности построят новую жизнь на пошлости и на обмане... Так вы уже уходите, Ксения Карловна? Очень рад был вас повидать...

Ксения Карловна взглянула на него, наклонила голову и быстро направилась к выходу.

VI

Кружок Муси скучал. Развлечений в Петербурге оставалось все меньше. В театры никто не ходил. Говорить было не о чем: писатели не писали книг, художники не выставляли картин, никто не заказывал туалетов, новых сплетен было мало; как старыми туалетами, кое-как перебивались старыми сплетнями, да и то без оживления, — почти все подобрали. Старшие говорили только о большевиках; но так как относительно большевиков все в общем сходились, то и это было скучновато. Муся легче переносила скуку, чувствуя себя отрезанным ломтем. Другие же участники кружка упали духом. Князь Горенский больше не вносил с собой обычного оживления. Он, как говорил Никонов, быстро скис под живительными лучами светлого февраля. У не пообревшей Глафиры Генриховны забота о замужестве, теперь все менее вероятном, превратилась в навязчивую идею. Никонов обыкновенно бывал мрачен, когда оставался без копейки. Вздыхала даже Сонечка Михальская. Была она и немного влюблена, — не то в Витю, не то в Клервилля, не то в Березина, — скорее всего в Березина. Березин теперь бывал у Кременецких редко, отговариваясь тем, что живет он далеко.

Веселее других был Фомин. Он после революции вошел в состав коллегии по охране памятников искусства и на этом основании поселился в Зимнем Дворце. Дворцом Фомин очень охотно угощал добрых знакомых, причем показывал его так, точно прожил в нем всю жизнь или по крайней мере всегда был там своим человеком. Жил он сначала в третьем

этаже, в одной из квартир, выходящих во Фрейлинский коридор (эти квартиры Фомин называл «сютами»). Там он свел знакомство со старыми фрейлинами, которые еще не успели выехать из дворца, ибо деться им было некуда. С ними Фомин тоже разговаривал так, точно вся их жизнь прошла в одном тесном кругу. Фрейлины лишь приятно удивлялись неожиданной любезности, прекрасному воспитанию этого молодого человека, появление которого было в их памяти связано с потоком, обрушившимся на царскую семью, на них, на дворец, на Россию. Понемногу эта связь изгладилась у старых фрейлин из памяти; некоторые из них стали даже думать, что, быть может, Фомин вправду был своим человеком и как-то случайно лишь в пору революции появился в Зимнем Дворце: теперь ведь все было так странно и необычайно. Позднее фрейлины разъехались, а после октябрьского переворота помещения третьего этажа были заколочены и самому Фомину пришлось съехать. Однако, как чуждый политике человек и незаменимый специалист, он поладил с новым начальством коллегии. Интересы искусства это оправдывали. Фомину предоставили уже не «сюты»⁶, а просто комнату в первом этаже дворца.

— Кто не видел того, что краса и гордость революции проделала с покоями второго этажа, тот ничего не видел, — говорил Фомин за чаем у Кременецких. Чай был подан в будуаре Тамары Матвеевны, которая теперь часто, к большому своему удовольствию, проводила время с молодежью. Прежде Муся этого не потерпела бы; но она напоследок была гораздо внимательнее и ласковей с матерью, зная, каким горем будет разлука с ней для Тамары Матвеевны. Впрочем, порывы нежности беспрестанно сменялись у Муси раздражением. «Бедная девочка, как она нервна!» — думала огорченно Тамара Матвеевна.

— Когда же вы нам все это покажете? — спросила Глафира Генриховна.

— Ах, да, Платон Михайлович, миленький, покажите нам дворец, — тотчас взмолилась Сонечка.

— С наслаждением...

— Когда? Когда?

— Когда вам будет угодно.

— Знаем мы это «когда вам будет угодно»... Вы сто лет нам обещаете и танцульку показать, когда нам будет угодно. Нам угодно завтра, вот что!

— С наслаждением.

— Что с наслаждением: дворец или танцульку?

— Странное сочетание, Сонечка. Но, *si vous y tenez*⁷, и то и другое.

— Что вы, Сонечка! Побойтесь Бога! — вмешалась Тамара Матвеевна. — Про дворец я ничего не говорю, если Платон Михайлович берется вам показать, но как же вам идти на какую-то ихнюю танцульку? Там все эти матросы и хулиганы... Говорят, что там делаются ужасные вещи!

У Сонечки глаза так и загорелись.

— Да нет, Тамара Матвеевна, вы совершенно ошибаетесь, уверяю вас.

— Тамара Матвеевна, сжальтесь над Сонечкой, ей так хочется посмотреть танцульку.

— Но ведь это поздно вечером! Помилуйте, господа, разве теперь можно возвращаться ночью... Это безумие! Позавчера старика Майкевича ограбили в двух шагах от Невского.

— Ну, что вы, мама, — сказала Муся чуть раздраженным тоном (Тамара Матвеевна тотчас испуганно на нее взглянула). — То старик Майкевич, а то мы. Кто же нападет на компанию из десяти человек?

— Могу вас уверить, Тамара Матвеевна, никакой опасности нет, — вмешался авторитетно Березин. — Слухи об ограблениях очень раздуваются. Разве прежде не было уличных нападений? Разве не грабят людей каждый день в Париже или в Чикаго? В одном

⁶ номер «люкс» (англ.)

⁷ если вам так хочется (фр.)

уж надо отдать полную справедливость нынешнему правительству: с уголовными преступниками оно не церемонится и расправляется с ними беспощадно.

В словах Березина не было ничего особенного, тем не менее они вызвали легкий холодок. Все замолчали. Сонечка изменилась в лице. Березин, по слухам, разговаривал с *ними* о каких-то гигантских театральных планах и в последнее время настойчиво твердил, что искусство по природе своей вполне аполитично.

— Разумеется, никакой опасности нет, — прервала молчанье Муся. — Итак, решено, вы нам устраиваете это на завтра, Платон Михайлович?

— Нет, право, это неудачная мысль, — продолжала слабо протестовать Тамара Матвеевна. — Гораздо лучше соберитесь завтра все у нас. Сидите за чаем хоть до поздней ночи, — предложила она, сразу забыв об опасности поздних возвращений домой: возвращаться надо было не Мусе. — А мы с Семеном Исидоровичем вам мешать не будем, мы теперь рано ложимся, — поспешно добавила Тамара Матвеевна.

— Что вы, Тамара Матвеевна, вы нас обижаете! Нам будет гораздо приятнее, если вы пробудете с ними весь вечер, — любезно возразил Фомин. Муся на него покосилась.

— Одно другому не мешает, — сказала она. — Мы придем сюда после танцульки... Мама, готовьте для нас ужин.

— Ça, c'est fort!⁸ Разве можно, Марья Семеновна, в такое время взваливать на милую хозяйку такое бремя?

— Беневоленский, слышите? Он от волнения заговорил стихами: такое время, такое бремя.

— Как *monsieur Jourdain faisait de la prose*.⁹

— Это можно было предвидеть, Платон Михайлович, что вы сейчас скажете о *monsieur Jourdain*, — вставила Глафира Генриховна.

— Господа, я очень рада. Нам будет очень приятно, а не бремя, — сказала Тамара Матвеевна. — Непременно все приходите возможно раньше, поужинаете, чем Бог послал.

— Ах, это будет мило!

— Но право, вам слишком много беспокойства.

— Зачем вы себя мучите?

Тамара Матвеевна уверяла, что ей никакого беспокойства не будет. Она только, к сожалению, не обещает роскошного ужина.

— Недавно один господин приехал из Киева, — со вздохом добавила Тамара Матвеевна, — и, представьте, он рассказывал Семену Исидоровичу, что там лавки ломаются от птицы, от сливок, от пирожных!

— Не может быть!

— Сон какой-то!

— Господа, тогда я предлагаю следующее, — сказал Фомин. — Встреча у меня, во дворце, завтра в восемь часов. Я вам покажу, что можно, затем мы отправимся на танцульку, а оттуда к этим милым расточителям и безумцам.

— А как же вас искать во дворце?

— На Детской половине, разве вы не знаете? Вход с Салтыковского подъезда.

— Это, кажется, со стороны сада?

— Ну да, ну да, — снисходительно пояснил Фомин. — Кого же еще надо предупредить? Мосье Клервилль в Москве, значит только Никонова и князя?

— Никонов обещал сегодня к нам зайти, я ему скажу. А вот Горенский... Господа, кто даст знать князю?

— Если хотите, я могу, — поспешно сказала Глафира Генриховна. — Я буду в тех

⁸ Это уж слишком! (*фр.*)

⁹ Господин Журден говорил прозой (*фр.*)

местах завтра утром; могу сказать Алексею Андреевичу или забросить ему записочку.

— Вот и отлично, — ответила Муся, улыбнувшись чуть заметно, но все же улыбнувшись (это от Глаши не могло скрыться). Муся догадывалась, что Глафира Генриховна стала с некоторых пор подумывать о князе Горенском: в общей катастрофе начинали сглаживаться социальные различия. Муся желала, чтоб Глаша вышла замуж, и даже искренно (почти совсем искренно) сожалела о неудаче ее замыслов, связанных с адвокатом. Но Муся не могла желать, чтобы Глаша вышла за князя Горенского, — это было бы слишком блестящим делом. «Она заела бы Алексея Андреевича... Ну, да ничего из этого, разумеется не выйдет. Глаша — княгиня! — думала Муся. — Пусть она сделает среднюю приличную партию»...

— А вы как, милый Витя? — спросила она.

— Я не пойду, — ответил, скрыв вздох, Витя. Ему очень хотелось пойти со всеми, но траур этого не позволял.

— Разумеется, он не может, что ж и спрашивать? Было бы по меньшей мере странно, если б он пошел, — сказала Глафира Генриховна.

— Собственно почему? В сущности это так условно, — начала Тамара Матвеевна, которой очень хотелось развлечь мальчика. — Я Семену Исидоровичу и Мусеньке всегда говорила и говорю: когда я умру, умоляю никакого траура не соблюдать.

— Мама, перестаньте, пожалуйста. Что ж, если Вите тяжело идти с нами... Ну, хоть ужинать будем все вместе, — утешила Витю Муся.

— Ради Бога! — глубоким грудным голосом сказал взволнованно Вите Березин, складывая у груди ладони. — Ведь я еще не выразил вам сочувствия в этой ужасной утрате. Ради Бога, простите!.. Я был так тогда поражен кончиной Надежды Максимовны...

— Натальи Михайловны, — поправила Муся.

— Натальи Михайловны, виноват, я обмолвился... Надеюсь, ваш батюшка бодро перенес это тяжелое испытание?.. Всем, всем тяжело, — заметил с глубоким вздохом актер. — А все-таки жизнь обольстительно-прекрасна! В какое необыкновенное время мы живем! Александр Блок, я слышал, говорит о таинственной музыке революции. Как я его понимаю! — с силой сказал Березин, и опять за столом почувствовался холодок.

— Значит, решено, завтра в восемь все у вас, Платон Михайлович, — сказала Муся. — Господа, и, пожалуйста, хоть раз в жизни не опаздывать.

— А может быть, и Нещеретова пригласить? — в отместку Мусе за улыбку предложила Глафира Генриховна. — Алексей Андреевич ведь живет у него в доме.

— Ах, лучше без Нещеретова, — сказала пренебрежительно Тамара Матвеевна. — Зачем он вам? Это ведь малоинтеллигентный человек. Теперь надо оставаться в своем кругу.

— Но ведь он у вас, кажется, часто бывал, дорогая Тамара Матвеевна. Впрочем, я нисколько не настаиваю.

— Платон Михайлович, билеты на танцульку и все прочее вы, значит, берете на себя? — спросила Муся.

— Беру на себя, как ваш верный слуга.

— Что такое «все прочее»? — с глубокомысленной усмешкой вмешался молчавший все время Беневоленский.

— Я говорю: билеты.

— Вы сказали «билеты и все прочее». Что такое «все прочее»? Ну-с?

— Nuss heisst deutsch¹⁰ орех... Теперь уже разрешаются немецкие каламбуры.

— Но желательны все-таки несколько более новые, — сказала Глафира Генриховна.

VII

¹⁰ Нус по-немецки (нем.)

Фомин исполнил свое обещание добросовестно и чуть ли не два часа водил своих гостей по Зимнему Дворцу, называя безошибочно залы, указывая главные их особенности. Первое впечатление было сильное: потом все немного утомились и уже без прежнего оживления следовали за Фоминым: он шел впереди, зажигая и гася у дверей свет в пустынных залах.

— А я бы не хотела здесь жить. Неуютно, — сказала Сонечка.

— Как, милая Сонечка, вы не хотели бы быть царицей? — спросил Фомин. — Ну, что ж, тогда мы не настаиваем. Но, помните все же, таких огромных зал, как главные залы Зимнего Дворца, в мире найдется немного.

— Будто? — усомнился Никонов.

— Уж вы мне поверьте, Григорий Иванович. Конечно, Зеркальная галерея в Версале, Тронный Зал в Дольма-Бахче... И, разумеется, Большой Царскосельский, тот я ставлю в художественном отношении выше... Вы не устали, mesdames?

— Как не устали? Очень устали.

— Еще бы не устать!.. И у меня в голове все ваши залы спутались.

— Немудрено: во дворце больше тысячи комнат.

— Не может быть!

— Как пусто и мрачно! Заколдованный замок.

— А где мы сейчас?

— Уже забыли, Сонечка? Это Концертная.

— Мне больше всего нравится Малахитовый зал, — сказал Горенский.

— Где это Малахитовая зала? Я забыла.

— Рядом с Арапской.

— А Арапская это рядом с Малахитовой.

— Вон¹¹, я вижу, что надо кончать осмотр, — сказал Фомин. — Итак, пройдем еще через Николаевский зал, затем вниз ко мне — и hinaus, ins Freie¹².

Гости послушно пошли за Фоминым. Проходивший седой лакей в серой тужурке окинул их укоризненным взглядом и, отвернувшись, сердито поправил загнутую грязную дорожку.

— Вот они, мученики новых порядков! — сказал, смеясь, Фомин. — Я в аристократической среде не встречал таких убежденных монархистов, как дворцовые лакеи.

Они вошли в Николаевский зал. Фомин повернул выключатель. Гости остановились, подавленные сверхъестественными размерами зала.

— Холодом веет, мертвечиной, — произнес Березин.

— Я бывал здесь на балах в ранней молодости, когда был пажем, — сказал с легким вздохом князь Горенский.

— Ах, я и не знала, что вы воспитывались в Пажеском корпусе, князь, — заметила томно Глафира Генриховна, закатывая глаза.

— Да, в Пажеском. Но затем поступил в Университет, на естественный факультет.

— Так вы и естественник?

— Так точно. Окончил университет в тысяча девятьсот втором году.

— А в тысяча девятьсот четвертом, но не Университет, а выдержал государственный экзамен при Демидовском лицее, — сообщил Никонов.

— Разумеется. Там, кажется, было правило: ничего не делать.

— Правила не было, но я ничего не делал и горжусь этим.

— Кто не трудятся, тот не ест.

— Может быть, поэтому я и жил студентом впроголодь, рублей на двадцать пять в

¹¹ Хорошо (фр.)

¹² на волю (нем.)

месяц. Но зная неучащейся молодежи всегда держал высоко... Меня из двух гимназий выгнали.

— Господи! За что?

— За лень и за дерзости.

— Узнаю вас, Григорий Иванович, — сказала ласково Муся.

— Мерси. Затем выгнали меня и из Петербургского университета, но это уже за политические беспорядки.

— Так вам и надо. Очень хорошо сделали, что вас выгнали, — пропела Сонечка. У нее с Никоновым была на словах кровная вражда.

— Господа, автобиографии рекомендую отложить на другое время, как они ни интересны, — сказал Фомин. — Лучше полюбуйтесь тем, что видите.

— В этом великолепии есть и некоторое безвкусие, — сказал Березин.

Муся смотрела на огромный зал, с любопытством представляя себе картину придворного бала. «И все это так и прошло мимо меня... Вивиан представлялся королю, но это не то... Где у королей нет настоящей власти, там двор тот же театр или маскарад. *Этого* больше нигде не будет»...

Муся чуть ли не с первых дней революции стала сожалеть о монархии, о дворе, и с вызывающим видом говорила это друзьям. Фомин с ней соглашался, не то шутливо, не то серьезно. Горенский сердился, — особенно вначале. Никонов был по правилу республиканцем среди монархистов и монархистом среди республиканцев. «Наш милейший парадоксалист Григорий Иванович», — снисходительно говорил о нем Кременецкий.

— Если бы вы пришли ко мне в гости в первые дни после переворота, — сказал Фомин, — я прежде всего показал бы вам царские покои, в которых похозяйничала в октябре краса и гордость революции. Теперь многое там приведено в порядок. Надо было это видеть тогда! Все было разбито, пол был усеян стеклом, хрусталем, фарфором, окна выбиты, шкафы взломаны, картины загажены, бумаги разорваны, — быть может, документы огромной ценности. Я поднял рукоятку шпаги, из нее они выковыряли бриллианты! В комнатах Николая I от сквозного ветра носился тучами пух: краса и гордость, видите ли, сочла нужным сорвать материю с подушек, им на онучи пригодится... Господи, что они там выделывали! Я сам видел икону с выколотыми глазами...

Все замолчали.

— Да, очень еще много злобы в людях, — с мягким вздохом произнес Березин. Князь холодно на него посмотрел.

— Мерзавцы! — сказал он. — Несчастлива родина наша... Я не отрицаю и нашей доли вины, — продолжал Горенский, обращаясь преимущественно к Глаше, которая слушала его с восторженным вниманием. — Народная дикость — исторический грех России, в котором мы повинны меньше, чем другие, однако повинны и мы, я этого не отрицаю.

— Виноват, я никакой вины за собой не чувствую, — ответил Никонов. — Я дворца не громил и никого не призывал громить.

— Ах, ради Бога, перестаньте! — морщась от его иронического тона, сказал князь. — И я, как вы догадываетесь, не призывал, а вы думаете, мне легко?.. Особенно здесь, где видишь перед собой бывшее величие России. Как никак, в этом заколдованном замке прошло два столетия нашей истории.

— Это кинематографический эффект: дворец до вас, дворец после вас... Я говорю о нашей интеллигенции, вот символ ее кратковременного владычества.

— Тогда позвольте вас спросить, — начал, бледнея, Горенский. Но Муся тотчас прервала разговор, принявший неприятный характер.

— А вы знаете, друзья мои, — сказала она, — в сущности то, что мы делаем, очень неделикатно. Зашли в чужой дом и бесцеремонно глазеем, как жили хозяева... Сонечка, что вы делаете? Вы с ума сошли!

Сонечка вдруг повернула выключатель. Все потонуло в темноте. Глафира Генриховна испуганно вскрикнула и схватила за руку князя. Фомин зажег снова свет и погрозил Сонечке

пальцем.

— Вот я сестрице скажу.

— Почему чужой дом? — возразил Мусе Никонов. Он возражал всем по привычке и немедленно забывал то, что говорил четверть часа тому назад. — Почему чужой дом? Все это принадлежало и принадлежит русскому народу.

Князь махнул рукой. Фомин засмеялся.

— Разумеется... «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», — саркастически сказал он.

Фомин повел их боковыми ходами и коридорами, все время гася и зажигая свет. Открывались таинственные лесенки, полускрытые в стенах двери. Муся все время представляла себе дам в пышных туалетах из «Пиковой дамы», мужчин в великолепных мундирах.

— Это все растреллиевских времен? — спросила она. Фомин улыбнулся.

— Нет, увы! от Растрелли осталось после пожара немного, — ответил он. — Это теперь *их* царство... Днем здесь хозяйничают они. Тут разные канцелярии.

Он остановился возле одной из дверей и, тихо засмеявшись, показал на висевший лист бумаги. На нем очень большими красивыми буквами, старательно выведенными писарскою рукою, было написано: *Предизиум*. Дальше следовало что-то еще, с новой строки, буквами поменьше.

— Этот предизиум я надеюсь как-нибудь заполучить в свою коллекцию. Для нашего будущего Carnavalet¹³.

— Так у них все... Какой-то сплошной предизиум! — сказал князь. — Но чего нам будет стоять этот опытов живом теле страны!

— Господа, ради Бога! Мы изнемогаем.

— Полцарства за стул.

— Сейчас, сейчас, теперь уже два шага.

В комнате Фомина все было в образцовом порядке. За ширмами стояла постель. На столе были аккуратно разложены книги, портфели, папки. Уютно горела под абажуром маленькая лампа на столе.

— Ах, как у вас хорошо!

— Первая жилая комната.

— Душой отдыхаешь после этих зал, от которых отлетела жизнь, — подтвердил Березин.

— Ужасно мило, не уйду от вас! — воскликнула Сонечка, падая в мягкое кресло. — Нет, просто прелесть. Кто это, Платон Михайлович? — спросила она, показывая на стоявший на столе портрет старой дамы.

— Это моя покойная мать.

— Красивая какая... Как ее звали?

— Анастасия Михайловна.

— А девичья фамилия?

— Она была рожденная Иванчук. Ее прадед был известным сановником, сподвижником Александра Первого... Господа, вы меня извините, я скроюсь за ширмы и приведу себя в надлежащий вид.

— То есть, что это значит? Смокинг, что ли, напялите или фрак?

— Напялю, как вы изволите выражаться, князь, самый старый довоенный пиджачишко.

— А ведь, правда, на танцульку надо одеться возможно демократичнее.

¹³ карнавал (*ит.*)

— Ну да, я демократически и оделась, — сказала Муся, — взяла у мамы старую каракулеву кофту.

— Я тоже, разумеется... Я в блузке и в шерстяных чулках! — стыдливо смеясь, пояснила князю Глафира Генриховна. «Какой ужас: она — и шерстяные чулки!» — с раздражением подумала Муся.

Горенский за письменным столом начертил на клочке бумаги план западного фронта. Он доказывал Никонову и Березину, что союзные армии находятся в западне.

— Очень боюсь, что к лету англичане будут сброшены в море, — горячо говорил князь, тыча карандашом в бумажку. — Здесь у них смычка, и удар Людендорфа, бесспорно, будет направлен в этот узел, скорее всего с диверсией у Реймса...

— Ничто. Нивелль подведет какую-нибудь контрмину. Я его знаю!

— Какой Нивелль? Нивелль давно уволен!

— Что вы говорите? Ну, так другой гениальный генерал, — согласился Никонов. — Не наша с вами печаль, а вот мне бы хозяйке за квартиру заплатить, а то пристаёт мелкобуржуазная пиявка.

— Ну, господа, теперь я сознаюсь вам в крайней бестактности, — сказал, выходя из-за ширм, Фомин. — Князь, заранее умоляю о прощении.

— Что такое?

— В чем дело?

— Господа, вы были в гостях у меня. Отсюда мы идем в гости к князю.

— Как так?

— В доме Алексея Андреевича теперь одна из самых фешенебельных танцулек столицы. Принимая весь Петербург, князь не может отказать в гостеприимстве своим ближайшим друзьям.

Все покатались со смеху.

— Как? Вы ведете нас в дом князя?

— Нет, это бесподобно!

— Господа, нехорошо... Князю, может быть, это неприятно, — говорила Глафира Генриховна.

— Ничего, ничего, — с трудом сдерживая смех, сказала Муся. — То Зимний дворец, а то *ваши* дом... Алексей Андреевич, ради Бога, извините наше непристойное веселье!..

Горенский натянуто улыбался.

— Господа, я очень рад, — не совсем естественно говорил он.

Голые деревья незнакомого петербуржцам сада были покрыты снегом. Муся беспокойно оглядывалась по сторонам. Огромная тень падала на белую реку. Они вышли на площадь, еле освещенную редкими фонарями. Вдали от черного величественного дворца, освещающая пасть под аркой, оранжевым светом горел костер. Около него стояли милиционеры. Больше никого не было видно.

— Однако и в самом деле жутко, — сказала Муся.

— А вы думаете, Тамара Матвеевна не была права, что не хотела вас пускать?

— Бог даст, ничего не случится. Что вы там пугаете?

— Нам не страшно.

— Не таковские.

— Как пойдём, господа?

— Князь, как к вам всего ближе?

— Положительно, господа, мы побиваем все рекорды бестактности.

— Ах, какой жалкий песик, — сказала Сонечка, поровнявшись с фонарем, у которого, вытянув голову, лежала собака. — Верно, с голоду подыхает. Как жаль, что у нас ничего нет... Цуц, цуц...

— Людей бы, Сонечка, жалели, а не цуцов. Стыдно!

— Отстаньте, Григорий Иванович, я не с вами говорю!

— А если я за такие за слова да уши надеру?

— Посмейте!

— И посмею. Хотите сейчас?

— Посмейте!

— Еще как посмею...

— Так можно долго разговаривать... Господи, как им не надоело! — смеясь, сказала Муся. Вдруг впереди сверкнули ацетиленовые огни. С нарастающим страшным треском пронеслась мотоциклетка. Два человека в пальто поверх кожаных курток успели окинуть взглядом пешеходов.

— Видеть не могу! — с чисто физическим отвращением произнес князь. На этот раз Никонов с ним не поспорил; он испытывал такое же чувство.

— Но и работают же эти люди!.. Какая все-таки бешеная энергия! — сказал Березин. Муся с упреком и сожалением на него взглянула.

«Все-таки он к *ним* не перейдет, — подумала она. — Он славный... Ему просто нужен свой театр, как мне нужны ощущения, любовь Вивиана, власть над Витей...» — В памяти Муси вдруг, неожиданно, появился Александр Браун. — «Нет, он мне не нужен... Березии милый... Он только ничего не понимает в политике. Как бы ему посоветовать, чтоб он не говорил глупостей и не делал. Он и без *них* сумеет создать свой театр. Он не продажный человек, он очень милый, и с ним тоже тяжело будет расстаться. Так обидно, что Вивиана нет с нами... Что-то он сейчас делает в Москве? Верно, где-нибудь сидит со своими англичанами, курит Gold Flak¹⁴ и думает обо мне. Нет, я страстно, безумно люблю его, не так как прежде, а еще больше... Лишь бы только его не послали на фронт! Что, если его пошлют во Францию? — с ужасом думала Муся. — Там убивают людей тысячами. Я умру от страха... Нет, этого не может быть!..» Она заставила себя прислушаться к разговорам своих спутников.

— Как метко и справедливо то, что вы говорите, князь! Я совершенно с вами согласна.

— Только уж там, пожалуйста, Глафира Генриховна, не называйте Алексея Андреевича князем, — сказал Фомин.

— А что? За это могут убить? Могут расстрелять? На месте? — округляя глаза, жадно спрашивала Сонечка.

— Убить не убить, quelle idé!¹⁵ А только это ни к чему.

VIII

Слева от парадных дверей старого барского особняка висела серая афиша. «Грандиозный демократический бал... Мобилизация всех танцующих сил... Первейшие»... — начал было выразительно читать вслух Никонов. Фомин сердито на него зашикал. Они вошли в вестибюль. Дамы вздохнули с облегчением: ничего жуткого не было. Князь Горенский, вошедший последним, выругался про себя непристойными словами. Сверху доносились звуки «Катеньки». У стола продавала билеты миловидная девица; рядом с ней сидел обыкновенный, не страшный матрос, — в синей блузе с оборотами, в фуражке с лентой. Фомин вежливо поклонился и спросил о цене билетов, назвав девицу товарищем.

— Вход пять рублей, — любезно ответила девица. — И за «Почту Амура», если желаете, особо три рубля.

— Да, пожалуйста, с «Почтой Амура», товарищ, — поспешно сказал Фомин, окидывая взглядом своих спутников. — Семь билетов, пожалуйста, товарищ.

¹⁴ Сорт сигар (англ.)

¹⁵ Что за мысль! (фр.)

Девушка отдала билеты, затем взяла из коробки семь картонных кружков с продетыми в них красными шнурками. Обмакнув перо в чернильницу, она стала писать красными чернилами номера. Матрос старательно чистил ногти другим пером. Гости переглядывались.

— Вы тринадцатого номера не боитесь? — осведомилась предупредительно девушка.

— Нисколько, товарищ, это предрассудок, — тотчас ответил Фомин.

— Есть которые не любят... Бумагу имеете?

— Бумагу? О да, все в порядке, — несколько растерянно начал Фомин.

— Бумагу-конверты. Имеете? Тогда пятьдесят шесть рублей.

Фомин расплатился и взял кружки.

— Когда польты снимете, привяжите номера к пуговице. А то на шею повесьте, — объяснила им девушка.

— Благодарю вас, товарищ, — набравшись храбрости, сказала Муся. Девушка кивнула и ей, однако несколько менее приветливо, чем Фомину. Матрос лениво встал, проводил посетителей в маленькую прихожую и взял у них под номерок шубы. Глаша толкнула Сонечку и показала ей глазами на угол: там стояло несколько ружей. Сонечка округлила глаза. Дамы по привычке стали оправляться перед зеркалом.

— Что такое «Почта Амура»? — вполголоса спросила Муся Фомина.

— Si je le savais!¹⁶ — так же ответил Фомин, пожимая плечами.

— По лестнице наверх пойдете, а там сейчас направо будет зала, — сказала девушка.

— Покорно благодарю. Найдем, — беззаботно ответил князь.

Они поднялись по лестнице и вошли в ярко освещенную залу. Рядом с остатками богатой мебели стояли простые некрашенные столы. — «О, Господи!» — сказал вполголоса князь. На эстраде играли музыканты. На стене висела надпись огромными буквами: «Да здравствует Третья Международная Коммуна». У стен на атласных стульях сидели девушки, солдаты, штатские. Около десяти пар танцевало польку. Осторожно обходя танцующих, Фомин, вдвинув голову в плечи, быстрыми короткими шажками, направился к концу зала, где находился буфет. Сбоку от буфета стояло несколько столиков, покрытых грязными скатертями. Из них был занят только один. Фомин усадил дам за другой столик подальше.

— Тут и разговаривать можно, если не очень громко, — сказал он, пододвигая дамам атласные стулья. Публика смотрела на новых гостей с любопытством, однако без недоброжелательства, а скоро и смотреть перестала. Видно, все были увлечены балом. Смущение гостей стало проходить. По требованию Фомина, все прицепили кружочки так, как указывала девушка. Такие же картонные кружки были на большинстве гостей. Березин потребовал себе тринадцатый номер.

— Авось не пропаду, вывезет Березина кривая... Верю, верю в свою звездочку, — говорил он.

— Все-таки, что могут означать эти номера?

— Порядок, в котором будут расстреливать буржуев... Однако до того я закажу чай, — сказал Фомин, вошедший в роль предводителя какой-то охотничьей экспедиции.

— То есть, вы не заказываете, а честью попросите, чтоб нам дали, — проворчал Никонов.

— Я с удовольствием выпью чайку.

— Я тоже... Право, господа, здесь все очень прилично.

— Да... Я даже никак не ожидала, — несколько разочарованно сказала Глафира Генриховна.

— Не печальтесь, гражданочка, вас изнасилуют в конце вечера, — любезно утешил ее Никонов.

— Григорий Иванович! Есть мера и пошлостям, и дерзостям!

— Господа, господа!...

¹⁶ Если б я знал! (фр.)

— Товарищи, чего вы хотите к чаю? — спросил Фомин. — Я вижу на буфете бутерброды.

— Принесите нам их поскорее... И Григория Ивановича возьмите с собой, пусть и он потрудится, — сказала Муся. — Но какой удар маме, если мы здесь закусим! Ведь, по секрету скажу вам, дома у нас готовится настоящий пир.

— Одно другому не мешает, — ответил повеселевший Никонов. — Идем, товарищи мешочники.

— В самом деле что они сделали с вашим домом, Алексей Андреевич! — сказала Муся.

— Да, хорошего мало...

— Вы не очень сердитесь, что мы вас сюда привели?

— Нет, что ж сердиться? Неприятно, конечно, смотреть, но... Как вы думаете, можно ли заглянуть в другие комнаты? У меня были ценные вещи... Были и семейные портреты...

— Платон Михайлович сказал, что там живут матросы. Я думаю, лучше не пытаться.

— Господа, в буфете продают водку! Говорят, из погребов Зимнего Дворца, — взволнованно сказал вернувшийся Никонов.

— Это очень возможно, — заметил князь. — В дни пьяных погромов мне на Невском солдат предлагал дворцовый Шато-Икем, по пять рублей бутылку. Я не купил, хоть тогда еще были деньги: совестно было.

— Буржуазные предрассудки... Да, может, здесь и не из Дворца, но только водка, понимаете ли? Водка-мамочка! Правда, не пять, а восемьдесят рублей бутылка, что значительно хуже.

— Тащите! — сказал князь, махнув рукой.

— Тащите! — решительно присоединился и Березин.

— Безумцы, подумайте! Восемьдесят рублей бутылка, — слабо возразил Фомин, вернувшийся с тарелкой бутербродов. — Денег у нас теперь у всех, как кот наплакал... С текущих счетов, как вы знаете, выдают по семьсот пятьдесят рублей на душу, — добавил Фомин, у которого вряд ли был где-либо текущий счет.

— Господа, одно слово, но зато очень оригинальное, — сказала, улыбаясь, Муся. — Я знаю, оно вас удивит, оскорбит, возмутит, но вам ничто не поможет! Сегодня за всех и за все плачу я, да!

— Это в самом деле было бы оригинально!

— Какой вздор!

— Гордая англичанка хочет нас унижить!

— Господа, я из этого делаю кабинетский вопрос. Мало того, что я все это затеяла, но сегодня, быть может, наш последний общий выход... А вы все меня достаточно вывозили, кормили и поили, в частности вы, Алексей Андреевич...

— Муся устраивает в танцальке свой мальчишник.

— Именно. Если же вы не согласитесь, то, даю вам слово, я сейчас встаю и ухожу. И меня убьют на улице, и это будет на вашей совести, и мама на вас за мою смерть почти наверное обидится.

— Не считая того, что я без Муси умру с горя, — сказала Сонечка.

— Разве согласиться, граждане и товарищи? — спросил Никонов.

— У вас нет другого выхода.

— *C'est le monde renverse!*¹⁷ Идет...

— Но, уж если унижаться, то, давайте, на ейные стерлинги закажем три бутылки водки, — потребовал Никонов.

— Я согласна.

— А я нет. Посади кого-то за стол, — сказала Глаша. — А потом еще и отвози вас пьяного домой, да? На извозчика теперь и будущих Мусиных стерлингов не хватит.

¹⁷ Свет перевернулся! (фр.)

Водку принесли. Никонов радостно разливал ее по рюмкам.

— Она, мамочка! Смотреть любо.

— Я тоже, каюсь, соскучился...

— Веселие Руси есть пити... Водка препоганая, господа!.. Закусить поскорее...

— Ничего. Денатурат как денатурат.

— От этого, говорят, слепнут... Господа, полька кончилась.

— Нет, рожи, рожи каковы!.. Ваше здоровье, товарищи текстильщики.

— За ваше, Григорий Иванович. Это что ж будет, кадриль?

— Похоже на то... На душе веселее стало!..

— Ничего, князь, не тужите. Мы еще у вас здесь потанцуем.

— После основательной чистки.

— Ей-Богу, хорошо играют! «Кума, шен, кума, крест»...

— Григорий Иванович, перестаньте подпевать.

— «Кума, дальше от порога... Кума, чашку разобьешь»... Хочу петь и пою, товарищ Глафира! Кончилось буржуазное засилие!

— Но хоть не так громко.

— «Что ты, что ты, что ты врешь, сам ты чашку разобьешь...» Это моя няня пела, покойница. Товарищи переплетчики, ей-Богу, та маленькая брюнетка, что танцует с матросом, недурна!

— Какая? — переспросила Глафира Генриховна. — Фи, горняшка!

— Герцогини, товарищ Глафира, не по сегодняшнему абонементу танцульки. Все маркизы остались дома... Князь, еще по рюмочке?

— Валяйте.

— Я вас очень люблю, князь... Вот только к политике я бы вас за версту не подпустил.

— Ради Бога, Григорий Иванович, оставьте мою политику в покое. Ваше здоровье...

— Давайте и со мной чокнемся, Григорий Иванович. Вы страшно милый.

— Чокнемся, Мусенька, на прощанье.

— Это он милый? Он очень гадкий, Мусенька, вы его не знаете!

— Он прелесть, Сонечка.

— Сонечка, уважайте мои седины. За ваше здоровье, граждане.

— Еще бутылочку прикажете, товарищ? — наклоняясь к Никонову, негромко спросил подошедший буфетчик.

— Не много ли будет? — усомнился опять Фомин.

— На семь человек одной бутылки мало, — решительно сказала Муся. — Дайте нам, товарищ, еще бутылку.

— Сию минуту...

— Спасибо, товарищ... Да здравствует свобода! — восторженным голосом сказал Никонов. Буфетчик засмеялся и побежал за водкой. Публика с завистью следила за кутящей компанией.

— Интересно, за кого они нас принимают?

— За советских сановников второго сорта.

— Только этого не хватало!

— Господа, это мне напоминает нашу поездку на острова в день юбилея папы.

— Хорошее было время!

— Какую речь вы тогда произнесли, Алексей Андреевич! — сказала Глафира Генриховна. — Я до сих пор помню каждое слово.

Князь, смущенно улыбнувшись, поспешно взял с тарелки бутерброд из черного с соломой хлеба с крошечным кусочком колбасы.

— Славно мы тогда на островах кутили, товарищ князь, — сказал Никонов. — Впрочем вас с нами тогда не было.

— Да, правда, вас не было. А сегодня кого из тех нет?

— Мосье Клервилля, Вити и Беневоленского.

— Бедный Витя!

— Господа, несут денатурат!

— Несут, несут, несут!..

— Говорят, его отцу совсем туго приходится?

— Да, очень.

— Отцу денатурата?

— Не остроумно... Мне одну каплю... Довольно, довольно!

— Ништо, пейте, товарищ Глафира. Эх, перемелется, мука будет...

— Что вы хотите сказать?

— Пей, пока пьется, все позабудь, товарищ Глафира Генриховна.

— Что вы хотите сказать, Григорий Иванович? А?

— Глаша, да он ничего не хочет сказать, что это тебе все в голову приходит?.. Господа, а почему не явился Беневоленский?

— Кто его разберет? Сказал, что голова болит.

— Интересничает.

— Сонечка, выпьем на «ты».

— Вот еще! И не подумаю.

— Положительно демос ведет себя образцово. Где же оргия?

— Потребуем деньги обратно!

— Между этой танцулькой и любым балом по существу нет никакой разницы, — сказал вдруг серьезно Никонов. — Вы говорите: демос. Эти люди самые обыкновенные мещане, добравшись наконец до наших радостей и теперь отдающиеся им с упоением. Взгляните на их самодовольные, счастливые лица!.. И как чинно они танцуют! Вся революция была сделана для танцульки. Какая там оргия, они больше всего на свете хотят походить на нас!.. Правду я говорю, Мусенька?

— Доля правды есть, — подтвердил князь.

— Но, значит, и мы мещане?

— Нет, не значит, но... Впрочем, а кто же мы?

— Кланяйтесь, князь Горенский, — сказал Фомин. — Все это, так сказать, если взглядеться в корень вещей. А если без корня вещей, то достаточно и того, что кавалеры не дерутся и не хватают дам за ноги.

— Эх, колорита, колорита этого, понимаете ли, нет, господа. Не красочно все это! — говорил актер.

— Вот идет колорит, Сергей Сергеевич.

Буфетчик хлопнул в ладоши и закричал: «Почтальон! Почтальон!» В залу вошел тот матрос, который сидел внизу с девицей. В руках у него была сумка. Он лениво вытащил из нее ряд конвертов с надписанными номерами и стал разносить их гостям, вглядываясь в картонные кружки. Гости разрывали конверты и медленно, с нахмуренным видом, разбирали написанное. Затем по залу началась сигнализация улыбками, кивками, воздушными поцелуями.

— Ах, вот что такое «Почта Амура»! — сказала Сонечка, с жадным интересом следившая за публикой.

— Значит, та девица предлагала бумагу для почты. Я думала, она спрашивает документы.

— Вдруг, Сонечка, вам подадут записку? Что вы сделаете?

— Это будет зависеть от того, что в ней написано...

— Смотрите, ей-Богу, он несет что-то нам!

— Нет, правда!

— Какой ужас!

Почтальон действительно шел к их столику.

— Вам письмецо, — сказал он Горенскому, подавая ему конверт.

— Спасибо, товарищ, — поспешно сказал Фомин.

Почтальон отошел, Горенский разорвал конверт. На клочке бумаги карандашом были выведены каракули!

— «Как вы и налетчики... можно... пройтись...» — разбирал князь. — Господа, поздравляю! Нас принимают за налетчиков.

Никонов захохотал.

— В самом деле, кто же другой, кроме налетчиков, теперь задает пиры?

— Поделом нам.

— Напротив, за то нам и почтение.

— От кого письмо?

— Что вы ответите, Алексей Андреевич?

— Вы, значит, и есть главный налетчик-атаман.

— Вы знаете, господа, это не очень мне нравится, — озабоченно сказал Фомин. — Еще за милицией пошлют.

— Полноте! Здесь половина публики — налетчики.

— А тогда тем более пора восвояси. Не хочу вас пугать, mesdames, но если в нас подозревают богачей, то лучше нам убраться, подальше от греха. И, право, мне кажется, что на нас начинают косо поглядывать...

Дамы побледнели. Березин и Горенский согласились с Фоминым. Только Никонов решительно запротестовал.

— Что он дичь порет, Фомин! Сам нас сюда привел и теперь наутек. Никакой опасности нет, ерунда!

— Опасности, разумеется, большой нет, — заметил рассудительно Березин. — Но согласитесь, что и не так уж здесь интересно.

— Вернее, все интересное мы уже видели.

— Батюшки, двадцать минут двенадцатого, — сказал Фомин, взглянув на часы. — Мы обещали Тамаре Матвеевне быть не позже одиннадцати дома.

— Тогда, в самом деле, надо бежать. Мама будет очень беспокоиться, — сказала Муся. — Платон Михайлович, будьте моим кассиром.

— Уже за все заплачено, мы можем идти.

— Что за ерунда! — ворчал Никонов. — Я как раз хотел послать письмо брюнеточке...

— А того матроса с серьгой в ухе видели? Ему может не понравиться ваш слог, — сказала Глаша.

— Еще посмотрим ки-ки: же ты у ты же¹⁸, — бормотал Никонов. — Дайте хоть водку допить.

— Допивайте живее.

— Да и не осталось ничего.

— А они на нас не нападут при выходе? — озираясь, спросила Сонечка. — Взгляните, как тот высокий у стены на нас смотрит!.. Он, верно, кокаинист?.. Правда?..

— Зачем кокаинист? Просто лакей, Сонечка.

— Господа, мы отрезаны!

— Ничего, пробьемся.

— Ах, если б опять увидеть городского!.. Бравого статного фараона!

— Ах, какое было прелестное зрелище!

— Дивное невозвратное виденье!

— Позор!

— Господа, серьезно, я очень боюсь...

— Но ведь вы сами жаждали приключений, Сонечка.

— А теперь больше не жажду... Теперь я жажду быть в столовой Тамары Матвеевны.

— Идем, господа, — сказала Муся, вставая.

¹⁸ Кто кого: я тебя или ты меня (искаж. фр.)

Они направились к выходу. Сонечка, замирая, жалась к Березину, Глафира Генриховна к князю. Фомин шел уверенно впереди. «Что, если в самом деле набросятся?» — подумал он, учтиво кланяясь буфетчику, который смотрел на них не без насмешки. Никонов с порога послал воздушный поцелуй брюнетке. «С-сума-сшедший» — прошипела Глаша. — «Трусишки!.. Буржуи!..» — бормотал быстро охмелевший Никонов: он очень давно не пил водки. Князь остановился в коридоре, осмотрелся и, махнув рукой, пошел вниз.

Девушки в вестибюле уже не было: она тоже пошла танцевать. Матрос разбирал за столиком новый пакет «Почты Амура». Он неторопливо встал и аккуратно, как театральный капельдинер, выдал по номерку шубы гостям.

— Прощайте, товарищи. Пока, — сказал он, открывая дверь. — Завтра бал будет еще лучше, милости просим.

— Непременно, непременно, — ответил Фомин. — Пока, товарищ.

— Вы что здесь, владелец? — не удержавшись, спросил матроса Горенский.

Матрос окинул его подозрительным взглядом и пробурчал что-то невнятное. В это время кто-то вошел в вестибюль из маленькой задней двери. Увидев Горенского, вошедший остановился у порога и выпученными глазами уставился на князя. Горенский надвинул меховую шапку и поспешно вышел на улицу вслед за Мусей.

— Только этого не хватало! Мой бывший кучер, — сказал он.

В квартире Кременецких не сразу отперли дверь на звонок. Теперь по вечерам — прислуга рано уходила — обычно отворял двери Витя, который, как мог, старался быть полезным в доме. После второго звонка слышались поспешные шаркающие шаги. Дверь отворила — сначала на цепочку — сама Тамара Матвеевна.

— Господи! Что случилось, мама? — воскликнула Муся. У Тамары Матвеевны лицо было в красных пятнах, глаза заплаканы. Гости растерянно остановились в передней.

Сбивчиво и путанно Тамара Матвеевна рассказала, что полчаса тому назад к ним прибежала Маруся, прислуга Яценко. Николая Петровича вечером арестовали люди из этой новой Комиссии. К нему в дом ворвался отряд солдат, вооруженных с головы до ног, все перерыли, кажется, искали оружия. Затем Николая Петровича увезли неизвестно куда. Витя, сам не свой, поехал наводить справки. С ним отправился и Семен Исидорович.

— Я так за папу боюсь!.. Он решил поехать прямо туда, в эту Чрезвычайную Комиссию... Это очень опасно!.. Ах, что вы, разве я не понимаю?.. Но нельзя же было отпустить мальчика одного в таком состоянии!.. Что это за изверги такие, что он им сделал?.. Она, Маруся, плакала навзрыд... Кажется, Николай Петрович не оставил ей ни гроша... Тебя не было, я думала, что с ума сойду одна!.. Я хотела ехать с папой, но он меня не пустил, и я думала, что когда ты приедешь и никого не найдешь, ты одна с ума сойдешь!.. — говорила, вытирая слезы, Тамара Матвеевна. Ее, впрочем, очень утешил приход Муси и друзей. Гости озабоченно слушали и переспрашивали довольно бестолково. «Вот тебе и пир!.. Все-таки хорошо, что чуть-чуть перекусили на танцульке», — печально думал Березин.

IX

Николая Петровича предупреждали, что его могут арестовать: он занимал видную должность, не выполнил приказа о регистрации и числился «саботажником». В действительности Яценко было не до саботажа. Но и ходить на службу после большевистского переворота, очевидно, не имело смысла. Некому было и сдать оставшиеся немногочисленные дела.

Николай Петрович, считавший себя теперь ко всему в мире равнодушным, сам не ожидал, что неожиданное грубое вторжение чужих людей так его взволнует. Обыск был произведен в десятом часу вечера. В квартиру вошли молодой человек в кожаной куртке, два солдата с ружьями и дворник, «представитель домового комитета». Молодой человек даже

не вошел, а как-то ворвался с таким угрожающим видом, точно ожидал самого отчаянного сопротивления. В руках у него был револьвер. Убедившись в том, что сопротивления не будет, он быстро подошел к Яценко вплотную, посмотрел ему *прямо в глаза* и, отступив на шаг, предъявил приказ об обыске и аресте. Назвался он помощником комиссара. В приказе, над точками в графе имени, за печатными буквами «граждан», были написаны от руки слова: «ина Николая Петрова Яценко». Почерк показался Николаю Петровичу знакомым, но неразборчивая подпись с резким росчерком не походила ни на какую известную ему фамилию.

— Ну что ж, — сказал, пробежав бумагу, Яценко. Руки у него дрожали от нервного волнения, и зубы чуть стучали. Больше он ничего не нашелся сказать, да и «Ну, что ж» показалось ему глупым. Молодой человек, наклонив голову, пристально смотрел на него исподлобья. У дверей ахала Маруся, хватаясь за сердце, как настоящая дама. Солдаты, потоптавшись в кабинете, уселись рядом в столовой, неловко держа перед собой ружья и поглядывая на остатки скудного ужина.

— Они ничего, жильцы исправные, — растерянно говорил, ни к кому не обращаясь, дворник. — Барыня недавно умерла...

— Теперь нет никаких барынь... Пошляк! — сказал с силой помощник комиссара. Он быстро осмотрелся в квартире, потребовал все ключи и с решительным видом направился к письменному столу в кабинете. Молодой человек, видимо, не знал, как производятся обыски и чего именно следует искать. Он сразу озабоченно выдвинул средний ящик стола, точно ему было известно, что именно здесь находятся самые важные документы, затем стал с усмешкой выбирать бумаги, быстро их проглядывая и бормоча что-то невнятное. В остальные ящики он только заглянул, встал, осмотрел, хмуро-неодобрительно кивая головой, книги, стоявшие в шкафу на уровне его роста, и попробовал, открывается ли дверь шкафа, — опять с таким видом, будто от этого движения мог последовать взрыв адской машины. Николай Петрович, немного успокоившись, сел на диван и молча смотрел на комиссара. Молодой человек еще раз обошел квартиру, требуя разъяснений от лепетавшей что-то Маруси, перед которой снова, как при продаже книг, чувствовал неловкость Николай Петрович. Выяснив назначение всех комнат, помощник комиссара заглянул в платяной шкаф и велел солдатам отодвинуть буфет. Солдаты, отставив ружья, хмуро исполнили приказание. Под буфетом ничего опасного не оказалось.

— Полгода, кажется, полотеров не было, — бессмысленно говорила Маруся, сдувая у карниза пыль взятой со стола салфеткой.

— Потрудитесь собрать вещи, — отрывисто приказал помощник комиссара, вернувшись в кабинет. — Только предметы первой и основной необходимости. Других своей властью не разрешаю. Повторяю, первой и основной необходимости.

— Маруся, сложите, пожалуйста... Ну, платье, белье, — нерешительно сказал Яценко. Он будто не знал, может ли еще теперь отдавать распоряжения прислуге. Маруся, ахая, побежала доставать семейный чемодан. Помощник комиссара зажег свечу, растопил сургуч и, достав веревочку, стал с очень озабоченным видом пропечатывать ею концы над щелями ящиков. Печати у него, однако, не оказалось, и он, немного подумав, воспользовался печатью, лежавшей на столе у Николая Петровича, причем сначала неодобрительно попробовал эту печать на клочке бумаги.

— Вы почему меня арестуете? — спросил Николай Петрович.

— На этот конкретный вопрос, гражданин Яценко, я не обязан вам отвечать. Это безусловно выяснится на допросе, — ответил помощник комиссара. Однако тотчас разъяснил, что Яценко арестуется, как слугитель старого строя и саботажник.

— Мы вправе применять драконовские меры предосторожности против людей, бывших опорой царского самодержавия, — добавил он. — Драконовские меры предосторожности, — повторил помощник комиссара. Видимо, он не прочь был завязать политический спор. «Какая у них речь неестественная, — подумал Николай Петрович. — А эта кожаная куртка с наганом, прямо мундир себе завели... Смешной юноша!...» На лице помощника комиссара,

довольно невзрачном, скорее благодушном, повисло выражение мрачной и вместе восторженной решительности: лицо было *бесстрастное, каменное*, но глаза *горели огнем*. Яценко догадался, что молодой человек играл большевистского фанатика. — «Все у них, кажется, подделка... Что ж теперь будет? — подумал Яценко и вдруг вспомнил о Вите. — Господи, как он перепугается»... Николай Петрович подошел к Марусе, стоявшей в передней на коленях перед чемоданом, и, наклонившись, вполголоса попросил ее тотчас предупредить Кременецких.

— Это, конечно, пустяки, я скоро вернусь... Скажите Виктору Николаевичу, чтоб не думал беспокоиться.

Маруся, ахая и дрожа, укладывала в чемодан вещи, казавшиеся ей наиболее нужными: позднее Николай Петрович нашел там свои ордена, лак для ботинок, белые фланелевые брюки, оставшиеся от поездки на море. Он, впрочем, и сам не знал, что следует брать с собой в тюрьму. «Да, книги», — вспомнил Николай Петрович. Книжный шкаф уже был запечатан. Яценко взял «Круг чтения» Толстого, лежавший на табурете у дивана, и успел положить его в чемодан поверх завернутых в газету ботинок, мыльницы и футляра безопасной бритвы. «Жиллет, кажется, только один запасной остался, — подумал он, — где же я потом возьму?..» Оживленная энергичной работой Маруся опустила крышку. Чемодан кое-как закрылся, но бородка верхней пластинки не входила в отверстие замка. Маруся с остервенением нажала на крышку и ключ удалось повернуть.

— Ключ, ключа не потеряйте, — говорила взволнованно Маруся.

— Постараюсь, — ответил, слабо улыбаясь, Яценко. Так, бывало, напутствовала его при отъездах Наталья Михайловна. Он вернулся в кабинет. Помощник комиссара писал протокол. Николай Петрович сел на диван и, нервно зевая, оперся обеими руками на табурет. На газетном листе, слева от лампы, ему попались знакомые строки:

«По требованию гласного Левина, предложение о том, чтобы вся дума пошла в Зимний Дворец, подвергнуто было поименному голосованию. Все без исключения гласные, фамилии которых назывались, отвечали: „Да, иду умирать“ и т. п.

— Теперь потрудитесь следовать за мной, — сказал, вставая, помощник комиссара. — Гражданка, вы пока безусловно отвечаете за квартиру перед рабоче-крестьянским правительством. Объявляю вам это во всеуслышание.

Маруся неожиданно заплакала. Николай Петрович с недоумением на нее посмотрел, совершенно не зная, что ей сказать. Солдаты, выпучив глаза, глядели на Марусю. Дворник, суетясь, растерянно оттянул вверх нижнюю задвижку и отворил вторую половину выходной двери, точно надо было выносить буфет или диван. Помощник комиссара холодно окинул взглядом Марусю, свидетельствуя всем своим видом, что ничьи слезы не помешают ему исполнить долг, затем снова вынул из кобуры наган и вышел на площадку. На слабо освещенной лестнице, несмотря на поздний час, стояли люди, жена дворника, еще какие-то женщины, тотчас шарахнувшиеся к стене. Они с ужасом смотрели на Яценко, на солдат с ружьями, особенно на помощника комиссара в кожаной куртке, который, с револьвером в руке, энергичным шагом спустился по лестнице. Теперь вид его показывал, что он не даст толпе отбить арестанта. В дверях квартиры первого этажа мелькнула и тотчас скрылась испуганная фигура нотариуса в темном незавязанном халате. Дворник с чемоданом, забежав вперед, отворил настежь парадную дверь и низко поклонился не то властям, не то Николаю Петровичу. У крыльца ждал автомобиль. Помощник комиссара быстро осмотрелся на улице.

— Потрудитесь сесть, гражданин, — холодно-бесстрастно сказал он.

Автомобиль свернул раза два, прежде чем Яценко стал соображать, куда именно его везут. Окна были завешены. «Кажется, по Невскому? — спросил себя Николай Петрович. — Нет, это не Невский... Или мы едем к реке? Куда же тогда? Да не в крепость ли?..» Эта догадка вызвала в нем странное чувство, включавшее и некоторую гордость. Помощник комиссара строго молчал, недовольный тем, что Яценко не поддержал политического разговора. Молчали и солдаты на передней скамейке. «Да, конечно, в крепость везут», — подумал Яценко, увидев при повороте, сквозь щель занавески, редкие фонари на огромном

просторе Невы. Автомобиль, замедлив ход, перешел через мост, потрубил два раза и остановился. Яценко неловко вылез вслед за комиссаром и оглянулся. Перед ним были крепостные ворота. Увязая в снегу, они быстро пошли вперед.

Николай Петрович знал в Петропавловской крепости только Собор, ориентироваться в темноте было трудно. Он смутно помнил, что в крепости есть старый обер-комендантский дом, несколько бастioned и Алексеевский рavelин. «Нет, кажется, рavelин давно срыт... Еще куртины есть. Что такое куртина?..» Идти было трудно. Все было занесено давно не счищавшимся снегом. Вдруг сбоку в двухэтажном строении сверкнули длинными рядами огни. Яценко догадался, что это и есть обер-комендантский дом. «Что же у них здесь помещается?» — подумал он у крыльца. Помощник комиссара ввел его в большую, грязную, просто убранную комнату. Солдаты вошли вслед за Николаем Петровичем, положили чемодан и тотчас сели на скамью. Помощник комиссара удалился. Яценко осмотрелся в комнате. Запах керосина вдруг напомнил раннюю молодость Николаю Петровичу. На полу валялись окурки, клочки бумаги. На столе стояла лампа. Пламя, дрожа, вытягивалось вверх, оставляя полосу на стекле.

«Прикрутить? Лопнет стекло, — подумал Яценко. — Но разве здесь нет электрического освещения?.. Кажется, в этом доме допрашивали и судили декабристов. Неужели они здесь ждали допроса? Пестель, Рылеев...» Николай Петрович зачем-то стал припоминать имена казненных декабристов и пятого не мог вспомнить. «Сейчас и меня, верно, будут допрашивать... О чем? Что за ерунда!.. Верно, Витя уже знает... Нет, еще Маруся не могла добежать... Минут через десять... Бедный мальчик остался один... За могилой Наташи кто будет следить?.. Сейчас лопнет стекло... Да, как же его звали, пятого декабриста?.. Вот на этом табурете, прислонившись к этой стене, быть может, сидел Пестель...»

В комнату, в сопровождении помощника комиссара и еще кого-то, вошел человек в мундире без погон. Солдаты неторопливо поднялись с мест, но не вытянулись. Вошедший оглянул солдат, Николая Петровича.

— Этот? — спросил он.

— Этот, товарищ заместитель коменданта. Яценко, бывший царский бюрократ, — ответил помощник комиссара. Стекло в лампе треснуло. Заместитель коменданта выругался ужасной бранью и потушил огонь.

— В двадцать седьмую его отведите, — сказал он. — Сидоренко, проводи... Книгу возьми... Нет, в двадцать седьмой, кажется, какая-то сволочь сидит... Ну, там у смотрителя спросите, в Трубецком бастione.

— Так и сделаю, товарищ, — сказал помощник комиссара, видимо, несколько смущенный. Николаю Петровичу вдруг стало смешно — от темноты, от этого начальства, от тех новых формул, которые старался придумать помощник комиссара: «Так и сделаю», очевидно, вместо «слушаю-с»...

Они вышли из комендантского дома и снова зашагали: впереди помощник комиссара, затем Яценко, за ними провожатый с фонарем и с книгой. Вдали снова показались огни, осветившие высокую решетку с острьями, ворота, длинное здание. «Так это Трубецкой бастion? Пока ничего страшного...» У ворот электрический звонок был сорван, болтались концы проволоки. Помощник комиссара громко постучал. Минуты через две кто-то вышел и приложил изнутри глаз к щели ворот. Затем ворота открылись.

В комнате, в которую ввели Николая Петровича, было совершенно темно. Провожатый поставил фонарь на стол. Впустивший их человек, щурясь и мигая, робко вглядывался в вошедших.

— Товарищ смотритель, потрудитесь принять нового арестованного, — сказал помощник комиссара. — Товарищ Сидоренко, вы сдадите книгу товарищу заместителю коменданта.

Смотритель, наклонившись над фонарем, прочел ордер.

— Слушаю-с, — так же робко сказал он и при свете фонаря бросил испуганный взгляд на Николая Петровича.

— Прощайте, гражданин. Пока, — холодно-учтиво сказал, выходя, помощник комиссара. Смотритель вздохнул с облегчением.

— Сюда пожалуйста, — очень вежливо, даже почтительно, пригласил он Николая Петровича. — Вы можете идти, — предложил смотритель провожатому с фонарем, открывая другую дверь. За ней было светлее.

— Книгу велено сдать, — сердито сказал Сидоренко.

— Я сейчас принесу. Вот только их отведу и распишусь, — поспешно ответил смотритель.

Х

«Социалистическое отечество и революционная столица в опасности. Враг у ворот. Рабочее население Петрограда, бросив мирные занятия, взялось за оружие и готово грудью защищать столицу от неприятельского вторжения...»

«Первый социалистический партизанский отряд 3-го пехотного полка в составе 175 человек продвигается по направлению к Пскову...»

«В отряд вошли матросы, пехотные части, артиллерия и кавалерия. Отряд будет действовать партизански. Вся Балтика, северная Россия и Сибирь спешно формируют отряды, которые входят в этот отряд. Всех отпускных и демобилизованных солдат отряд будет привлекать в свои ряды. Всем трусам смерть! Да здравствует революционная война!...»

В фойе послышался звонок. Стоявший у стены перед афишами высокий седобородый человек бросил папиросу и неторопливо направился в зрительный зал.

В прощальный спектакль давали старую пьесу, лучшие артисты уже уехали, тяжела была жизнь людей, составлявших обычную публику Михайловского театра, тем не менее зал был переполнен. Это было и прощаньем с покидавшей столицу французской труппой, и последней демонстрацией в честь союзников, — немцы только что захватили Псков после разрыва Брестских переговоров.

Актерам аплодировали с необыкновенным подъемом и восторгом. По окончании первого действия капельдинеры торжественно внесли на сцену крошечный венок, еще какие-то тощие букетики. Вид этих цветов был так жалок, и так жалка была вся зала, что выдавшая виды французская артистка, прижимая к груди букет, вдруг на сцене заплакала, искренно, навзрыд, — едва ли не первый раз в жизни.

— Вы знаете, господа, — сказал в ложе князь Горенский, — у них в буфете есть рокфор! Как, почему, какими судьбами, не понимаю, но у них в буфете есть рокфор! И недорого: три рубля бутерброд. Право, это непостижимо и превышает меру понимания человеческого ума. В этом рокфоре есть что-то мистическое!

— А я думал, сэр, — лениво отозвался Нещеретов, — я думал, для вас дело не в рокфоре, а в том, чтоб довести страну до Учредительного Собрания... Вот, вот, тоже сорвался в буфет, — добавил он, показывая глазами на вышедшего из ложи Брауна. — Эх вы, рокфорофилы!

— Как вам угодно, друзья мои, — говорила, смеясь, Муся в противоположной ложе бенуара, внимательно осматривая себя в зеркало пудреницы. «Нет, не блестит нос...» — Как вам угодно, а этот человек меня волнует.

— Кто? Нещеретов?

— Что ты, Муся! — начала Тамара Матвеевна, которую, ввиду торжественного спектакля, тоже взяли в театр. — Что ты, он такой неотесанный и неинтеллигентный!

Лицо Тамары Матвеевны выразило отвращение от неотесанности и неинтеллигентности Нещеретова. Муся с досадой повела бровями и спрятала пудреницу в сумку.

— Разумеется, Браун, а не Нещеретов... Положительно, этой мой грех.

— Почему? Почему? — спрашивала Сонечка.

— Я и сама не знаю, почему... Хорошо играет Полетт Пакс, правда?

— Какое старье! Нет, какое старье, какой хлам! — проникновенно говорил Березин (не знавший ни слова по-французски). — Да, если хотите, это забавно, но мертво, Боже, как мертво!

— Мертво, конечно, — согласилась Муся. — Да ведь к этому искусству и требования другие: мило, просто, вот и все.

— Мило, просто, — укоризненно повторил Березин. — Но искусство, поймите же, по самой своей природе не мило и не просто, по крайней мере для тех, для кого оно отнюдь не приятный отдых, не послеобеденная забава, а великий труд, подвижничество, весь смысл жизни. А это, это зовите, как хотите, только умоляю вас, не называйте это искусством!

— Ах, все-таки французские пьесы бывают такие остроумные, — робко оглядываясь на Мусю, сказала Тамара Матвеевна. — Я помню, мы с Семеном Исидоровичем в Париже прямо хохотали до упада...

— Не знаю, меня Мейерхольд в последнее время утомляет, — перебила ее Муся, рассматривая зал в бинокль. — Скорее неореализм, искания Таирова, я думаю, будущее принадлежит этому. — Муся, как всегда, говорила первое, что ей приходило в голову.

— Мейерхольд сам по себе, Таиров сам по себе, и я, если разрешите, тоже сам по себе, — склонив голову набок, сказал Березин. — Заметьте, я нисколько не ревнив и охотно отдаю кесарево кесарю... В прошлом я отдаю должное даже заслугам старика, — с легкой снисходительной улыбкой произнес он (под стариком разумелся Станиславский, Муся тотчас это поняла и улыбнулась так же ласково-снисходительно). Да, конечно, Мейерхольд сделал очень много. Я не все принимаю в арлекинаде, в возвращении к принципам *Commedia dell' Arte*¹⁹, в теории масок, здесь я о многом готов спорить и спорить до последнего издыхания. Но когда — помните? — китайские мальчики бросали в зал апельсины, я чувствовал, как у меня по спине пробегает та знакомая магическая дрожь волнения, которую я всегда чувствую при высоких достижениях истинного, большого искусства; да, признаю, признаю, оргическая фантастика никем не была выявлена с большею жутью... Я ценю и заслуги неореалистов, синтетического театра с его магией освобожденного актерского тела. Очень, очень верю в трехмерное пространство, многого жду от кривых плоскостей, особенно от конических наклонов, все это так, но ведь это только эпизод в грандиозной революции театра!.. Пусть крупный, пусть значительный, но эпизод!

— Я знаю вашу собственную теорию сцены, как кристалла-тетраэдра, — поспешно сказала Муся.

— Сергей Сергеевич надеется в будущем применить ее в кинематографе, — вставила, покраснев, Сонечка.

— Ах, это замечательная теория! — сказала с жаром Тамара Матвеевна. — Хотя я, конечно, не знаток, но... Вот идет Александр Михайлович, верно, к нам...

Браун пересекал зал по центральному проходу. Тамара Матвеевна издали улыбалась ему самой приветливой своей улыбкой. Он холодно поклонился и, отвернувшись, прошел мимо их ложи в коридор.

— Нет, какой нахал! — восторженно сказала Муся.

«К оружию, товарищи! Смертельная опасность нависла над всеми завоеваниями революции со стороны обнаглевшего германского империализма. Варвары немцы готовы

¹⁹ Комедия масок (*ит.*)

затоптать драгоценные свежие ростки русской молодой свободы. Своим продвижением вперед, после согласия со стороны советской власти на мир, они готовятся похоронить русскую революцию и надолго лишит всех вольных сынов революционной России надежды на светлое счастливое будущее. Чувствуя сердцем гражданина весь этот страшно-опасный момент для страны, горячо ценя блага свободы и сознавая, что сейчас дорог каждый человек в рядах бойцов и защитников социализма...»

— Ничего, не волнуйтесь, они приглашают в тир, — негромко сказал кто-то. Браун вздрогнул и оглянулся. Седобородый человек стоял у афиши. Браун смотрел на него с изумлением.

— Да, это я... По голосу узнали? — улыбаясь, спросил Федосьев. — Надеюсь, по лицу узнать невозможно?

— Нелегко... Какими судьбами?

— Самыми обыкновенными революционными судьбами.

— Так вы в Петербурге?

— И не выезжал никуда. Хотите пройти в буфет? За мной слежки нет, а антракт длинный.

— Очень рад.

— Чаю выпьем... Хорошая вещь стенная газета... Да, это они в тир зовут, — повторил Федосьев, показывая с усмешкой на другую афишу. В ней говорилось:

«Каждый рабочий, каждая работница, каждый крестьянин и каждая крестьянка должны уметь стрелять.

Из винтовки, из револьвера, из пулемета.

Все на курсы обучения военному делу!

Все к тирам стрельбы из винтовок и пулеметов!

Все к оружию!»

— Вот, должно быть, паника в главной квартире Гинденбурга, — сказал Федосьев.

— ...Да, но еще вопрос, искусство ли это, Сергей Сергеевич?

— Я ставлю вопрос не в таком разрезе. Все зависит от того, в чьих руках будет кинематограф. Дайте его истинным художникам и, ручаюсь вам, он ударит по струнам с неведомой силой. Надо же наконец понять, что актер есть актер! И что режиссер есть режиссер! Они по меньшей мере такие же творцы, как автор. Дайте им коснуться магии художественного создания, и они воспрянут, как Антей, соприкоснувшийся с матерью-землею. Дайте творческую свободу режиссеру, — я разумею режиссера настоящего, режиссера милостью Божьей, — и он этой свободой, как Архимедовым рычагом, зажжет великий пламень в мире! Надо бросить в печь весь этот хлам и дребедень, которыми теперь кинематографы развращают малых сих... Если хотите, дело даже не в том, что именно ставить, — поспешно сказал он, взглянув искоса на Сонечку. — Разумеется, я предпочел бы Шекспира, Данте или столь милого сердцу моему Ибсена, но, если нужно, я готов ставить и другое, лишь бы моей творческой воле был предоставлен должный простор... Я готов даже на первое время идти на компромиссы: можно возвести в перл создания мелодраму, рассчитанную на пусть наивный, пусть неискушенный, но и здоровый, крепкий, мужественный вкус народных масс, живительная роль которых будет теперь все расти в новом творческом театре... Однако... Сейчас меня мучит один художественный замысел: «Еду ли ночью по улице темной...»

— Ах, это будет чудесно! — воскликнула Сонечка.

— Да, это будет чудесно, уж вы простите нескромность. Но я поставлю это по-своему. Новое вино не надо лить в старые мехи. Нет, я не возьму сценария ни у Сологуба, ни у Блока, — говорил Березин таким тоном, точно Сологуб и Блок убедительно просили его взять у них сценарий. — Я пойду к новым, к молодым, вот к нему, — сказал он, показывая на Беневоленского, с которым разговаривала Тамара Матвеевна.

Их было пятеро в ложе: Муся решила пригласить Березина, Сонечку и Беневоленского, потому что им всего меньше было оказано любезностей в течение последнего сезона.

Никонов терпеть не мог Михайловского театра. Фомин, наверное, пошел бы, но тогда в ложе было бы шесть человек; Муся этого не любила.

— Да, у вас это может выйти *забавно*, — сказала Муся Березину. Слово «забавно» как будто не очень подходило, но Муся знала, что в ее разговоре с Березиным это слово имеет другой, технический смысл; передовому живописцу она сказала бы даже: «Это у вас выйдет *смешно*». Сонечка, еще не знавшая артистического языка, испуганно взглянула на Березина, как бы он не обиделся? — Непременно это сделайте, непременно, — рассеянно добавила Муся, прислушиваясь к тому, что говорила Беневоленскому Тамара Матвеевна.

— ...Семен Исидорович привык к егеровскому белью... Вы знаете егеровское белье? Прелестное белье, но его теперь — увы! — ни в одном магазине нельзя найти.

Тамара Матвеевна произносила: «магазин» с ударением на втором слоге, от чего у Муси всякий раз поднималась злоба. «И это „увы“!.. Ах, Боже мой, она добрая и милая, но если б поскорей от них уехать!»

— ...Вот и ее хочу попробовать, — сказал Березин, фамильярно прикоснувшись к плечу Сонечки, которая так и зарделась.

— Я слышала... Она теперь этим бредит... Это серьезно?

— Попытка не пытка. Попробуем. Вдруг из девочки выйдет толк?

— ...Вот каковы дела, о которых вы спрашивали, Александр Михайлович. Подумал я: что ж, если левые не очень-то теперь работают, так не взяться ли мне, матерому волку? Что вы скажете?

— Скажу: дай вам Бог успеха. Все лучше, чем они...

— Спасибо и на этом, — заметил, улыбаясь, Федосьев. — По-моему, есть шансы на успех. А по-вашему?

— По-моему, почти нет. Все худшее в России, естественно, повалило к большевикам, но где же все лучшее? Впрочем, я в последнее время вообще настроен безнадежно. Так Шопен после взятия Варшавы называл Господа Бога москалем...

— Однако, ведь вы взваливаете вину не на Господа Бога?

— Нет, больше на «ближних». Делю их на две основные группы: одних без разговоров и тотчас повесить, а другим, пожалуй, достаточно вырвать ноздри.

— Я надеюсь, меня вы относите ко второй категории?

— Да, можно и ко второй.

— Вы слишком гуманны... Я думаю, бесполезно продолжать наш давний спор о старом и новом строе, об ответственности деятелей того и другого? Тут мы едва ли сойдемся.

— Едва ли... Разве установить комиссию для выяснения умственных способностей этих деятелей... *De lunatico inquirendo*?²⁰ это, кажется, называлось у римлян?

— Ничего не имею против такой комиссии. Но с неограниченными полномочиями, правда? С правом исследования мозгов даже у героев освободительного движения?

— И даже у особ первых трех классов.

— Очень хорошо. О многих особах первых трех классов я, пожалуй, еще и от себя представлю в вашу комиссию материалы. Но, вы знаете, без дураков и умные дела в истории не делаются.

— Боюсь только, что вы в своих исторических делах предоставили дуракам несколько большую роль, чем требуют самые строгие исторические традиции.

— Был грех, — сказал Федосьев, — был грех. Правда, твердая, исторически сложившаяся власть может позволить себе и вольности... В лучших языках есть неправильные глаголы. Нехорошо однако, что люди революционного образа мыслей стилизовали нас всех под идиотов. Так у плохих писателей все извозчики непременно говорят: «Так што, вашество», а все евреи: «Что значит?» Но литературная стилизация несколько безобиднее политической. Будьте нам благодарны хоть за все зло, которого мы не

²⁰ О поисках лунатика (*лат.*)

сделали. Ей-Богу, могли сделать гораздо больше!

— Вы, право, меня растрогали! Допускаю, допускаю, могли сделать еще больше зла.

— Что ж, о некоторых из наших преемников и этого не скажешь. Чуть только был случай сделать глупость, сломя голову набрасывались! Ни одного не пропустили... Спросите себя, Александр Михайлович, по совести, чью власть народ больше уважал: нашу или наших преемников?

— Это меня не интересует... Лакеи никогда не уважают тех, кто с ними слишком вежлив.

— Ваш демократизм всегда меня повергал в смущение, — смеясь, сказал Федосьев. — Но мы очень отклоняемся в сторону... Почему это, кстати, мы впали в такой веселый тон? Казалось бы, нечему радоваться.

— Так, привычная форма наших разговоров. Из формы не выйдешь. Я недавно читал, в 1812 году московский обер-полицеймейстер писал царю: «Имею счастье доложить Вашему Императорскому Величеству, что сего числа французская армия вступила в Москву». Вот и мы так, нам выпало еще большее счастье. Возвращаясь к делу, скажу, что, по всей вероятности, вы человек конченный...

— В политике нет конченных людей.

— ...Смотрите, что за стаканы! — пренебрежительно говорил у буфета осанистый пожилой господин с морщинистым лицом и седыми бакенбардами. — Разве так моют стаканы? Верно, бумажным полотенцем вытирают, Бог знает что такое!

— А каким надо?

— Разумеется, холщовым. Я всегда все перетираю холщовым полотенцем: от бумажного остается муть... И потом разве это чай? Зайдите завтра в нашу кофейню. Nadine вам даст настоящего чаю. Она подает, а я мою посуду... И недорого: два рубля стакан с двумя кусками сахара. Да-с, *parfaitement*²¹, с двумя кусками! *Imaginez-vous, la grande duchesse est venue hier à l'improviste comme c'est son habitude. Elle a ßtß ravie... Mais ravie, vous dis-je!..*²²

— Я непременно зайду... «*Au delice du gourmand*»²³ за Думой? Я и то все хотел зайти... *Mettez-moi aux pied de la comptesse...*²⁴ Хорошо играют, правда?

— *Paulette est admirable. Elle me rapelle notre chère Ràjane du temps jadis.*²⁵

— *N' exagerons rien!*²⁶ Была только одна Режан!.. А как вы думаете, скоро вся эта ерунда кончится?

— Я уверен, они до лета не дотянут! Надо потерпеть... Бедная Nadine стала кашлять.

— Надеюсь, ничего серьезного? Я тоже расклеился. Да, перетерпеть... Союзников очень жалко!.. А слышали, говорят, нас всех скоро погонят на какие-то работы!

— Работы так работы. Не запугаете, как говорил Петр Аркадьевич.

²¹ вот именно (*фр.*)

²² Представляете, вчера совершенно неожиданно пришла великая герцогиня, у нее такая привычка. Она была в восхищении... Да, в восхищении, уверяю вас!.. (*фр.*)

²³ «Услада гурманов» (*фр.*)

²⁴ Посадите меня у ног графини... (*фр.*)

²⁵ Полетт восхитительна. Она мне напоминает нашу дорогую Режан былых времен.

²⁶ Не будем преувеличивать! (*фр.*)

— ...Спор о прошлом, Сергей Васильевич, меня, признаюсь, теперь интересует мало. Однако из любопытства я вам задаю этот нескромный вопрос: вы что ж, за собой никакой ответственности не чувствуете?

— Я был не один.

— Была система, и в ней вы в свое время не последний человек.

— Это, извините меня, в марте говорила каждая кухарка, — с досадой возразил Федосьев.

— Кухарка была совершенно права. Деспотическая власть может посмеиваться над людьми, если она проницательна, если она тверда, в особенности, если она удачлива. Но деспотическая власть, ничего не предвидевшая, никаких мер не принявшая, сдавшаяся врагам без боя!.. Собственно, вы кроме пулеметов ничего и не предлагали. Это для идейного политика немного, но, не отрицаю, пулемет мудрая вещь: тысячи аргументов в минуту... Оказалось, однако, что у вас нет и пулеметов! Что же у вас было? И, как ни глупо «потомство», на что тут можно рассчитывать, Сергей Васильевич?

— На силу контраста с прелестью революционного творчества.

— Вот, разве на это... Только и здесь есть одно обстоятельство... Вы черносотенцем никогда не были, — немного покрывали черносотенцев, да стоит ли говорить о всяком неправильном глаголе? — поэтому вам не могут быть обидны мои слова. Ведь что такое большевики? Самые настоящие черносотенцы *en chair et en os*²⁷, и по умственному уровню, и по культурному уровню, и по моральному уровню, и по всем решительно уровням. Я иногда себе говорю: «Нет, сделай поправку на свою к ним ненависть, на тот вред, который они нанесли лично тебе». Делал поправку, выходит все-таки: черносотенцы. По методам, и те, и другие — погромщики. Есть, конечно, некоторая разница в целях. Идеал большевиков: сытый, послушный, самодовольный хам без различия национальности. Идеал черносотенцев: сытый, послушный, самодовольный хам русской национальности. Но ведь это не так существенно: благо ста миллионов людей идеал тоже очень почтенный. Да еще, у черносотенцев не было, кажется, вождя, равного Ленину по практическому уму и силе воли. Вождей помельче, столь же ученых «теоретиков», столь же искренних «фанатиков», столь же откровенных жуликов, у черносотенцев было никак не меньше. А хороших, «вдохновенных» ораторов, пожалуй, было побольше... Вы спросили, к чему я это говорю? Вот к чему. Черносотенцев культурный мир неизменно и откровенно презирал. Перед большевиками культурный мир расшаркивается, — иногда злобно, иногда холодно, но почти всегда «отдавая должное». Новый Гамзей Гамзеевич расселся в Пантеоне истории и, боюсь, расселся там прочно. На месте старого — я умер бы от зависти и злости.

— Если вы это говорите для того, чтобы нагляднее показать, какова цена культурному миру, то нам спорить не о чем, — сказал, пожимая плечами, Федосьев.

— Однако некоторая практическая ценность мнения культурного мира несомненна. Вы и этого приобрести не сумели! Повторяю, не вы лично, а те, которых вы порою покрывали.

— Покрывал я их чрезвычайно редко... Да, признаюсь, иногда по необходимости покрывал, — со скрежетом зубным, со стыдом и с презрением... Что же до разницы в отношении культурного мира, то быть может, дело объясняется просто. У нас черносотенцы все-таки не добрались ни до вершин власти, ни до погребов Государственного Банка. В их распоряжении миллиардного золотого фонда не было. А то могли бы покорить культурный мир. Ей-Богу, могли бы!.. При нашем старом строе все было неизмеримо лучше поставлено, чем *publicité*²⁸. Это не то по глупости, не то от нашего барства: в рекламе не нуждаемся, ври о нас, что хочешь...

²⁷ доподлинные (*фр.*)

²⁸ реклама (*фр.*)

Браун засмеялся.

— Вы очень преувеличиваете, — сказал он. — Я знаю цену культурному миру, но за деньги его так гуртом не купишь.

— О, это не делается в форме простой взятки. Деньги, власть создают престиж, открывают огромные возможности шарлатанства. Наша старая власть не оценила великую идею саморекламы.

— Нет, нужен был еще большой дар эвфемизма, свойство в политике чрезвычайно важное: надо было заставить мир назвать всероссийский погром не погромом, а освобождением трудящихся классов. А главное нужно было попасть в точку. Мир готовится — по счастью, медленно — к очень страшной революции. Революция против монархий не страшна, — страшна революция против носового платка... Я, быть может, и не знаю, куда следовало бы идти веку. Но уж во всяком случае он идет туда, куда не следует.

— Да кто же его знает, куда он идет? Черт с ним, с веком! Давайте, Александр Михайлович, отпустим, хотя бы на время, друг другу разные грехи и продедаем часть дороги вместе? Ну, хоть очень небольшую часть, а? Что, если б вы согласились нам помочь? Ведь я все к этому вел.

— То есть образуем союз конченных людей?

— Посмотрим, что из этого выйдет? Я вам сказал в начале нашей сегодняшней беседы, что мы делаем и каковы наши планы... Эх, досадно, скоро конец антракта...

— Просидим здесь до следующего.

Рукоплесканьям не было конца. Вся труппа Михайловского театра, включая артистов, не выступавших в пьесе, низко кланялась публике. И в зале, и на сцене теперь многие вытирали слезы.

Дотащившийся до рампы седой старик в потертом старом пальто, с плохо завернутым в бумагу котелком под мышкой (в таких котелках теперь продавались разносчиками на улицах домашние котлеты) истерически кричал: «Au revoir!.. Revenez!..»²⁹ Скептический крик передовой газеты, часто ругавший французскую труппу за рутину в игре и репертуар, вдруг тоже вынул из кармана носовой платок и поднес его к глазам. «Расчувствовался, старый дурак!.. — тотчас подумал он, стараясь себя утешить этой сердитой мыслью. — Ну, и пусть камергеры теперь поторгуют котлетами, мне что!..» Почему-то ему пришло в голову, что Петербург умирает и что он сам скоро умрет.

— Все-таки, как ни говорите, сто лет просуществовала у нас французская труппа, — сказал критику его сосед. — А теперь какое уж «Revenez!», сударь мой. — Это «сударь мой» было тоже бессознательной данью старине.

— Ну и достаточно! Хорошего понемножку, — пряча платок в карман, проворчал критик, оберегая свою репутацию желчного, беспощадного человека.

— ...Со многим из того, что вы говорите, я согласен. Но, разумеется, далеко не со всем. Многого мы вовсе не коснулись... Надо еще поговорить, и не здесь, конечно. Может, до чего-нибудь и договоримся.

— Но в принципе вы согласны работать с таким человеком, как я?

— И на это, прямо говорю, я сразу не могу ответить... Скажу только, что слякоть мне надоела, без различия направления слякоти... А вы, разумеется, человек энергичный и вдобавок, для таких дел, превосходный техник... Но ведь я могу быть полезен только своими химическими познаниями.

— Это очень важно... Незачем вам говорить, чем все это грозит в случае провала?

²⁹ До свидания, возвращайтесь! (фр.)

— Я не ребенок.

— ...Вот то-то оно и есть, сэр... Языком чесать чесали так, что лучше не надо. А как до дела дошло, так и в кусты... Да-с.

— Нет, не да-с, — раздраженно сказал князь.

— За одно их люблю, сволочь эту, — продолжал Нещеретов. — За то люблю, что разогнали Учредительное Собрание... Молодцы!

— Не стоит, право, и возражать.

— Так и расцеловал бы этого матроса Железняка... Кстати, знаете ли вы, сэр, последнее немецкое зверство: они не хотят занять Петроград!

— Я уже слышал эту милую шутку.

— Ну-с, ладно. Надо и то в буфет сходить, побаловать чайком утробу. Вы не пройдете со мной, сэр?

— Нет, спасибо, я уже баловал утробу.

— Так до скорого, до приятного... «Пока», — говорит хамье...

— ...Смысл урока? Он, понемногу, намечается. Ставка на зависть, тупость, страх, ненависть — и только на них — оказалась далеко не безнадёжной. Оказалось, достаточно сказать низам: «вы будете жить еще много хуже, чем жили прежде, но зато те, которые прежде жили хорошо, будут гораздо несчастнее вас», — чтобы привлечь низы на свою сторону. Оказалось, достаточно создать на верхах атмосферу зверинца, чтобы не стало отбоя от зверей. Оказалось, что честь и совесть вытравляются без особого труда, — лишь бы у вытравляющих была готовность идти решительно на все. Государство наше рухнуло, а наша жизнь, в которой было много истинно прекрасного, такого, чего я нигде в мире не видел, наша жизнь даже не разрушилась, а просто расплзлась. Так, на моих глазах, теперь расплзаются вполне порядочные люди, еще вчера не подозревавшие, что и они кандидаты в зверинец... И, разумеется, то, что случилось с нами, могло случиться с Францией, Англией, Германией, — теоретические выводы мои имеют очень общий характер. Народы становятся чистыми объектами истории (простите косноязычные слова), именно тогда, когда они объявляют, что наконец-то стали ее субъектами. Или, точнее, когда им это объявляют. Самые совершенные формы рабства создаются, конечно, революциями. Я, Сергей Васильевич, никогда не собирался, как Франциск Ассизский, воспевать хвалу Провиденью за прелесть бытия и за красоту человеческой природы. А теперь и подавно. Для меня настало время, когда ничто больше не радует, а все расстраивает и, в особенности, все раздражает... Могу уйти просто, могу уйти с шумом. И разницы большой нет... Романтично? По-моему, даже и не романтично. Но это так: полная потеря любви и интереса к жизни, только и всего. И «билет почтительно возвращать» не надо: спектакль все равно подходит к концу.

— Давно это с вами?

— Давно.

— Года полтора?... Одним словом, не так давно?

— Нет, больше... Я говорю: давно, — подумав, повторил хмуро Браун. — И с каждым днем хуже. Ничего... Какой-то писатель сказал: «все кончится очень хорошо, — смертью»...

— А я, напротив, чем дольше живу, тем больше жить хочется... Может, потому что я мало жил для себя. Вот как если чай пить, не размешав ложечкой в стакане: чем ближе ко дну, тем слаще...

Из зала послышались бурные рукоплескания.

— Сейчас опять нахлынет публика, — сказал Федосьев. — А я хотел вас просить еще и о другом. С вами в ложе сидел Нещеретов?

— Да, это его ложа.

— Познакомьте меня с ним, пожалуйста.

— Денег хотите? Не даст.

— И я подозреваю, что не даст. Но отчего же не попробовать?

— Попробовать можно. С удовольствием вас познакомлю, хоть он умрет от страха. Или вернее: так как он умрет от страха.

— Спасибо... И вот что еще. Вы, кажется, хороши с майором Клервиллем, членом британской военной миссии?

— Да, мы приятели.

— Вот и с ним тоже, пожалуйста, меня сведите. С англичанами у меня нет связи. К немцам есть ход, а вот к союзникам...

— Ах, так к немцам у вас уже есть ход? Об этом вы мне ничего не сказали.

— Пока ничего определенного.

— Ничего определенного? Повторяю, на это я не пойду... Но как же так? И с немцами переговоры, и с союзниками?

— Отчего же нет? Какие могут быть дурные последствия?

— Последствия естественные, — сказал Браун. — Вы мне напомнили того англичанина, который спросил знаменитого юриста: какое наказание полагается за двоеженство? Юрист ответил: две тещи... А я вас спрошу: сколько человек было повешено в последние три года за склонность к военно-политическому двоеженству?

— Об этом я, Александр Михайлович, в шуточной форме говорить не склонен. Дело идет о спасении России, следовательно все другие соображения отпадают. Аналогия с прошлым теперь совершенно неуместна и даже невозможна. Мы собственными силами спастись не можем. Вопрос в том, кто нам поможет?

— На кого же больше надежды?

— На немцев, разумеется.

— Почему «разумеется»?

— По многим причинам. Во-первых, они умнее и решительнее. Во-вторых, они гораздо ближе: авангарды Гофмана у Орши. В-третьих, вероятно, война кончится победой немцев. В-четвертых... В-четвертых, и союзники, и немцы одинаково начинены ложью и до некоторой степени — только до некоторой степени — у нее в плену. Но условная ложь немцев, хоть и они тоже освободители человечества, легче вяжется с поддержкой черных реакционеров и служителей старого строя, вроде вашего покорного слуги... Со всем тем пробовать надо всюду. Союзные посольства уехали из Петербурга, но военные остались. Если можете, познакомьте меня с этим Клервиллем.

— Вот, значит, для чего я вам понадобился, я и то себя спрашивал... Но Клервилль не занимает важной должности у англичан.

— «Корифейка второго разряда», как были у нас в старом балете? Все-таки познакомьте меня, если вам не трудно.

— Нисколько не трудно... Вы, может быть, слышали, он женится на дочери адвоката Кременецкого и бывает у них каждый день, когда находится в Петербурге.

— Я не знал... Тогда я, пожалуй, снесусь с ним по телефону, чтобы вас не затруднять. Можно на вас сослаться?

— На знакомство со мной? Пожалуйста.

— Только на знакомство... А, может, лучше будет, если вы его предварительно спросите, стоит ли мне являться к нему для беседы... Смотрите, на ловца и зверь бежит. Он показал Брауну глазами на Нещеретова, который появился в дверях буфета.

— Вот я его вам подкину на съедение, — сказал Браун. — Аркадий Николаевич...

Нещеретов подошел, щурясь, кивнул, как знакомому, Федосьеву и сел за стол, не ожидая приглашения. Он не помнил, знаком ли с седобородым господином, но был совершенно уверен в том, что знакомство с ним, Нещеретовым, всем доставляет удовольствие.

— Пьесу не смотрите, а чай с сахарами распиваете.

— Вы не знакомы? — предвкушая эффект, спросил Браун. Нещеретов небрежно протянул руку Федосьеву, с одинаковым равнодушием принимая и то, что они еще незнакомы. — Аркадий Николаевич Нещеретов... Сергей Васильевич Федосьев...

— Очень рад, — сказал Федосьев. Нещеретов изменился в лице.

— Вы не беспокойтесь, — произнес Федосьев, не понижая голоса. — За мной нет наблюдения и агентов здесь никаких нет. Положитесь на мой опыт и знание полицейского дела. Слежка у них вообще пока поставлена плохо, хоть они бесспорно подают надежды.

— Да я нисколько не беспокоюсь, — поспешно ответил, откашлявшись, Нещеретов. — Что, чай сносный? Верно, очень гадкий, не стоит и пить.

— Отличный чай, — весело сказал Браун. — Дайте, пожалуйста, еще чаю, — обратился он к проходившему лакею.

— Я рад случаю встретиться с вами, Аркадий Николаевич, — так же ровно продолжал Федосьев. — Не скрываю, это и не совсем случай: мне нужно поговорить с вами о деле.

— Очень рад, но, помилуйте, какой же здесь разговор о деле? — беспокойно оглядываясь, сказал Нещеретов; он забыл и свой купеческий стиль, и «словоерик». — Для дела можно найти и время, и место.

— Время можно, но место труднее. Разумеется, я с удовольствием зашел бы к вам, но это было бы все-таки связано для вас с некоторым риском. Здесь же совершенно безопасно. Это, кстати сказать, старый прием: известнейшие революционеры назначали друг другу свиданье в театрах, в ресторанах. Я следую великим образцам.

— Я слушаю... В чем дело?

— Дело вот в чем. Организация, во главе которой я стою, ведет борьбу с большевиками. Для борьбы нужны деньги, большие деньги. Мы надеемся, что вы не откажетесь нам помочь.

Браун смотрел то на одного, то на другого, видимо, наслаждаясь зрелищем. Нещеретов отпил глоток чаю из поданного лакеем стакана, оглянулся снова и положил ногу на ногу. Просьба о деньгах была для него привычным делом. Хоть он и раньше догадывался, что дело именно в этом, сказанные о деньгах слова тотчас вернули ему самообладание.

— Так-с, — сказал он («словоерик» опять появился). — Дать вам денег?

— Да.

— Так-с... Но вам, без сомнения, известно, что все мы, значит буржуазия, разорены и пущены по миру.

— Может быть, если вы поищете, что-либо у вас найдется, — сказал Федосьев. — Например, если у вас есть деньги в иностранном банке, хотя бы в Швеции, — вставил он, — тогда это совсем просто. По вашему чеку на шведский или на другой иностранный банк я могу немедленно здесь получить деньги.

— Так-с, — несколько озадаченно повторил Нещеретов.

— Больше того, если бы вы пожелали помимо тех денег, которые вы, быть может, согласились бы дать нагл, разменять чек еще на другую сумму уже лично для себя, мы с удовольствием это сделаем... Впрочем, такие возможности у вас верно есть и без нас?

— Предположим, — уклончиво ответил, слегка улыбнувшись, Нещеретов. — Но есть и нечто другое, серьезнее-с. Когда даешь деньгу, то желаешь знать, кому даешь, зачем и на что.

— Разумеется, — согласился Федосьев. — Но ведь я, кажется, сказал? Или нет? Тогда прошу извинить. Кому? Организации, во главе которой я стою. Имена ее членов вам, вероятно, неинтересны... А меня вы знаете.

— Вас я, точно, знаю. Или, еще точнее, знал... С первого дня революции, вы, извините меня, как в воду канули.

— Согласитесь, было бы глупо, — сказал, приятно улыбаясь, Федосьев, — если б я в тот день явился к новому начальству: сделайте милость, арестуйте меня... Правда, так поступили некоторые из моих бывших сослуживцев, — в тоне Федосьева прозвучало

презрение, — но едва ли это было очень целесообразным или достойным поступком, правда?

— А какая примерно нужна вам сумма? — прервал его Нещеретов.

— Чем больше вы нам дадите, тем лучше.

— Ясное дело. А все-таки?

— Другому крупному капиталисту я сказал бы: дайте нам на контрреволюцию столько, сколько вы в былые времена давали на революцию.

— Ну, я на революцию никогда ни гроша не давал, — отрезал Нещеретов.

— Я и сказал: другому. Вы редкое и счастливое исключение. Большинству богатых людей царский гнет не давал возможности делать дела. Стеснение инициативы, отсутствие гарантий и т. д. Надеюсь, их дела пошли лучше после революции, когда появились и гарантии, и инициатива.

— Да-с, — сказал Нещеретов. — Опять же не все и насмехаться имеют право. Я-то имею, мы Россией не управляли, как некоторые прочие.

— Не управляли, но нам мешали управлять.

— Помилуйте-с, кто вам мешал? Вы сами всем мешали... Ну, да что об этом говорить, дело прошлое. Значит, дать денег вашей организации. Теперь второй вопрос: на что они даются?

— На свержение большевиков.

— Дело хорошее, спору нет, а какими-такими способами?

— Да всякими, — ответил Федосьев. Он зевнул и продолжал тем же бесстрастным тоном, ничуть не понизив голоса. — Как по-вашему, убить Ленина надо? (Нещеретов помертвел и быстро оглянулся. Браун был в восторге). Ну, вот, и вы согласны, что надо. На это первым делом деньги. Далее...

— Простите, я ничего не говорил, — сказал негромко Нещеретов. — И притом... Всех этих господ не перестреляешь.

— Я и не говорил — всех. Но Ленин человек очень выдающийся, я за ним слежу давно. Заменить его им нечем...

— ...Да, трогательный спектакль... И публика какая трогательная!

— Мне прямо до слез жаль, что больше не будет нашего Михайловского театра, — сказала Сонечка.

— Чудо как хорош: это серебро на черном и желтом фоне... Что-то с ним теперь будет?

— И здесь, как везде, начнется новая жизнь, — сказал с силой Березин. — Пусть мертвые хоронят мертвых! Что бы там ни было, а новое слово будет сказано нами!

— Непременно нами, — подтвердил Беневоленский.

— Я тоже думаю, — сказала Тамара Матвеевна. — Все-таки у них искусство очень устарело. Семен Исидорович как-то мне говорит...

— Мама, у вас прядь выбилась из прически...

— ...Так как же, Аркадий Николаевич, дадите нам денег?

— Ну, я еще подумаю, — сказал сухо Нещеретов, — еще очень и очень подумаю. И дело, понимаете ли, серьезнейшее, и, простите меня, руководство должно бы...

Прозвучал звонок.

— А как бы мне поскорее получить ваш ответ?

— Да вот я через профессора передам, — сказал Нещеретов, поспешно вставая. — Ну-с, надо идти в зал. Очень был рад повидать... А вы как, пане профессорше, не идете в ложу?

— Сейчас приду, — ответил Браун.

Нещеретов раскланялся и вышел из буфета, оглядываясь по сторонам. Браун засмеялся.

— Не даст, я так и думал... Вот она, буржуазия! — сказал он. — Прибавят ей два

процента к подоходному налогу, она вопит так, точно ее режут. А когда ее в самом, деле режут, сидит, тихенькая, все ждет, не придет ли откуда избавитель... Нет, глупее наших революционеров только наши «правлящие классы». Хороши правители!..

— Не очень буду спорить... Эти финансовые Наполеоны в политике совершенные ребята, и злые ребята. Этот если и даст, то для того, чтобы на всякий случай застраховаться... А вид у него, когда он говорит о *деньге*, о *деньжатах*, умильный и симпатичный, как у облизывающейся собаки... Как вы думаете, он хоть не донесет, не разболтает?

— Нет, не разболтает, побоится... И уж, конечно, не донесет, что вы! Он честный.

— Ох, человек по натуре предатель. Даже честный человек... Разве вы не замечали, в разговоре за глаза, да еще в полушутливой форме, лучший друг вас предаст, и даже без всяких сребреников, просто так, чтоб была тема для приятной беседы.

— Это дело другое. Мы говорили о полицейском доносе... А в вашей организации большой, я думаю, процент предателей?

— Да, надо полагать, немалый. Я, разумеется, принимаю все возможные меры предосторожности. Но риск, конечно, страшный, не скрываю... Шансов тридцать из ста, что погибну.

— А если не погибнете? Будете министром?

— Да, и на это из ста есть шанса два или три... А скорее всего буду доживать свой век после войны где-нибудь в Германии.

— Любите Германию?

— Не то что люблю, а это, кажется, единственная страна, где еще немного продержится уважение к атрибутам человека, к форме, к чину, к мундиру... Не смейтесь. По существу человека уважать не за что, — вам ли мне это говорить, Александр Михайлович? — вставил Федосьев. — А надо же что-нибудь уважать, на это и атрибуты. Так вот, и буду жить в какой-нибудь великогерцогской резиденции, с уборными первого и второго классов, с «Eingang nur für Herrschaften», с «Der unberechtigte Aufenthalt vor der Haustüre ist strengstens verboten»³⁰, — улыбаясь сказал он, медленно, с трудом выговаривая немецкие слова. — Заучил в свое время эти выражения, так они меня восхитили... И обер в кофейне — не просто лакей, а обер-лакей — будет мне говорить: Excellenz!..³¹ Правда, далеко не так почтительно, как немецкому генералу, а все-таки с уважением: хоть русский Excellenz, а все-таки Excellenz... Чем не жизнь, Александр Михайлович, для человека одинокого и конченого, как сами же вы сказали? Так и умру где-нибудь под забором, но хоть забор будет новенький, чистенький, и висеть будет на нем объявление о духах Lose или Schwarzlose или что-нибудь другое в этом роде... А у нас министрами пусть уж будут ваши друзья, левые Геркулесы. Их и мир охотнее признает.

— Мир признает Геркулесом всякого, кто немного приберет Авгиевы конюшни, — сказал Браун. — Так как же мне вас искать, Сергей Васильевич?

Федосьев вырвал из записной книжки листок бумаги, написал несколько слов и подал Брауну.

— Вот по этому адресу, в понедельник от двух до четырех... Я, кстати, уйду до конца спектакля. Если хотите, поболтаем еще, а потом вместе выйдем. Можно и о другом поговорить.

— С большим удовольствием.

— ...И зачем вы меня познакомили с этим типом, понять не могу. Не люблю я этих

³⁰ «Вход только для господ». «Находиться без разрешения подъезда строжайше запрещается» (нем.)

³¹ Ваше превосходительство (нем.)

господ!

— Помилуйте, Аркадий Николаевич, я думал, вы будете в восторге. Он и по взглядам к вам близок. Вот и Временное правительство очень не любит.

— Сам тоже хорош: дела в каком состоянии оставил! Не мешало бы всем господам государственным деятелям помнить и соблюдать одно мудрое правило, что висит в иных местах: «оставляйте это место в таком виде, в каком вы хотели бы его застать, приходя»... Еще он не доложил бы о нашем разговоре куда не надо? Как вы думаете? — беспокойно спросил Нещеретов.

— Что вы! Он честный.

— От этих людей можно всего ждать. Их, говорят, в Чрезвычайке видимо-невидимо... Вы что ж шубу надеваете? Уходите? Всего одна картина осталась. Ну, как знаете. Князь пошел к Кременецким в ложу. Семьи нет, все дома сидит, верно, мемуары пишет...

— ...Как однако вас, Сергей Васильевич, интересует это дело! Все к нему возвращается... Да ведь оно давно заглохло?

— Заглохло, Александр Михайлович, заглохло. Бог с ним совсем. Помните, что я вам говорил в тот вечер, когда мы так хорошо с вами побеседовали... В день юбилея Кременецкого, помните?

— Что именно вы говорили? Ведь мы тогда беседовали очень долго.

— Я говорил, скоро пойдут у нас такие дела, что смешно и неловко будет разыскивать виновников разных отдельных преступлений.

— Ах, да, припоминаю... Вы еще говорили, что вас это дело интересует как шарада... Что ж, так и не разгадали шарады?

— Пока не разгадал.

— Как-нибудь к этому вернемся... Советую вам поднять воротник, на дворе холодно.

— А здесь в коридорах сквозной ветер, это специальность Михайловского театра... Вот еще что-то висит на стене...

Федосьев остановился и прочел вслух, вполголоса:

«Петроград, Смольный, Ленину, Троцкому. Как и предполагали, обсуждение условий мира совершенно бесполезно, ибо они ухудшены сравнительно с ультиматумом 21 февраля и носят ультимативный характер. Ввиду этого, а также вследствие отказа немцев прекратить до подписания договора военные действия, мы решили подписать договор, не входя в его обсуждение, и, по подписании, выехать. Поэтому потребовали поезд, рассчитывая завтра подписать и выехать. Самым серьезным ухудшением по сравнению с ультиматумом 21 февраля является отторжение от России округов Ардагана, Карса и Батума под видом самоопределения.

Карахан »

— «Потребовали поезд», — сказал с усмешкой Браун. — Вот это требование никак нельзя назвать чрезмерным.

XI

Николай Петрович читал об особом, тоскливом чувстве, которое охватывает заключенного в ту минуту, когда за ним впервые «с визгом и скрипом захлопывается тяжелая дверь». Но он этого не испытывал; он чувствовал лишь большую усталость. Как только смотритель с фонарем ушел, любезно пожелав доброй ночи, Яценко, осторожно вытянув руку вперед, добрался до койки, затем развязал галстук, снял свой высокий двойной крахмальный воротник и лег, испытывая наслаждение от постели, от одиночества, даже от темноты. Освещения в комнате не было никакого. Николай Петрович полежал минут пять,

собираясь подумать о случившемся, но так и не подумал. Глаза у него стали слипаться, чувство усталости и наслаждения все росло. Он сделал над собой усилие, привстал, кое-как, не без труда, разделся в темноте, снова лег и тотчас заснул глубоким сном, каким ему случалось в последнее время спать лишь после большой дозы снотворного средства.

Когда он проснулся, в камере была полутьма. Яценко приподнялся на койке, взгляделся в камеру и привел мысли в порядок. Настроение у него было довольно бодрое. Обычной утренней тоски не было. «Что ж, арестовали, не беда, скоро выпустят... И спал прекрасно... Да это санаторию выстроил царь Петр Алексеевич», — подумал, сладостно зевая, Николай Петрович и сам удивился шутливому тону своей мысли. «И камера как камера... Конечно, не салон. Вот только света мало, читать можно, но трудно...» В углублении стены оказалась электрическая лампа без выключателя. Николай Петрович пытался ввинтить ее покрепче, — лампа не зажглась, только пальцы у него почернели от пыли. Он подошел к рукомойнику, из крана слабой, тонкой струей текла вода. Яценко вспомнил, что у него в чемодане есть туалетные принадлежности, поднял крышку, растянул ремни и стал раскладывать вещи, как когда-то в гостиницах. Поверх ремней лежали сплюснутые ночные туфли. Николай Петрович расправил их и бросил на пол у постели. «Вот только коврика нет», — подумал он почти весело. Для мыла, гребешка, зубной щетки, плоской бритвенной коробки нашлось место на рукомойнике. У койки, прислоненной изголовьем к стене, была привинчена доска. «Это ночной столик, он же у меня будет и письменный, и столовый»... Николай Петрович положил на доску «Круг чтения». Другие вещи класть было некуда, пришлось оставить в чемодане.

«Вот и отлично... Что же теперь делать?» — умывшись, с недоумением спросил себя Яценко. Делать ему ничего не хотелось. Несмотря на долгий сон, он все еще чувствовал усталость. «Который час?» Часы показывали пять. Николай Петрович поднес их к уху, часы стояли. «Экая досада, забыл вчера завести. У зрителя надо спросить, когда он придет. Ведь придет же сюда кто-нибудь, хотя бы с едой...» Есть ему, впрочем, не хотелось. «В самом деле, чем же теперь заняться? Нужно выработать порядок, может, и с месяц придется просидеть... Вероятно, еще утро, хоть не поймешь здесь». Дома утренние часы проходили в тоскливом ожидании ненужных послеобеденных визитов. Одни и те же разговоры одних и тех же, хотя бы и приятных, людей, давно утомили Николая Петровича. Теперь ему не хотелось видеть никого, даже Витю, — лишь бы быть вполне за него спокойным. Но у Кременецких ничего дурного с Витей не могло случиться. «Марусе забыл дать денег, — вспомнил с огорчением Яценко. — Ну, да как-нибудь устроится. У Кременецких же возьмет. Они очень славные люди... Верно, можно будет послать и отсюда, если не скоро выпустят... И если не отберут денег. Пока, однако, не отобрали. Даже и обыска не было...»

На стене висела бумага: «О порядке содержания заключенных в Трубецком бастионе». Николай Петрович внимательно ее прочел, все удивляясь новой орфографии. Инструкция была составлена в либеральном духе и предоставляла заключенным немало льгот. «Совсем как в гостиницах правила, вот только не на четырех языках». Аналогия между Трубецким бастионом и гостиницей или санаторией забавляла Николая Петровича; он подумал, что надо будет рекомендовать друзьям тюремное заключение для поправки нервов. «Главное — абсолютная тишина. Это очень успокаивает... Вот на стене еще что-то написано...» Против окна карандашом были выведены стишки. «Полковник Швец, — напрягая зрение, разбирал Яценко, — рожден был хватом. Слуга царю, отец солдатам»... Это недавняя надпись... А должны быть и старые, ведь здесь люди сидели и сто лет тому назад... Потом поищу по стенам. Теперь нужно обдумать... А впрочем, право, там будет видно, когда позовут на допрос... Вот и книга лежит. Священное писание? Нет, Священного писания они, конечно, не положили бы»... Николай Петрович поднял книгу и с удивлением увидел, что это был «Круг чтения», им же сюда положенный. «Странно, как я мог об этом забыть? Или голова плохо работает? Нет, не может быть... Надо будет много ходить по камере, — так делали какие-то заключенные. Сильвио Пеллико, помнится, или народовольцы? Очень хорошо, что я захватил книгу».

Яценко вспомнил, что в романах («а, может быть, и в жизни — не все ведь выдумывают писатели?») люди часто открывают какую-нибудь книгу наудачу, обычно Библию, и при этом натываются на важные мысли, имеющие прямое отношение к волнующим их вопросам. «Кажется, и у Толстого есть что-то в этом роде... Дай, попробую...» Николай Петрович открыл наудачу «Круг чтения». На открывшейся странице было несколько мыслей. «Какую же взять? Эту? Но вот и на правой странице тоже мысли...» Яценко прочел отрывок, начинавшийся первым под тире на левой странице. Мысль эта не имела отношения к судьбе Николая Петровича. Но была она тонкая, сложная, и говорила она о призрачности мира, — так по крайней мере ее понял Яценко.

«В самом деле все призрачно, — подумал вдруг Николай Петрович. — Вот и то, что случилось со мной, с Наташей, с Россией. Все призрачно!.. Нет, как же, однако, все? Что призрачного, например, в том помощнике коменданта? Или вот, эта стена?» Николай Петрович протянул руку, прикоснулся к холодной сыроватой стене, — и отдернул руку с сожалением: ему жалко было расставаться с идеей призрачности мира. «Еще попробовать?» Он снова раскрыл книгу. Попалась длинная мысль, уж явно не имевшая отношения к его судьбе:

«Вся деятельность людей мира состоит из скрывания неразумия жизни: с этой целью существуют и действуют: 1) полиция, 2) войска, 3) уголовные законы, тюрьмы, 4) филантропические учреждения: приюты для детей, богадельни для стариков, 5) воспитательные дома, 6) дома терпимости, 7) сумасшедшие дома, 8) больницы, в особенности сифилитические и чахоточные, 9) страховые общества, 10) все обязательные и устраиваемые на насильственно собираемые средства образовательные учреждения, 11) учреждения для малолетних преступников и многие прочие.

Яценко читал эти слова, вдумываясь в их прямой смысл, и в нем вставало то чувство недоумения, обиды, негодования, которое когда-то вызывало у него «Воскресение». Однако теперь Николай Петрович чувствовал и другое. Суд, законы, даже образовательные учреждения ставились вровень с домами терпимости! Но ужасные слова эти говорил один из умнейших, умнейших и благороднейших людей мира, и говорил он это в восемьдесят лет, у края могилы, — уж конечно не для того, чтобы удивлять или забавлять читателей парадоксами. «Как же я могу во всем этом разобраться, и можно ли обыкновенному человеку разумом понять, осмыслить жизнь?» — спросил себя Николай Петрович. Он снова зашагал по комнате. «Быть может, призрачно и неразумие жизни... Да, все, все призрачно... Не станет меня, как не стало Наташи, и где же будет то, чем мы жили? Ее смех у бусовой двери в Ницце? Наша прогулка в Царском Саду? Моя гимназия, которую я ей показывал...»

Николай Петрович остановился посредине камеры. Вдали, наверху, раздался глухой бой, затем перешедший в музыку. Призрачная, очень медленная музыка эта имела прямое отношение к его мыслям, она была в том далеком, о чем он вспоминал. Яценко сразу понял, что это играют знаменитые куранты Петропавловской крепости. Но ему не хотелось признать, что ничего таинственного собственно не произошло. «Есть здесь какая-то важная и странная связь», — думал Николай Петрович, прислушиваясь к медленно гасшим наверху звукам «Коль славен». Сердце у него билось и на глазах были слезы.

XII

В ярко освещенном, людном hall'е гостиницы «Палас» против вертящейся двери стоял пулемет. Ксения Карловна, как всегда, с досадой окинула его взглядом: «бесполезная и потому вредная мера», и, мимо смотревших на нее с любопытством людей, поспешно направилась к лестнице. Подъемная машина в «Паласе» действовала, но Карова редко ею пользовалась, чтобы не беспокоить молодого товарища. Она жила в третьем этаже, в небольшом номере, прежде отдававшемся по восемь рублей в сутки. Теперь в таких номерах жили ответственные работники, — ответственные, но не слишком важные. Партийным сановникам были отведены номера получше. Самые же важные партийные вожди жили

отдельно, не в «Паласе». Это сделалось, без умышленного распределения по чинам, само собою, — так, как новые люди располагаются на богатом курорте, где кроме просто хороших гостиниц, находящихся близко одна от другой на главной улице, всегда есть еще одна, самая лучшая, стоящая где-нибудь поодаль, особняком, и живущая самостоятельной жизнью.

Ксения Карловна вошла в свой номер, сняла пальто и повесила его на гвоздь, вбитый в дверь ванной (все вешалки исчезли неизвестно куда). Свой номер она содержала в чистоте и порядке, — на прислугу положиться было невозможно. Ванная комната служила ей и кухней: на столике находилась спиртовая лампа, а на полке разные съестные припасы. При гостинице действовал ресторан, — не прежний, первоклассный, но недурной и хорошо снабженный провизией. Ксения Карловна раз в день получала там обед из двух блюд: ужинала она у себя в номере, всегда одна, за книгой и газетами. По ее положению и связям, она могла бы устроиться гораздо лучше. Но людям, которые ей это предлагали, Карова твердо объясняла, что находит «принципиально недопустимыми бытовые привилегии ответственным работникам». Ксения Карловна не одобряла поведения многих товарищей, в том числе и видных, и говорила, что они живут теперь так, как при старом строе жили князья и плутократы, представители отжившего привилегированного класса. Слов «князья и плутократы» Карова не придумывала, — они, как и многие другие такие слова, сами собой у нее выскакивали, когда она говорила серьезно (а говорила она серьезно почти всегда).

В отличие от громадного большинства своих товарищей по партии, Ксения Карловна знала, как жил до революции привилегированный класс. Она выросла в богатстве и только лет двадцати от роду, после смерти матери и окончательного *конфликта* с отцом, стала жить по-иному. В тесном ее кругу это ей даже создавало особое положение, которого она стыдилась в разговоре с другими (чаще, впрочем, гордилась, чем стыдилась). Но и в самые последние годы Карова жила значительно менее бедно, чем жила теперь, участвуя в правительственной работе. Отец и после окончательного конфликта продолжал высылать ей деньги, ничтожные по его богатству, но вполне достаточные для жизни: почему-то он назначил ей семьсот рублей в месяц, которые с тех пор, в течение многих лет, каждое первое число, регулярно ей высылались конторой Фишера. Порывая с отцом, Ксения Карловна думала было вовсе отказаться от его денежной поддержки. Но это оказалось невозможным. В интимных беседах с друзьями Карова, опуская глаза, подчеркнуто-суровым к себе тоном говорила, что, к несчастью, она не могла отказаться сразу от всех привычек прежней жизни, — «от тех времен, когда я с матерью разъезжала по всем Европам». Платья она всегда носила простые, скромные, довольно дешевые, но белье покупала у Дусе. «К тому же, отказаться от средств моего батюшки было бы не в интересах партии», — тем же простым, сурово-мужественным тоном говорила она. Это в самом деле было не в интересах партии, и важный партийный деятель, с которым Ксения Карловна тогда сочла нужным посоветоваться, вытаращил глаза и замахал руками, узнав об ее сомнениях.

— Да это безумие! — воскликнул важный партийный деятель. — Вы, напротив, должны в максимальной степени выпотрошить папашу.

Слова эти резнули Карову, но она понимала, что, как человек партийный, ее собеседник прав. Моральную трудность можно было бы преодолеть иначе, отдавая партии все получаемые от отца деньги, — и против этого партия, наверное, ничего не имела бы. Однако Ксения Карловна не чувствовала себя способной жить на двадцать пять рублей в месяц. С тех пор, получая в Париже с неприятным чувством, каждое четвертое число, конверт с пятью сургучными печатями снаружи, с семью ассигнациями внутри, Ксения Карловна регулярно отдавала в партийную кассу четыреста рублей. Рассказывала она об этом *неохотно* только близким друзьям; но близким друзьям рассказывала непременно и всегда мужественным, суровым к себе и вместе чуть насмешливым тоном, с упоминанием и о Дусе, и о «всех Европах».

Служебный день Ксении Карловны был кончен, — обычно он кончался гораздо позже. Этот вечер был предназначен для чтения и литературно-политической работы. Ксения Карловна и то жаловалась друзьям, что практическая деятельность ее засасывает: «А между

тем надо, ох, как надо, и по теории кое-что подчитать, а уж по истории я совсем швах, каюсь, запустила», — сурово-мужественно говорила она друзьям. Впрочем друзья знали, что товарищ Карова, по своей обычной скромности, преувеличивает: она всегда следила и за теорией, и за историей (разумелись теория и история партии). В партийной среде очень ценили и уважали Карову: «крупная сила и замечательный работник», — говорили о ней светочи.

На столе, под стеклом которого видны были объявления дорогих гостиниц, магазинов, пароходных обществ, лежал картонный портфель: Ксении Карловне недавно посчастливилось достать большую редкость, собрание статей Ленина. Она развязала шнурок портфеля и бережно положила на стол потрепанные синие и серые брошюры, аккуратно наклеенные на бумагу газетные вырезки. Время у Ксении Карловны было рассчитано. Она вышла в ванную комнату, открыла кран с надписью «горячая» и подставила руку под струю — вода все текла холодная. «Позор, что не могут наладить», — сердито подумала Карова. Она вообще не любила «Паласа». Ей было известно, что в этой гостинице ее отец провел последние недели своей жизни. В том большом номере бельэтажа теперь жил видный партийный деятель, и Ксении Карловне всегда бывало неприятно с ним встречаться, хоть он был очень уважаемый работник, состоял даже некоторое время цекистом, а в партии числился с 1904 года.

Карова умылась холодной водой, затем поставила на спиртовую лампу приготовленную с утра кастрюлю. Запах спирта вызвал в ее памяти лабораторию. Что-то больно кольнуло Ксению Карловну. «Да, злой бессердечный буржуа», — сказала она себе, вспомнив свой визит к Брауну. Ксения Карловна вернулась к столу, зажгла лампу сбоку, над зеркалом, и пододвинула папиросы, бумагу, — надо было сделать из разных статей выписки и заметки для ответственного доклада. Она отвинтила крышку карманного пера, — перо не писало. Ксения Карловна сильно его встряхнула и с ужасом заметила, что капнула чернилами на брошюру «Шаг вперед, два шага назад». Кляксу кое-как удалось высосать свернутым в трубочку куском промокательной бумаги, — осталось только бледно-голубое пятнышко, — но все же было неприятно, и Карова не сразу могла сосредоточить мысли. Однако, сделав над собой усилие, она установила порядок положений доклада, приблизительно наметила, что в какой статье надо просмотреть, и, нахмурившись, стала читать.

«...Философия хвостизма, процветавшая три года тому назад в вопросах тактики, воскресает теперь в применении к вопросам организации...» — «Да, это очень важно сейчас, коль скоро бывшие хвостисты собираются поднять голову», — удовлетворенно подумала Ксения Карловна и взялась было за перо. Из ванной запахло капустой, — Ксения Карловна забыла о супе. Она вскочила, пробежала в ванную и погасила спиртовку. Суп, шипя, переливался через край кастрюли. Ксения Карловна, морщась от боли, взялась за горячую ручку, быстро перелила суп в глубокую тарелку,хватила с собой соль, хлеб и перенесла все на стол. «Да, злой буржуа, вообразивший себя сверхчеловеком, — опять вспомнила она о Брауне. — Осмеивает все живое и борющееся... Ну, и вычеркнуть его раз навсегда из памяти...» Но Браун из памяти у нее не выходил.

Ксения Карловна познакомилась с ним давно, вскоре после разрыва с отцом. Она тогда подумывала и о науке. К Брауну у нее было рекомендательное письмо. Ксения Карловна бывала и на его лекциях, и в лаборатории. Наукой он не советовал ей заниматься, но был с ней очень внимателен и любезен, зашел с визитом, пригласил ее на обед в ресторан. Ксения Карловна охотно приняла приглашение: она и партийным друзьям говорила, что любит «минутные вылазки в старый мир». Ей — особенно в ту пору — нравились хорошо одетые, хорошо воспитанные, хорошо говорящие по-французски мужчины. Обед, впрочем, сошел

неудачно. В ресторане, выпив шампанского, Ксения Карловна рассказала Брауну всю свою жизнь. Он был, однако, в дурном настроении, слушал ее мрачно и не очень внимательно, а когда она кончила, сказал:

— Это Шекспир с примесью Вербицкой... Что, если в дальнейшем Шекспира не хватит? Тогда вся ваша жизнь пройдет по Вербицкой, а? Право, не стоит, Ксения Карловна.

— Я вам говорю чистую правду, — сказала, вспыхнув, Ксения Карловна. Вместо «чистую» у нее вышло «цистую», — в минуты волнения она немного шепелявила; это воспоминание потом очень ее мучило.

— В этом я нисколько не сомневаюсь, — поспешно ответил Браун. Мнение Ксении Карловны об его любезности и хорошем воспитании поколебалось. Однако добрые отношения остались, тем более, что Браун, видимо, старался загладить свою резкость. Она часто о нем думала, стыдилась этого и вместе этому радовалась.

«...Знаете ли вы, читатель, что такое Воронежский комитет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии? Если вы не знаете этого, то почитайте протоколы партийного съезда...» «Hôtel Héliopolis, le plus luxueux du monde, 800 chambres avec salle de bain...»³² «Паки и паки мы должны с сожалением констатировать, что бундовцы совершение не сводят концы с концами...» «Those Cook & sons offices, Great Britain & Ireland, Europe, Africa, Oriental...»³³ Есть и читать, скосив глаза, было неудобно, — глупые объявления под стеклом развлекали Ксению Карловну. Она поужинала, унесла тарелку в ванную, вернулась и быстро набросала тезисы доклада. Это ее оживило. Для заключительной части, где говорилось о приходе партии к власти, надо было заглянуть в прошлогодние статьи Ленина. Ксения Карловна внимательно прочла ряд вырезок и кое-что выписала. «Когда-то А. И. Герцен сказал, — быстро, крупным и четким почерком, выписывала она, — что когда помотришь на „художества“ господствующих классов России, то становится стыдно сознавать себя русским. Это говорилось тогда, когда Россия стонала под игом крепостничества, когда кнут и палка властвовали над нашей страной. Теперь Россия свергла царя. Теперь от имени России говорят Керенские и Львовы. Россия Керенских и Львовых обращается с подчиненными национальностями так, что и теперь напрашиваются на язык горькие слова А. И. Герцена...»

В одиннадцать часов Ксения Карловна кончила конспект доклада, который несомненно должен был вызвать много споров и шума в городском комитете. Она прочла конспект с начала до конца. Некоторые места в нем доставили ей немалое удовлетворение, особенно то, которое со ссылкой на Ленина, было направлено против бывших хвостистов, теперь примазавшихся к комитету и явно компрометирующих партию. Ксения Карловна завинтила самопишущее перо, аккуратно, в хронологическом порядке, сложила статьи Ленина и завязала шнурки папки. На следующий день надо было идти на работу в семь часов утра. Ксения Карловна разделась и стала проделывать шведскую гимнастику, которую ей рекомендовал один врач, — прекрасный работник, состоявший в партии с 1907 года (Ленин тоже одобрял шведскую гимнастику). Зеркало отражало ее тощую фигуру, худые повисшие руки, аккуратно, но некрасиво заплатанное белье — от Дусе. «Кожа желтая от электрического света... И наша эпоха не время для личного счастья... Злой, злой человек, и не надо о нем вспоминать, — печально и бессвязно думала Ксения Карловна, вздрагивая при мысли о своей последней встрече с Брауном. — „Повысятся другие ценности, скажем, например, наружность“... Как это плоско он сказал, и грубо, и пошло!.. Я ему ответила: „Это ваше замечание сделало бы честь Кузьме Пруткову“. И очень хорошо, что так ответила, —

³² Отель «Гелиополис», самый роскошный в мире, 800 номеров с ваннами (*фр.*)

³³ Контора «Кук и сыновья». Великобритания, Ирландия, Европа, Африка, Восток (*англ.*)

вспомнила она, вытягивая руки и приседая. Вдруг Ксения Карловна замерла: „Что, если сказала не честь, а цесь!.. Нет, не сказала... Ах, да не все ли равно! Право, стыдно об этом и думать! Для меня этот буржуазный эстет больше не существует...“

XIII

Денежное положение Горенского становилось с каждым днем хуже. Посоветовавшись с Мусей, Фомин задумал пристроить князя в коллегия по охране памятников искусства и истории. Это было нелегко, хотя Фомин и пользовался немалым влиянием в коллегии. К нему очень благоволила Карова.

Фомин был с ней чрезвычайно внимателен и любезен, — однако без всякого подхалимства. Ксения Карловна знала, что он, как многие другие члены коллегии, относится к большевикам враждебно. Но она чрезмерной нетерпимостью не отличалась и всякие знаки внимания очень ценила. Поладить с нею было нетрудно. Фомин интересовался ее взглядами на искусство, советовался с ней не как с начальством, а как с хорошо осведомленным специалистом, и называл ее по имени-отчеству. Другие члены коллегии обращались к Ксении Карловне официально: «товарищ Карова», — она чувствовала, что в устах некоторых из них слово «товарищ» звучит насмешкой или ругательством.

Впрочем, при первой попытке Фомина поговорить о должности для Горенского, Ксения Карловна отнеслась к этому как будто несочувственно.

— Князь Гореиский? Ну вот еще!

— Почему же «ну вот еще», если смею спросить?

— Ох, не люблю князей...

— Гейне говорил: «Надо быть очень осторожным в выборе своих родителей», — шутливо ответил Фомин. — Разрешите оказать вам, что вы и сами допустили маленькую неосторожность, родившись в привилегированной среде, в мире *haute finance*³⁴.

Фомин чувствовал, что это напоминание об ее принадлежности к привилегированной среде не слишком неприятно Ксении Карловне и что едва ли она уж так не любит князей.

— Но ведь этот Горенский, вдобавок, очень ярко выявленная фигура буржуазно-либерального лагеря?

— Не такая уж яркая фигура... Наконец, позвольте вам напомнить, Ксения Карловна, — сказал с достоинством Фомин, — что и ваш покорный слуга тоже отнюдь не большевик и даже не сочувствующий. Я от вас этого никогда не скрывал.

— Да, я знаю, — поспешно сказала Ксения Карловна, впадая в его тон, в тон дружески разговаривающих офицеров враждебных армий. — В общем и целом мне направление членов коллегии безразлично.

— Разница в политических взглядах не мешает нам делать культурное дело, которое и вы, и я находим полезным. Да, Горенский — князь, но такого знатока старых книг, фарфора и миниатюр у нас в коллегии нет. Ему надо было бы предоставить отдельную секцию.

— Что ж, если он ценный культурный работник, — ответила, сдаваясь, Ксения Карловна, — я отнесусь индифферентно... Тогда, я думаю, надо мне сначала с ним познакомиться?

— Непременно! Я его к вам приведу.

В согласии Каровой Фомин и раньше почти не сомневался. Главная трудность заключалась в том, чтобы уговорить князя. И Фомин, и Муся долго доказывали Горенскому, что коллегия по охране памятников искусства и старины никак нельзя причислять к большевистским учреждениям или даже с ними сравнивать.

— У нас большевиков три человека и обчелся, — убедительно говорил князю Фомин. — Я лично имею дело только с товарищем Каровой. Un numéro,

³⁴ больших денег (*фр.*)

celle-là. ³⁵ Остальные члены коллегии такие же большевики, как мы с вами. И самая коллегия то же самое, что на войне был Красный Крест, только спасают не гибнущих людей, а гибнущие шедевры искусства.

— Ну да, вот именно! Вот именно! — горячо подтверждала Муся.

— Может быть, но что ж мне делать? Я этих людей видеть не могу, — отвечал мрачно Горенский. — Мне противно якшаться с ними, и руку им подавать гнусно.

— Позвольте, Алексей Андреевич, — обиженным тоном сказал Фомин. — Почему же я могу подавать им руку? Вам отлично известно, что я их люблю не больше, чем вы.

— Пожалуйста, не сердитесь на меня, Платон Михайлович, — сказал князь, — я очень ценю ваше доброе намеренье... Но вы знаете, как я теперь нервен.

— Да я нисколько не сержусь. Я только говорю: подумайте.

— По-моему, тут и думать нечего, — говорила Муся. — Платон Михайлович совершенно правильно сказал: это Красный Крест. А на Красный Крест ни бойкот, ни саботаж распространяться не могут.

— Хорошо, я подумаю, — упавшим голосом ответил Горенский.

Жить князю было в самом деле нечем. Он не мог продавать имущество, как делали другие; дом у него отобрали со всеми вещами. По текущему счету выдавали ежемесячно гроши, которых не хватало на несколько дней жизни. Не мог князь и уехать в глушь, в деревню, как хотел сделать после разгона Учредительного Собрания: землю у него тоже отобрали. Еще недавно многие богатые люди сочли бы для себя честью оказать кредит князю Горенскому. Теперь денег ни у кого почти не было, а те, у кого деньги оставались, гораздо менее охотно предлагали их займы. Уж очень много теперь везде было нужды. Лишения, которым подвергались люди, прежде богатые и высокопоставленные, никого не удивляли и не трогали, тем более, что, наряду с подлинными богачами, тон разоренных революцией магнатов часто принимали люди, никогда никакого состояния не имевшие. Горенский взял займы три тысячи, предложенные ему Нещеретовым, был немного должен и Кременецкому. Деньги скоро разошлись, и теперь у князя не оставалось ничего.

Горенский опустил и по внешности: брился не каждый день, носил помятые воротнички, некрасиво, с торчащим изнутри язычком, расходившиеся над галстуком. Как-то раз Муся заметила, что у князя брюки с бахромою и сбитые башмаки. Это почему-то особенно расстроило Мусю. Впоследствии, когда она вспоминала Петербург 1918 года, в памяти у нее прежде всего вставали не аресты, не грабежи, не убийства, даже не голод, а бахрома на брюках и сбитые каблуки князя. Муся знала, что он взял небольшую сумму денег у ее отца. Семен Исидорович тогда сообщил об этом семье.

— Нынче я, друзья мои, устроил маленький заем нашему милейшему Алексею Андреевичу, — сочувственно вздыхая, сказал Кременецкий. — Он, бедняга, чуть ли не голодает... Пусячок какой-то, не стоит и говорить... Но подумать только: князь Горенский, владелец двенадцати тысяч десятин!

Муся хотела было попросить отца опять предложить Алексею Андреевичу денег; она знала, что Семен Исидорович тотчас даст Горенскому займы и во второй раз, и даже даст охотно, однако не так охотно, как в первый раз, — это оскорбляло Мусю за князя. К отцу Муся не обратилась, но настойчиво потребовала у Фомина места в коллегии для Горенского. В глубине души, она сама находила, что ему лучше было бы не служить и в Коллегии по охране памятников искусства.

— Надо же, наконец, нам что-нибудь для него сделать, Платон Михайлович!

— Милая, да я и так делаю все, что могу, — сказал Фомин, задетый этим замечанием: все делал он, а Муся только советовала. — Пусть он представится товарищу Каровой, и дело будет в шляпе, я ручаюсь. Но ведь вы его знаете! Убедите его, милая.

Горенский решительно отказался представиться Каровой. По совету Муси, Фомин как

³⁵ Она единственная (фр.)

бы случайно устроил встречу на нейтральной почве, у себя, во дворце.

Князь очень понравился Ксении Карловне.

— Конечно, как я и думала, махровый контрреволюционер, — снисходительно сказала она позднее Фомину. — Но образованный и умный представитель своего класса. Вы правы: ценная культурная сила должна быть утилизирована в интересах дела.

— Ведь я вам говорил.

— Да... Мы это устроим.

На князя Ксения Карловна не произвела отталкивающего впечатления.

— Кажется, работать с ней можно, — угрюмо сказал он Фомину.

— Она каждый день умывается! Мылом! — ответил Фомин. — C'est d'ailleurs quelque chose...³⁶ А дело, право, интересное и нужное... Вот, вчера мы опоздали, и насмарку пошел дивный фарфоровый сервиз. Его отдали в общежитие для приезжих большевиков. Этот сервиз принадлежал генералу Талыzinу, одному из убийц Павла I.

Через несколько дней после этого Горенский получил место в коллегии, с окладом, который давал ему возможность кое-как жить без чужой помощи. Несмотря на все доводы друзей, князь рассматривал свое поступление на службу как моральное падение. Он и при старом строе служил только по выборам, да еще в гвардии, молодым человеком. Теперь, он понимал, его голодом заставили поступить на службу к большевикам.

Горенскому было в последнее время тяжело жить не только в материальном отношении. Он не занимал никакой должности в 1917 году и не нес прямой ответственности за события. Однако падение Временного правительства, разгон Учредительного Собрания были для князя и личной драмой.

Политические интересы занимали в жизни Горенского очень большое место, быть может, отчасти потому, что для себя он почти ничего желать не мог: у него все было, положение, имя, богатство. Немногочисленные враги Горенского говорили, что высоким общественным положением он обязан именно либеральным взглядам, или, точнее, их сочетанию с именем и богатством. Однако своим взглядам князь Горенский пожертвовал другой карьерой, более медленной, зато и более блестящей, — по крайней мере с внешней стороны. Со взглядами этими он сжился очень прочно. Многие из его единомышленников увидели в событиях 1917 года крушение либеральных идей и теперь от них отрекались. Горенскому пойти на это было трудно: это значило признать бессмысленной всю свою жизнь. Проверая себя, он перечитывал те книги (преимущественно английские), из которых выводил «свое политическое credo», — он любил и часто употреблял это выражение. В книгах ничего не изменилось; их круг мыслей продолжал казаться князю верным. У Дж. Ст. Милля все выходило хорошо. В действительности все было скверно. Нельзя было ругать Милля. Но нельзя было и хвалить действительность. Другие единомышленники Горенского, не отрекаясь от своих основных взглядов, взваливали ответственность за события на отдельных людей. Это было не в его характере, прямом и благородном. Он мог найти в прошлом такие моменты, когда расходился с людьми, стоявшими у власти, мог признать это расхождение решающим и таким образом освободить себя от всякой ответственности. Но Горенский помнил, что в общем действия Временного правительства *тогда* казались ему правильными. Помнил он и о том, что иногда сам обходил Временное правительство не справа, а слева. Правда, об этом он вспоминал неохотно и, несмотря на всю свою, искренность, только про себя.

Наиболее спокойные и терпеливые из его единомышленников относились к событиям хладнокровно. Они признавали, что правительством и обществом были допущены важные ошибки, но тут же говорили: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Они указывали на культурную отсталость России и порою добавляли шутливо: «Помните, у Чехова сказано, „это тебе не Англия!“ Они ссылались на: гибельную роль подстрекателей, на усталость

³⁶ Это уже что-то (*фр.*)

армии, на, то, что народ болен. Все это могло быть верно, Горенский и сам это говорил, но жизнь его выходила бессмысленной и с этими доводами. Терпеливые наблюдатели подчеркивали сходство нового строя со старым и даже старались — особенно вначале — *пристыдить* этим сходством большевиков: «В их новизне старина нам слышится», — говорили они. Горенскому старина в новизне не слышалась. Собственная его судьба мешала ему ее слышать. «Да, верно: и тогда был гнет, но такого гнета никогда не было! — говорил себе он. — Нет, все равно, вплоть до мелочей...» (Прежде главными врагами являлись люди его круга, нынешние враги были *никто*. Это и было мелочью, скорее ощущением, чем доводом. Но ощущения этого князь преодолеть в себе не мог.)

Тогда все было ясно. Вполне ясно было, кто враги и кто друзья. Главной опорой, единомышленником, союзником, Горенский считал русский народ, на который и ссылался беспрестанно в своих речах. В ноябре крестьяне сожгли его дом в деревне, убили управляющего, все в усадьбе разграбили и уничтожили. В отличие от многих либеральных помещиков, князь Горенский не считал себя благодетелем своих крестьян; в молодости, читая Михайловского, он говорил, что прекрасно понимает психологию кающегося дворянина, и даже немного этой психологией гордился. Но все-таки он сделал немало: завел школу, больницу, отдавал мужикам землю в аренду на три рубля с десятины дешевле, чем другие помещики, работал в земстве, всячески отстаивал интересы крестьян при столкновениях с властями. В 1905 году в его имениях не было никаких беспорядков, и это князь с гордостью приписывал своим взглядам и действиям. Теперь все приходилось объяснять тем, что народ болен. Горенский так это и объяснял, но прежней ясности больше не было. Народ не выздоравливал, и о психологии кающегося мужика говорить не приходилось.

Моральная тяжесть, которую испытывал князь Горенский, еще увеличивалась от того, что в себе самом он теперь находил чувства, прежде совершенно ему незнакомые. Так, при новых насилиях и издевательствах большевиков, он ловил себя на мыслях о беспощадных казнях, — между тем он был всегда противником смертной казни и не раз протестовал против нее в Государственной Думе. Иногда Горенский чувствовал, как в нем поднимается антисемитизм, — чувство, которое он раз навсегда себе запретил много лет тому назад, начиная общественную жизнь. Иногда ему казалось, что он теперь ненавидит и презирает весь русский народ. Это было очень тяжело.

Нелегко ему было выносить и резкую перемену в отношении к себе окружающих. Князь Горенский прожил всю жизнь в атмосфере почета и уважения. Большинство людей либерального лагеря очень его почитало и любило; многие даже им гордились, — так рядовые провинциальные декабристы гордились своими столичными Рюриковичами. В консервативных кругах, к которым принадлежала его родня, отдавали должное независимости Горенского, своеобразию избранного им пути. Теперь либералы им не интересовались, консерваторы говорили о нем с ненавистью, в среде своих родных он стал чуть только не посмешищем. Вокруг князя образовалась и политическая, и бытовая пустота. Он сам стал избегать общества и бывал лишь у тех людей, которые, хоть по видимости, относились к нему совершенно так же, как прежде.

Особенно охотно князь Горенский беседовал теперь с Глафирой Генриховной. Она восторженно его слушала, всячески давала понять, что считает его необыкновенным человеком, а иногда прямо так и заявляла, как бы *проговариваясь* в присутствии князя. Мусю вначале забавляла эта манера; она считала ее наивно-провинциальной и называла «action direct»³⁷. Сама Муся совершенно иначе говорила с мужчинами, которым хотела нравиться. Но, к большому и неприятному своему удивлению, Муся скоро стала замечать, что манера ее подруги имеет успех. Глаша, бестактная злюка — Глаша, которую в кружке самые снисходительные люди считали «недурненькой, но не более», а Никонов называл

³⁷ прямое действие (*фр.*)

«желтым мордальоном», явно нравилась князю Горенскому! Он уединялся с ней охотнее, чем с самой Мусей. Из случайных бегло-равнодушных замечаний Глафиры Генриховны выяснилось, что она встречается с князем не только у Кременецких.

XIV

«...У колонны. № 35. Первый план. Из диафрагмы медленно выплывает лицо Лидии. Крупно. На нем написаны страсть и чисто материнская нежность. Она напоминает дивную статуэтку Танагра. Взгляд ее, неподвижно устремленный вдаль, гаснет. Фондю. У колонны. № 36. Лидия во весь рост. Она медленно подносит розу к губам, потом к сердцу. Аппарат приближается на первый план, фиксируя переживания Лидии. На среднем плане в профиль к аппарату скользит тень графа Карла фон-ундцу-Цингроде. Переход. У колонны. № 37. Дикая ненависть вдруг отражается на нежном лице девушки. Роза падает у нее из рук. Аппарат панорамирует навстречу. Как тигрица, Лидия стремительно бросается к графу Карлу.

Н а д п. — Это ты, злодей, тайный виновник его несчастья!»

Перед большим зеркалом Сонечка в двадцатый раз разучивала эту сцену. Березин считал ее центральной в роли Лидии — роль, правда, была второстепенная, — и от ее пробного выполнения зависело то, можно ли будет пригласить Сонечку. Сонечка замирала от счастья при мысли, что будет играть в фильме. Самое разучивание сцены, по указаниям и под руководством Березина, доставляло ей наслаждение, равного которому она никогда не испытывала в жизни.

Сонечку в последнее время мучили вопросы, которых она не называла «проклятыми», потому что взрослые, в особенности Муся, часто с подчеркнутой насмешкой говорили о «проклятых вопросах», и Сонечка понимала, что это очень устарелые, книжные, смешные слова. Главный вопрос, мучивший Сонечку, заключался в том, в кого именно она влюблена. Разумеется, она не была влюблена ни в Никонова, ни в Фомина, — о Беневоленском не стоило и говорить. Сонечка прекрасно знала, что любовь слепа, и все же очень ясно чувствовала, в кого можно влюбляться и в кого нельзя. Так, явно отпадал Клервилль. Он был красавец, и при других условиях в него очень можно было бы влюбиться. — Сонечка и то иногда на него заглядывалась. Но Клервилль был женихом Муси, — в него влюбляться не годилось. Иногда у Сонечки мелькало и такое демоническое настроение: «отбить любимого человека у лучшей своей подруги!..» Однако она чувствовала, что это совершенно не серьезно: Сонечка боготворила Мусю и ни за что не сделала бы ей никакой неприятности («не то что это!»). Сонечке нравился «как человек» и Горенский, нравился ей и его титул, как-то во всем придававший ему достоинств. Но опять-таки в него влюбляться не имело смысла. Незачем было влюбляться и в Витю (Сонечка и это чуть было попробовала) — «потому же, почему и в князя, но как раз наоборот», — говорила себе она: это объяснение другим могло быть непонятно; Сонечка же отлично знала, что хочет сказать. Все это в мысли, собственно, и не выливалось, но чувствовалось само собой.

Витя, вдобавок, был влюблен в Мусю. Сонечке об этом в шутилом тоне сообщила сама Муся, тут же взяв с нее честное слово, что она никогда никому ничего не скажет, — «я только вам проговорила, больше никто решительно не знает». Сонечка свято хранила секрет дня три, пока это не стало ей совершенно не под силу, затем рассказала Глафире Генриховне. Рассказав, она ужаснулась своей низости и потребовала от Глаши клятвы в святом хранении секрета.

— Витя способен застрелиться, если об этом будут знать и шутить! — говорила Сонечка, сама себя пугая и округляя глаза. — Глаша, милая, поклянитесь... Поклянитесь своей жизнью! — Сонечка хотела было сказать: «поклянитесь моей жизнью», как требовала установленная у них в кружке формула, но почему-то подумала, что клятва ее, Сонечкиной, жизнью едва ли остановит Глафиру Генриховну.

— Отстаньте, Сонечка, — с досадой сказала Глаша. — С чего Витя будет стреляться!

Все мальчишки в кого-нибудь влюблены и он, естественно, тоже. Да еще и правда ли?

— Разумеется, правда! Как Бог свят!.. Мне сама Муся сказала.

— Вот то-то и оно, что сама Муся... Я ничего не хочу сказать дурного, но Муся думает, будто в нее все влюблены. И великие князья ее на Невском заметили... Кажется, и Вильгельм ее где-то преследовал на курорте, лет восемь тому назад.

— Что вы выдумываете, Глаша? — обиженно сказала Сонечка. — Никогда Муся ничего такого не рассказывает, а восемь лет тому назад она под столом бегала.

— Не очень под столом.

— Ну да, под столом. Ей двадцать два года, значит тогда было четырнадцать.

— Скажем, что ей все двадцать четыре, значит было шестнадцать.

— Да нет же, ей двадцать два!

Глафира Генриховна улыбалась снисходительной улыбкой, означавшей: «Какая вы легковверная, Сонечка...» Она, впрочем, обещала молчать. Витя был «клоп», и его любовь была совершенно не нужна Глаше; но все же ей было неприятно, что закрепляется версия о новой победе Муси.

Разговор с Глафирой Генриховной расстроил Сонечку. Вечером она долго плакала: думала и о Березине, и о близящемся Мусином отъезде, и о том, есть ли у нее талант, и о том, что ей в жизни делать. Сонечка вообще мрачным характером не отличалась и плакала редко, всего раза два-три в месяц, — и это несмотря на печальную зиму почти без всяких развлечений, на постоянное ворчание старшей сестры Анны Сергеевны, быстро старящейся классной дамы, несмотря на увеличивающуюся в доме бедность: ни одного платья сшить не удалось, — только два старых переделали, да и то домашними силами, плохо, так что даже иные мужчины, как Фомин, и уж, конечно, все дамы, немедленно признавали в них старые. Утешением было то, что Сонечка, несмотря на все невзгоды, очень похорошела в последнее время и была необыкновенно мила. Мужчины не сводили с нее глаз, — она это видела, да ей это говорила и Муся.

— Я что, старая гвардия, — полушутливо, но и с грустью сказала ей как-то Муся в ответ на комплимент. — Теперь ваше время, Сонечка...

— Мусенька, вы вне конкурса! — восторженно ответила Сонечка. — Я никого красивее вас не видала.

Глафира Генриховна пренебрежительно улыбалась. Она не завидовала Сонечке: та была другого поколения, несмотря на малую разницу в годах.

Почему-то в эту ночь Сонечка окончательно убедилась, что влюблена в Березина. В постели она долго ворочалась, поправляла и перекладывала подушку, а наутро не без гордости утверждала, что «не сомкнула глаз всю ночь», на что Анна Сергеевна, впрочем, возражала; «Ну, и врешь, мать моя, в двенадцать как убитая спала, пушкой было не разбудить...»

К весне Сонечка была влюблена искренно и страстно. Шутки друзей тотчас это закрепили. Березин, признанный покоритель сердец, был польщен и стал уделять Сонечке немало внимания.

— Свежая, милая девочка, с душой и, кажется, не без таланта. — говорил он Мусе. — Дара сценической речи у нее нет, я пробовал, и голосок слабый-слабый. Но для Великого Немого есть большие задатки. Она чуть-чуть напоминает мне Веру Холодную... Разумеется, как распускающийся нежный бутон может напоминать пышную розу.

Березин в последнее время очень увлекался Великим Немым. Незадолго до октябрьской революции он подписал контракт с частным обществом, которое готово было дать до двухсот тысяч на постановку истинно-художественных фильм (тогда еще говорили *фильма*). Однако дело шло не гладко. Финансовый директор общества признавал чрезвычайно интересной теорию сцены, как кристалла-тетраэдра, но мрачно говорил, что наша публика еще до этой теории не доросла. Переубедить финансового директора было

нелегко. Он очень ценил искусство, однако и себе знал цену: у него уже два раза в жизни дело подходило к миллиону. Вдобавок финансовый директор был туговат на ухо.

— Вы говорите, милый, что надо идти на уступки вкусам толпы, — кричал Березин (убедительные интонации его превосходного голоса несколько теряли от крика). — Я это допускаю! Больше того, я на это иду!..

— Зачем вы так кричите?.. Вы на это что?

— Я на это иду, иду на это!.. Но ведь надо же и публику поднимать до нашего уровня, поймите вы это, милый, ради самого Господа Бога!

— Почему вы думаете, что я не понимаю? Я прекрасно понимаю!

— Поймите же, что это все-таки Некрасов!.. Поднимется ли у вас рука на Некрасова?

— Понятное дело Некрасов, разве я не знаю? — отвечал директор, но в тоне его, и обиженном, и властном, чувствовалось, что у него рука поднимется и на Некрасова. — Верьте мне, Сергей Сергеевич, это я вам говорю, от одной лишней роли с Некрасовым ничего не сделается, Что?.. А я куда Зарину дену, если они с ней заключили этот проклятый контракт!.. И потом вы же и сами все насочиняли.

— Господи! Но ведь я же развивал некрасовскую тему в полном соответствии с его духом, я развивал ее художественно! А эта ваша женщина в маске, извините меня, ни к селу, ни к городу!

Финансовый директор печально, но твердо стоял на своем и не утверждал написанного Березиным сценария «Еду ли ночью по улице темной». Временно общество занималось фильмом старого типа, тем самым, в котором должна была играть Сонечка. Это Березина не удовлетворяло.

— Нет, милая девочка, еще, видно, не доросли мы до настоящего художественного кино, — жаловался он Сонечке. — Трудно иметь дело с этими господами.

— Сергей Сергеевич, у вас все выйдет изумительно! Все!

— Посмотрим, посмотрим... А вот *они* хотят поставить фильмы на высоту, не останавливаясь ни перед какими затратами. При некоторых условиях это может быть интересно, — вскользь заметил Березин. — Разумеется, на началах аполитичности. Их дело создать материальную базу и предоставить художнику свободу. Я так им и сказал, и они на это идут, — добавил он и спохватился, заметив ужас на лице Сонечки. — Разумеется, без этого о моем участии не может быть и речи. Независимость художника мне всего дороже. И так на меня милые собраты собак вешают!

В артистических кругах действительно недолюбливали Березина. В последнее же время актеры, разделявшие общую ненависть к большевикам, отзывались о нем очень резко. «Карьерист-перевертень, — да и таланта на грош!» — говорил старый знаменитый артист.

Другие члены кружка тоже интересовались кинематографом, главным образом благодаря Березину. Беневоленский, оставшийся без заработка, был им привлечен к делу составления сценариев. К общему удивлению, автор непонятных стихов «Голубого фарфора» обнаружил в новом деле немалое дарование, быстро усвоил технику и составлял сценарии так, что сам финансовый директор чрезвычайно его хвалил и даже мягко ставил его работу в пример Березину. Беневоленский и написал, под руководством Березина, тот фильм, в котором Сонечка должна была играть роль Лидии. Муся, чрезвычайно чуткая к новым веяниям, одна из первых в Петербурге поняла, что больше не следует презирать кинематограф и называть его «пошлятиной», «позором нашего времени», — так же, как она в свое время одна из первых поняла, что надо перестать восторгаться «Миром Искусства» или (еще раньше) сборниками «Знания». Муся и прежде охотно ходила в кинематограф. Теперь она говорила об этом с несколько вызывающим видом и щеголяла разными техническими выражениями, — как подрастающие школьники щеголяют впервые заученными непристойными словами.

Очень интересовалась кинематографом и Глафира Генриховна. Вид молодых, красивых

людей, имеющих автомобили, обедающих в дорогих ресторанах, приятно ее волновал. После таких фильмов она выходила из кинематографа в настроении приподнятом и бодром, готовая к борьбе (в таком же приблизительно состоянии выходил из кинематографа Витя, повидав необыкновенные приключения необыкновенно энергичных людей, отряды вооруженных всадников, с места в карьер выносящихся из ворот гациенды). Трудная жизнь Глафиры Генриховны была подобна жизни полководца, вечно ведущего войну, от которой зависит все его будущее. Так, в сложных стратегических комбинациях, с постоянной оглядкой на противника, на обстановку, на поле сражения, проходили дни и годы Глаши. Никто ее не жалел. О ней все только и знали, что она злая и любит говорить неприятности. Глафира Генриховна и сама считала себя злой. Иногда она давала себе слово больше никому неприятностей не говорить — разве только изредка Мусе по дружбе. Но выполнить это было выше ее сил: почти все люди, которых она знала, были, по ее мнению, гораздо счастливее, чем она. Менее счастливы были, вероятно, горничные, извозчики, рабочие, но с ними себя сравнивать естественно не приходилось. От удара, нанесенного ей помолвкой Муси, Глафира Генриховна так и не могла оправиться. Муся делала блестящую партию в двадцать два года (про себя Глаша знала настоящий возраст Муси). У нее же был период полного затишья. В пору своих генеральных сражений Глафира Генриховна чувствовала себя, хоть нервнее, зато и много оживленнее. Свершились мировые события, шла великая война, создалось и пало Временное правительство, пришли к власти большевики, а Глафира Генриховна помнила одно и только об этом думала: Муся блестяще выходит замуж, а у нее никого нет. Она ненавидела Мусю тихой ненавистью и делала над собой усилия, чтоб не поссориться: Глафира Генриховна понимала, что ссора для нее гораздо невыгоднее, чем для Муси.

Номера 35 и 36 выходили недурно. Сонечке казалось, что страсть и чисто материнская нежность вполне ей удаются. Но 37-й номер, самый важный, от которого зависела вся сцена, не выходил. Сонечка добросовестно старалась себе представить, как тигрица, с дикой ненавистью, может бросаться на человека, — прыжок все же не удавался. Березин требовал вдобавок, чтоб беззвучные движения губ вполне соответствовали произносимым словам. Сонечка добросовестно исполняла и это. Однако беззвучные движения губ, соответствующие длинной надписи 37-го номера, явно вредили яростному выражению лица, да и дошептать всю фразу до зеркала было совершенно невозможно. «Нет таланта!.. Не возьмут!.. Что ж тогда?» — с ужасом и отчаяньем думала Сонечка. Участвовать в фильме это значило целый день, — да, целый день! — проводить с Сергеем Сергеевичем. — «Вдруг он в меня влюбится и сделает предложение? Говорит же Мусенька, — она ангел, — что он в меня влюблен!.. Нет, пока еще не влюблен, я чувствую, но вдруг? За это можно полжизни отдать!..» — Сонечка честно себя проверила. — «Полжизни? Может, я семьдесят лет прожила бы, значит, до тридцати пяти лет. Шестнадцать лет осталось бы... Ну, разумеется, сейчас готова!.. Да и почему семьдесят? Вот ведь бабушке было восемьдесят два. Тогда сколько?.. И потом детские годы считать нельзя... Если с шестнадцати и до семидесяти, или до семидесяти пяти, да разделить на два, сколько выйдет?..» Сосчитать было нелегко. Однако Сонечка ясно чувствовала, что согласна. «Какая я глупая! Да сколько бы ни было, разумеется, согласна! Хоть на следующий день умереть!.. Другие тоже вчера заметили, когда он на меня там посмотрел сбоку. Но если не возьмут, что тогда? Нет, надо, чтоб взяли, я этого добьюсь!» — в припадке бодрости подумала Сонечка. Она еще раз отошла на край комнаты — для разбега все же было мало места, — перевела дыхание, изготавилась, уронила розу и стремительно бросилась на зеркало, вытянув вперед руки, искривив лицо и яростно шепча: «Это ты, злодей, тайный...»

Дверь открылась. В комнату вошла Анна Сергеевна. Сонечка сконфуженно остановилась.

— Совсем с ума сошла, мать моя, — сокрушенно сказала Анна Сергеевна.

Сонечка хотела было огрызнуться. Но вид у сестры был такой усталый, что Сонечке

стало ее жаль. Она очень любила сестру, знала, что та работает целый день и имеет немало прав ворчать. У нее не было ни Сергея Сергеевича, ни кинематографа, ничего не было.

— Что? В гимназии опять что-нибудь? Неприятности? — кротко и робко спросила Сонечка.

— Трещит наша гимназия, — сказала Анна Сергеевна, села на стул и вдруг заплакала. Сонечка тоже заплакала горькими слезами.

— Ничего, ничего, скоро я начну зарабатывать... Увидишь... Вот увидишь!.. Я тебе говорю!..

— Все трещит, все! — вытирая слезы, говорила Анна Сергеевна.

XV

Аресты в городе все учащались и становились много серьезнее. В начале нового строя арестованных скоро освобождали или предавали суду Революционного Трибунала, который чаще всего приговаривал их к общественному порицанию. Но это длилось недолго. Теперь тюрьмы были переполнены, заключенные содержались в очень дурных условиях, и об их освобождении больше не было слышно.

В числе арестованных в последние дни были знакомые Семена Исидоровича. Ему самому друзья настойчиво советовали не ночевать дома и лучше всего поскорее уехать из Петербурга. Вопрос, куда ехать, теперь решался сам собою. Все стремились на Украину. То, что Украина была захвачена немцами, уже никому не казалось препятствием, — сам Артамонов решительно говорил: «Что ж, батюшка, из двух зол надо выбирать меньшее!» — эта фраза почему-то очень его успокаивала.

Украинская миссия в Петербурге выдавала паспорта неохотно, но для Семена Исидоровича, при его новых связях, дело затруднений не представляло. Ему выдали украинские бумаги немедленно, вне очереди и с особым почетом, даже как бы с торжеством. День отъезда, однако, назначен не был. Тамара Матвеевна переживала мучительную внутреннюю борьбу. Ей очень хотелось увезти мужа подальше от опасностей, грозивших ему в Петербурге; она понимала, что Семену Исидоровичу хочется ехать именно в Киев, где его несомненно ждала видная общественная роль. Однако Тамаре Матвеевне теперь было страшно оставлять Петербург. Кременецкие до войны каждое лето ездили всей семьей за границу, во время войны — в Крым или на Кавказ. Случалось Тамаре Матвеевне, с тех пор, как Семен Исидорович стал богатеть, уезжать и зимою, без мужа, вдвоем с Мусей, на Ривьеру, в Италию, — хотелось отдохнуть, заказать в Париже, в Вене новые туалеты, или просто, как говорил Кременецкий, людей посмотреть и себя показать (семья Меннера также уезжала зимою из Петербурга, но не за границу, а на Иматру, что было сортом пониже). Однако никакого сравнения с прежними путешествиями теперь, разумеется, не могло быть. Тогда все было ясно. Семен Исидорович, любивший порядок и определенность во всем, заранее заказывал билеты в международных вагонах, устанавливал дни отъезда и приезда, выписывал «аккредитив», всегда с излишком в добрую треть против того, что им было нужно, по мнению Тамары Матвеевны. «В дороге могут экстренно понадобится лишние деньги. Или там тряпки какие-нибудь вам полюбятся», — энергично говорил он. Эту энергию, определенность и щедрость Тамара Матвеевна очень любила в Семене Исидоровиче, — они особенно ее умиляли. Ценила их в отце и Муся, называя «мужским началом». У Семена Исидоровича в дороге был всегда довольный, спокойный и уверенный вид, означавший, что все в полном порядке и что никаких неприятностей не бывает и быть не может.

Теперь все было темно. Кременецкие не знали, на сколько времени они едут. Не ясно было даже, зачем они едут. Правда, каждый, кто мог, уезжал, и жизнь в Петербурге становилась все более тяжелой, но это определенности не вносило. Хуже всего было то, что Муся должна была остаться одна в Петербурге. Тамара Матвеевна расставалась с дочерью в первый раз. Это и само по себе было ей очень не легко, а теперь казалось Тамаре Матвеевне

делом чудовищным. Вначале она о разлуке не хотела слышать и решительно доказывала, что, уж если ехать в Киев, то не иначе, как всем вместе.

— Я знаю, Муся упрется как сумасшедшая, но, посуди сам, разве можно в такое время оставлять девочку одну в Петербурге? — с ужасом говорила Тамара Матвеевна мужу. — Где же это видано! Да и я там без нее с ума сойду!

Семен Исидорович не согласился с женой, хоть и сам понимал, как все это тяжело и печально.

— Муся невеста, отрезанный или почти отрезанный ломоть, — твердо сказал он, — и из этого надо сделать выводы. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.

— Какие выводы? Какой гуж? Все уезжают всей семьей или остаются всей семьей. Одни мы! Наконец, пусть и он едет с нами, если так... — *Он* был Клервилль.

Семен Исидорович улыбнулся.

— Как же он может ехать на Украину, где хозяйничают немцы? Ты забываешь, что он человек военный, он английский офицер.

— Ах, оставь, пожалуйста! Я уверена, что при твоих связях можно достать какое-нибудь разрешение. Разве этот Кирилленко не сказал, что для тебя они сделают все, что угодно?

Семен Исидорович только развел руками перед такой политической беспомощностью и верою в его всемогущество.

— Нет, золото, пожалуйста, не спорь: ему ехать в Киев совершенно невозможно, я тебе говорю. В Лондоне и в Берлине не будут считаться с тем, что он Мусин жених. Тогда, значит, расстаться до конца войны? Это, я прямо скажу, это было бы неблагоприятно! Он человек молодой... С глаз долой, из сердца вон, знаешь? Нельзя рисковать расстройством такой блестящей партии, всем счастьем Муси.

Тамара Матвеевна испугалась: это ей не приходило в голову.

— Лучше всего было бы, конечно, если б они теперь же, в два счета, повенчались... Если хочешь, поговори с ней. Но это, конечно, их дело, — сказал Семен Исидорович. На его лице выразилась крайняя деликатность. Тамара Матвеевна только вздохнула. Она склонялась перед мудростью мужа во всех важных вопросах, хоть часто удивлялась тому, как этот умнейший в мире человек не разбирается в некоторых практических делах: «Устроить свадьбу Муси в два счета! Это их дело! Он говорит об этом так легко...» Сама Тамара Матвеевна еще совсем недавно связывала с мыслью о свадьбе Муси представление об обедах, приемах, о подвенечном платье, и т. д. Теперь и она готова была на уступки.

Она больше не говорила мужу, что сойдет с ума, расставшись с Мусей. Однако, когда Семен Исидорович получил украинские бумаги, Тамара Матвеевна в отчаянии сделала безнадежную попытку поговорить с дочерью.

— Я думаю, Мусенька, — начала она, уловив удобную минуту, — я думаю на всякий случай необходимо приготовить эту бумагу и для тебя.

— Какую бумагу, мама? — спросила Муся, сразу насторожившись при ласковом тоне Тамары Матвеевны. В последнее время все дома были раздражены и говорили друг другу неприятности.

— Ну, этот украинский паспорт.

— Украинский паспорт? Нет, это совершенно ненужно.

— Почему, Мусенька, дорогая?

— Потому что я не украинка. Это вы с папой украинцы, а я, слава Богу, родилась в Петербурге.

— Какие пустяки! Пойми же, ведь это одна формальность.

— Зачем же я буду проделывать такую странную формальность? Мне все равно скоро менять русский паспорт на английский, так хоть то по замужеству, и на английский, а не на украинский.

— Хорошо, но если и тебе придется бежать отсюда?

— Ах, вот что?.. Нет, мама, об этом вы и не заикайтесь. Вы отлично знаете, что я не

могу уехать из Петербурга и не уеду.

— Но почему же, Мусенька?

— Потому что Вивиан остается здесь, — Мусе всегда было неловко называть жениха Вивианом в разговоре с матерью, хотя Тамара Матвеевна уже привыкла к этому и иногда сама называла так Клервилля, произнося имя «Вивиан» с особенной беззаботностью, как самое обыкновенное и ей привычное.

— Но тогда, Мусенька... — начала было Тамара Матвеевна и остановилась, увидев раздражение на лице дочери. Муся прекрасно понимала, что хотела сказать Тамара Матвеевна: «но тогда пусть он теперь на тебе женится, перед нашим отъездом».

У Муси с Клервиллем было с самого начала решено, что свадьба их состоится после окончания войны. Муся и сама не совсем понимала, почему ей нельзя было до того выйти замуж. Но так сказал Вивиан, и настаивать было больше, чем неделикатно.

— Вы, мама, обо мне не беспокойтесь, — сказала Муся. — Со мной ничего случиться не может.

— Ну, а если он уедет? — решительно спросила Тамара Матвеевна. — Ведь ихнее посольство уехало еще в феврале.

— Он мне как раз вчера говорил, что останется по всей вероятности до конца войны в Петербурге, — ответила Муся. Это тоже было болезненное место: о своих служебных делах Клервилль очень сдержанно говорил даже с невестой. Муся до сих пор не знала, что он, собственно, делает в России и зачем ездит в Москву.

— Это очень хорошо «по всей вероятности», — переходя в атаку, сказала Тамара Матвеевна. — Но ты должна помнить, он человек военный, он английский офицер, значит, его в любую минуту могут куда-нибудь послать. Например, не дай Бог, во Францию! Ведь в Лондоне не будут считаться с тем, что он твой жених!

— Тогда его дело будет все решить, — сухо ответила Муся, перенося на мать раздражение, которое, в связи с этим вопросом, вызывал в ней Вивиан: «все решить» значило жениться.

— Да, но пойми, что папа не может уехать, оставляя тебя в таком неопределенном положении.

— В каком неопределенном положении? Да что же может со мной случиться? Денег вы мне в тайниках оставляете больше, чем нужно, на год хватит (Тамара Матвеевна так и замерла при этом слове «год», — мысль о том, что она может целый год не видеть Мусю, была нестерпима). Кухарка остается, чего же в самом деле еще? Со мной будет жить Витя, ему теперь и ехать некуда. Вы сами видите, я в надежных руках.

— Кстати, я хотела поговорить с тобой и об этом, — сказала, смущенно глядя на стол, Тамара Матвеевна. — По-моему, не совсем прилично, чтобы Витя оставался с тобой вдвоем на квартире, если мы уедем. Ведь он все-таки уже не ребенок.

Муся весело расхохоталась.

— Неужели не совсем прилично?

— Представь себе! И не я одна, а папа тоже так думает!

— Что ж, выгоните его на улицу, если он такой развратник и компрометирующий мужчина, — заливаясь смехом, сказала Муся. — Но ведь тогда я останусь совсем одна... Что же вы выиграете, мама?

Муся на этот раз не проникла в мысли матери. Тамара Матвеевна, разумеется, нисколько не желала выгонять Витю. Напротив, она была искренно рада тому, что хоть он останется с Мусей. Под хитро выдуманным предлогом Тамара Матвеевна хотела добиться другого.

— Знаете что, поселите с нами для приличия кого-нибудь еще, — сказала Муся, перестав смеяться. — Хотите, я приглашу Сонечку? Она будет страшно рада и ее сестра тоже: Анне Сергеевне как раз предлагают бесплатную комнату при ее гимназии. Хотите, мама, я возьму Сонечку? Тогда у меня будет совсем детский сад.

Она опять залилась смехом.

— Это, между прочим, совсем не плохая мысль, — поспешно сказала Тамара Матвеевна, — тебе с Сонечкой будет веселее, и я сама буду просить Анну Сергеевну... Но одной Сонечки мало, надо кого-нибудь посолиднее. Что ты скажешь о старике Майкевиче?

Муся вытаращила глаза.

— Помилуйте, мама! Вы, конечно, шутите? — с ужасом сказала она. — Зачем я возьму к себе этого старого идиота?

— Муся, как тебе не стыдно! Он прекрасный, честнейший человек. Папа говорит, что Майкевич наш самый старый друг. Его еще покойный дедушка знал и любил!..

— Мама, это очень хорошо, что его покойный дедушка знал и любил, я это очень ценю. Но согласитесь, это не резон, чтоб перевозить сюда старого, больного человека, за которым мне же пришлось бы целый день ходить. Нет, вы шутите...

— Ну, если ты против Майкевича, тогда надо пригласить Глафиру Генриховну, — сказала Тамара Матвеевна, открывая, наконец, свои карты. Майкевич был выдуман для того, чтобы Муся легче проглотила Глашу. Тамара Матвеевна знала, что Муся Глашу не любит, и поэтому сама не слишком ее любила. Но она очень верила в деловитость и практические способности Глафиры Генриховны: на нее можно было положиться в случае каких-либо осложнений. То, что Муся оставалась в Петербурге, было безумием, — в отчаянии Тамара Матвеевна хотела по крайней мере окружить дочь надежными людьми, постарше Вити.

«Вот оно что», — сказала себе Муся. Ей показалось было, что Тамара Матвеевна хочет поселить с ними Клервилля. На это Муся не согласилась бы ни за что: жизнь рядом с Клервиллем до замужества была бы ненужной и неприятной переходной ступенью к *настоящему* и могла бы настоящее испортить. Но мысль о Клервилле не приходила в голову Тамаре Матвеевне: по ее понятиям, совпавшим внешним образом с настроениями Муси, совершенно не годилось жениху жить на одной квартире с невестой.

— Глашу? — переспросила Муся. Ей сразу представились приятные и неприятные стороны предложения. По этому вопросу Тамара Матвеевна с радостью почувствовала, что ее дело выиграно: она готовилась к энергичному отпору Муси.

— Да, Глашу. Или Майкевича, или Глашу, выбирай, — твердо сказала Тамара Матвеевна, закрепляя завоеванную позицию. — Поверь, она в гостях у тебя, на всем готовом, будет очень милая. А что она интересная и интеллигентная, это ты знаешь... Она может спать в нашей комнате, — со вздохом добавила Тамара Матвеевна. — А Сонечка в будуаре. Или лучше Витю переведем в будуар, а Сонечку в его комнату.

При всем гостеприимстве Тамары Матвеевны, ей не очень хотелось, чтобы чужие люди жили в ее спальне и в будуаре, нарушая порядок гнезда. Но делать было нечего.

— Что ж, я ничего против этого не имею, — подумав, сказала Муся. — Глаша так Глаша. Да еще согласится ли она?

— Она согласна, — проговорила Тамара Матвеевна. — Ты ведь знаешь, она плохо живет с отцом, и он, кажется, получает финляндские бумаги и уезжает в Финляндию, а она ни за что не хочет... То есть, мы конечно, не улавливались с ней окончательно без тебя, но так, в общей форме, она согласна.

— Ах, в общей форме она согласна? — тотчас раздраженно сказала Муся. — И отлично... Но зачем же ставить и выносить кровати из комнат? Пусть она спит у папы в кабинете на диване.

— Что ты, Муся? Как у папы в кабинете! — испуганно возразила Тамара Матвеевна. На кабинет Семена Исидоровича нельзя было посягать ни при каких обстоятельствах и ни при каком строе.

— Ну, ладно... Делайте, как знаете, — ответила Муся, устало зевая, как почти всегда после длинного разговора с матерью.

Несколькими днями позднее был арестован один из адвокатов, довольно близко связанных с Семеном Исидоровичем. Выяснилось, что арестовавшие его люди в кожаных

куртках, допрашивая прислугу, интересовались разными знакомствами адвоката. Между тем в телефонной книжке арестованного несомненно должен был значиться телефон Кременецкого. Тамара Матвеевна очень встревожилась и своей тревогой заразила Семена Исидоровича, хоть ему и дикой казалась мысль о том, что найденный в книжке телефонный номер может быть какой бы то ни было уликой или поводом для ареста. Друзья настойчиво советовали Кременецким бежать из Петербурга возможно скорее. Семен Исидорович наконец принял решение об отъезде и велел ускорить приготовления, которые до того делались медленно. Этим тотчас занялся весь дом. Сам Семен Исидорович, несмотря на протесты и мольбы Тамары Матвеевны, принимал участие в приготовлениях и даже помог Вите и горничной снести с чердака вниз тяжелый чемодан жены. Делал он это с видом очень простым, скромным и кротким, — такой вид мог быть у императора Карла V, когда он, в Страстной Четверг, стоя на коленях, мыл из золотого кувшина ноги двенадцати нищим старцам.

— Оставь, пожалуйста, я тебя умоляю! Мы все сделаем без тебя! — взволнованно кричала Тамара Матвеевна. — Ты, кажется, забываешь, что у тебя почки!..

XVI

Послышался звонок. Витя оторвался от чемодана и пошел открывать дверь.

В переднюю вошла высокая нарядная дама. Витя поклонился. Дама окинула его взглядом, — кто-либо из семьи или прислуга? — и, решив, что кто-либо из семьи, приятно улыбнулась.

— Семен Сидорович дома?

— Нет, его нет.

— Ах, какая досада! — сказала дама. Она еще раз взглянула на Витю. — Может, он скоро придет? Я, пожалуй, подожду?

— Тогда будьте любезны, пройдите сюда, — вежливо сказал Витя и проводил гостью в кабинет, где на диване лежали папки с бумагами, портфели, книги, а на ковре перед диваном был раскрыт чемодан. Витя, по просьбе Кременецкого, укладывал те вещи, которые Семен Исидорович хотел взять с собой в Киев.

— Когда уезжает Семен Сидорович?

— Кажется, завтра, — ответил Витя, решив, что можно сказать правду, если гостя все равно знает о предстоящем отъезде Кременецких: из предосторожности отъезд решено было держать в секрете. Но эта нарядная светская дама, конечно, не могла иметь отношения к большевикам.

— Ах, какая досада! — повторила дама. — Может быть, Тамара Матвеевна дома? Нельзя ли мне повидать ее?

— Ее тоже нет... Никого нет.

— Господи, как же мне быть? А когда они вернутся?

— Вероятно, не скоро. Перед отъездом разные дела в городе, — ответил Витя и подумал, что надо было это сказать еще в передней, а не просить даму в кабинет. — Не зайдете ли вы сегодня вечером?

— Нет, нет, я никак не могу, никак, — ответила дама и даже руками замахала, точно Витя умолял ее прийти. Она неожиданно села в кресло.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал Витя и смутился под внимательным взглядом дамы.

— А вы кто, молодой человек? — спросила дама. — Извините меня, но, может быть, я через вас могу передать? Я вас у них не встречала... Вы из их семьи?

— Нет, но я теперь живу у Семена Исидоровича. Я с удовольствием передам.

— Ах, ради Бога, передайте, я вам так благодарна, — сказала дама с силой, тоже несколько преувеличенной по значению ее слов. — Видите ли, в чем дело... Я Елена Федоровна Фишер, — сказала она, понижая голос и чуть опуская глаза, совершенно так, как после смерти мужа называла себя Семену Исидоровичу. — Вы верно обо мне слышали?

— Да, разумеется, — сказал Витя и окончательно смутился: «Не надо было говорить „разумеется“, выходит намек на то дело... Так вот она какая»...

— Вот в чем дело. Позавчера уехал в Киев мой добрый знакомый Аркадий Николаевич Нещеретов... Вы запомните эту фамилию?

— Да, как же, я встречал здесь Аркадия Николаевича, — сказал Витя. Он слышал о связи госпожи Фишер с Нещеретовым. — Я не знал только, что он уехал.

— Да, позавчера уехал и, представьте, как-то очень экстренно, неожиданно. Я даже боюсь, уж не случилось ли что-нибудь? Мы были хороши с Аркадием Николаевичем, — стыдливым тоном сказала госпожа Фишер, искоса быстро взглянув на Витю, — и я никак не могла подумать, что он уедет, не простившись со мной. Но, очевидно, он не успел, говорят, ему угрожал арест. Хотя я не понимаю, почему он... Одним словом, он уехал. Между тем мне совершенно необходимо с ним снестись. Какое теперь сообщение с Киевом, вы знаете. Только и есть, что оказии, и вот я так обрадовалась, услышав вчера, что Семен Сидорович едет в Киев. Ради Бога, упросите его взять с собой это... — Она вынула из сумки письмо. — Я надеюсь, Семен Сидорович согласится оказать мне эту услугу?

— Передать письмо? Семен Исидорович, наверное, охотно это сделает, он много писем везет... Адрес на конверте?

— Нет, в том-то и дело. Я понятия не имею об адресе Аркадия Николаевича, знаю только, что он уехал в Киев. Но я уверена, что разыскать его там будет очень легко, ведь его все знают... Решительно все!

— Да, конечно... По крайней мере, я думаю.

— Но только одно, это очень спешно... Очень! Я умоляю Семена Сидоровича, как мне ни совестно, разыскать Аркадия Николаевича возможно раньше. Это так спешно и так для меня важно!

— Я передам.

— Ради Бога, передайте!.. Вы тоже едете с ними в Киев?

— Нет, я остаюсь здесь.

— Ах, вы остаетесь здесь, — с видимым интересом сказала госпожа Фишер. — Простите меня, как ваше имя?

— Яценко.

На лице Елены Федоровны выразилось удивление.

— Яценко? Вы не сын ли бывшего следователя?

— Да...

— Вот как? То-то ваше лицо показалось мне знакомым: вы очень похожи на вашего батюшку... Я встречалась с вашим отцом, — сказала она неодобрительно. — Правда, в такой обстановке... По тому делу, вы верно слышали, хотя вы и очень молоды... Мне говорили, что ваш батюшка арестован? — спросила госпожа Фишер, не очень искусно стараясь выразить в тоне вопроса огорчение и участие.

— Да.

— Он тогда меня допрашивал. Ну, я не сомневаюсь, что его скоро выпустят... Так вы, должно быть, поэтому и живете у Семена Сидоровича? Да, я помню, они приятели с вашим отцом. Очень рада с вами познакомиться, молодой человек. — Она протянула Вите руку. — Вы и после их отъезда будете жить на этой квартире?

— По всей вероятности, — ответил почему-то Витя, хотя он должен был жить у Кременецких не по всей вероятности, а наверное.

— Один? Совсем один?

— Нет, дочь Семена Исидоровича тоже остается в Петербурге. И здесь будут жить еще две ее подруги, — добавил неохотно Витя: слово «подруги» показалось ему глупым.

— Вот как? Значит, вы будете жить в женском царстве, — вдруг игривым тоном сказала Елена Федоровна. — Я знаю, она очень хорошенькая, дочь Семена Сидоровича. Муся, кажется, ее зовут?.. Вам сколько лет, молодой человек?

— Девятнадцатый год.

— Господи, какой вы старый!

«Кажется, авансы мне делает, но что-то уж очень провинциальный тон, — подумал Витя. — Что бы такое ей ответить?»

— Но ведь у меня и к вам будет громадная просьба, — продолжала Елена Федоровна. — Очень вас прошу, как только Семен Сидорович уедет, зайдите ко мне и подтвердите, что он согласился взять мое письмо... Ради Бога! Это для моего успокоения! — сказала она таким тоном, точно ее успокоение не могло не быть важным и для Вити.

«Собственно, и по телефону бы можно», — подумал Витя. Но внимание Елены Федоровны ему льстило, и он тотчас, не без удовольствия, согласился. Госпожа Фишер не слишком ему нравилась. Он знал однако, что она считается очень красивой женщиной. Недаром сам Нещеретов остановил на ней свой выбор.

Елена Федоровна горячо его поблагодарила. Она взяла из сумки изящный золотой карандаш и записала свой адрес. В передней опять прозвучал звонок.

— Может быть, это Семен Сидорович?

— Нет, у него ключ, — ответил, выходя в переднюю, Витя. Он по звонку узнал Мусю. Тамара Матвеевна не раз предлагала Мусе тоже носить с собой ключ от квартиры: «Все-таки совестно, теперь Витя всегда выбегает на звонок», — говорила она. — «Вот еще, мне нисколько не совестно, пусть побегает», — отвечала Муся.

Елена Федоровна спрятала карандаш и встала с приятной улыбкой. Муся, в каракулевом жакете и в бархатной, отделанной каракулем, шляпке, вошла в комнату. Она довольно холодно поздоровалась с Еленой Федоровной.

— Очень рада вас видеть, — еще приятнее улыбаясь, сказала госпожа Фишер. — Зашла по делу к вашему батюшке. Но я уже объяснила этому милому молодому человеку... Я хотела просить Семена Сидоровича взять с собой в Киев письмо... Для Аркадия Николаевича Нещеретова, — значительным тоном сказала она. — Он позавчера уехал в Киев.

— Отец, разумеется, охотно передаст ваше письмо, — сухо сказала Муся. Витя взглянул на нее с удивлением. Муся никогда, даже в разговоре с чужими людьми, не называла Семена Исидоровича «отцом».

Елена Федоровна заговорила о том, как теперь все сложно, неприятно и трудно; однако, не встретив со стороны Муси желания продолжать разговор, простилась. Витя проводил ее в переднюю. Муся в переднюю не вышла, но постояла на пороге кабинета.

— Будьте совершенно спокойны, ваше письмо будет тотчас передано Аркадию Николаевичу. Его, наверное, легко найти, — уже любезнее сказала она. «Еще, чего доброго, подумает, что к ее ревную к Нещеретову!» — подумала Муся. В глазах Елены Федоровны, когда она разговаривала с Мусей, в самом деле скользило некоторое торжество.

— Так вы, «милый молодой человек», принимаете дам в мое отсутствие? — погрозив Вите пальцем, спросила Муся, когда дверь захлопнулась и Елена Федоровна уже должна была отойти на достаточное расстояние.

— Так точно, надо же как-нибудь утешаться, — сгоряча ответил Витя и тотчас сам испугался своего игривого тона. «Пошляк! И об отце забыл...»

Мысль о том, что он ничего не делает для спасения отца, угнетала Витю. Вначале у него рождались самые фантастические планы освобождения Николая Петровича. Но слишком ясно было, что этих планов осуществить нельзя. Все говорили Вите, что его отца, наверное, скоро освободят, что надо ждать и только.

— Погодите, я вас теперь вышkolю, — сказала Муся. — Пока что извольте укладывать вещи.

Муся взглянула на чемодан, нервно зевнула, вышла в будуар и там, не снимая каракулевого жакета, села в кресло. В будуаре тоже был беспорядок. Даже портрет Генриха Гейне в золотой рамке венком висел на стене криво. Муся с гримасой смотрела на вещи, разбросанные на диванах, креслах, пуфах. «Ах, как мне все это надоело!» — опять зевая, подумала она. Ей опротивели беспорядок, отсутствие удобств, грубость жизни в Петербурге.

Внезапно Мусе вспомнилась их поездка в Италию незадолго до войны, роскошная гостиница на Лидо, где они провели несколько недель: красивые бронзовые тела, раскинувшиеся на берегу моря, богатые, превосходно одетые люди, среди которых они немного стирались, несмотря на то, что Семен Исидорович сыпал деньгами, бесконечное количество почтительной, чистой, нарядной прислуги, бесшумно и быстро переносившей чемоданы, укладывавшей вещи, исполнявшей точно приказания, великолепные поезда, отходившие и приходявшие минута в минуту по расписанию. Единственной заботой тогда было, как лучше поразвлечься, а главным огорчением то, что не удалось достать места на первый спектакль Карузо и пришлось взять билеты на второй. «Может, так жить было и несправедливо, но очень хорошо было, — подумала Муся, — и я за грехи мира не отвечаю. Дай Бог с Вивианом так прожить до конца в грешном мире... А теперь все скучно, грязно, бестолково...»

— Витя, — позвала она, — бросьте же, наконец, ваши глупые чемоданы. Идите сюда, поболтаем... Но сначала повесьте мой жакет в передней. Живо!

XVII

Конспиративная квартира, в которой Федосьев проводил несколько часов днем, а иногда и ночевал, находилась на Петербургской стороне. В распоряжении его организации было несколько квартир, но в эту он верил немного больше, чем в другие: на ней из участников его организации перебивалось только два-три человека, как будто самых надежных, — им он вынужден был там назначать свиданья. Федосьев рассчитывал, что один предатель должен приходить в среднем человек на десять, — впрочем, он не скрывал от себя всей произвольности такого расчета. В ту пору, когда он руководил политической полицией государства, процент изменников в лагере врагов был много ниже. Но Федосьев учитывал и то, что неопределенно-шутливо называл «общим падением нравов», и неограниченные средства Чрезвычайной Комиссии. Его учреждению в свое время отпускалось гораздо меньше денег, чем он требовал (в глубине души он это считал теперь одной из главных причин гибели старого строя). В расходах приходилось соблюдать экономию, и громадному большинству тайных агентов платили очень немного. Федосьев сам иногда удивлялся, как дешево, целиком, без остатка, покупалась человеческая совесть.

Квартира на Петербургской стороне имела два выхода. Двор был проходной. Тяжелая, хорошо закрывавшаяся дверь могла выдержать несколько минут осады: за это время, при некоторой удаче, можно было и скрыться. «Во всяком случае застрелиться можно с удобствами, не торопясь», — думал Федосьев. Браунинг, всегда и прежде при нем, находившийся, теперь оказывался предметом первой необходимости, и носил его Федосьев не в том заднем кармане брюк, который предназначается портными для револьвера и из которого выхватить револьвер невозможно, а в боковом кармане пиджака или пальто. Ложась спать, он даже переводил на «fire»³⁸ предохранитель браунинга: обыски и аресты обыкновенно производились ночью или поздно вечером.

Федосьев принимал все меры предосторожности, хорошо ему знакомые по практике старых террористов. Но он в эти меры почти не верил, как, впрочем, не верил и в технику Чрезвычайной Комиссии. «Способные, кажется, люди, но пока все очень слабо», — говорил он, с усмешкой, своим сотрудникам. Зато главная опасность — предательство — представлялась ему неотвратимой. Всякий раз, принимая в свою организацию нового человека, Федосьев вглядывался в него с особым любопытством: «Этот ли?» Тех людей, которые с большой горячностью говорили о своей готовности погибнуть за великое дело, он считал особенно подозрительными и им никогда никаких адресов не давал. Сам же он, несмотря на все меры предосторожности, вынужден был рисковать беспрестанно и считал бы себя человеком обреченным, если б не слабая надежда на близкую развязку. Федосьев

³⁸ «огонь» (англ.)

был совершенно уверен, что немцы могут задушить большевиков в несколько дней, почти без всяких усилий. Но он очень сомневался, пожелают ли немцы это сделать.

Весь этот день Федосьев провел один, отбивая на машинке длинную записку, в которой именно и доказывал, насколько выгодно, легко и просто германским властям раздавить большевиков в несколько дней. Федосьев с трудом писал на машинке; гораздо легче было бы написать бумагу пером. Но ему не хотелось, чтобы где-либо сохранился такой документ, написанный его рукою, хотя он считал свой образ действий совершенно правильным и единственно возможным. Перечитывая законченную к вечеру бумагу, он поэтому оставил ошибки без правки. В одном месте записки, чтобы увеличить силу довода, необходимо было добавить несколько слов. Федосьев ввел бумагу под валик и, неумело примериваясь, отстучал на машинке между строчками эти слова, — они некрасиво загнулись, перекрестив верхнюю строчку; первые буквы шли в два этажа. Да и вся бумага, с многочисленными ошибками в буквах, придававшими ей глупый вид, с неотчетливыми порою строчками (он забывал переключать вовремя ленту), с неожиданно появлявшимися кое-где красными черточками, резала глаз Федосьева, привыкший к безупречно написанным документам. «Ничего, сойдет, — подумал он, — лишь бы только прочли внимательно теперь, пока он тут... Жаль, что написано не по-немецки. Да нет времени на перевод».

Шел шестой час. Федосьев сложил бумагу, спрятал ее в карман, затем повернул стоявшую у окна высокую этажерку, на которой лежал, чуть наискось, небольшой кожаный чемодан, набитый ненужными бумагами. Это тоже было мерой предосторожности. Федосьев рассчитывал, что, если люди из Чрезвычайной Комиссии в его отсутствие проникнут в квартиру, они первым делом накинутся на чемодан с бумагами и либо вовсе не догадаются поставить его обратно, либо поставят не совсем так, как он стоял прежде: опытных сыщиков среди них было еще немного. Этажерку с чемоданом в не очень темный день можно было увидеть со двора. Мера предосторожности была весьма ненадежна, но ей пренебрегать не следовало; сходными мерами пользовались, иногда с успехом, прежние революционеры. «А смешно, какой, на старости лет, Майн Рид пошел», — подумал Федосьев, внимательно оглядывая комнату. Все было в порядке.

Он надел пальто, расправил шарф, не застегиваясь (погода стояла теплая), положил револьвер в карман и послушал у дверей: на площадке лестницы как будто ничего подозрительного не было. Федосьев, не спеша, спустился по лестнице.

Улицы были еще оживлены, жалким и страшным оживлением 1918 года. У лотков старые, очень непохожие на разносчиков, люди торговали какими-то лепешками, сахаром, «домашним шоколадом». На заваленных коробками и чемоданами дрожжах, испуганно оглядываясь по сторонам, ехали господин с дамой. Прохожие с завистью смотрели на уезжающих. «А то не уехать ли и мне? Выбраться можно, — подумал Федосьев. — Бросить все к черту? Пусть он это и распутывает... Буду по крайней мере цел... В Киев поехать? Еще место там предложили бы?... Ох, гадко, после того, как служил великой империи... Откуда у них, однако, столько мотоциклеток? Глупо и неудобно... Неужели узнал? Не мог узнать...» — У фонаря, покрашенного синей краской, мотоциклетка вдруг стала замедлять ход, «На меня смотришь? Ну, смотри, смотри... Перевести на „fire“?... Не остановился», — с облегчением подумал он, провожая взглядом сыщиков. — «Нет, меня выследить еще никак не могли. Адрес знает только Браун, он не предаст... Лишь бы он не сошел совсем с ума. А то чуть ли он не заговаривается иногда в последнее время. И глаза очень странные: смотрит и не видит...»

Где-то вдали грянул выстрел, за ним другой, третий. Люди на улице заахали. Одни шарахнулись в сторону, другие ускорили шаги. Старуха, торговавшая котлетами, перекрестилась. Со стороны Невского показался конный патруль. Желтолицые косоглазые люди на худых лошаденках проехали в ту сторону, откуда слышались выстрелы. «Китайцы! Китайцы!» — слышались изумленные возгласы.

Федосьев вышел на Невский, затем свернул на Морскую. Там было гораздо спокойнее. Улицы были ярко освещены. На каждом шагу стояли милиционеры, крупные, строгие,

хорошо одетые люди. «Это из моих голубчиков, — подумал Федосьев, с любопытством вглядываясь в полицейских. — Тут к хозяевам ближе, да что-то уж очень все-таки подтянуты. Как в былые времена, перед проездом государя... Или ждут кого-то? Кого же это?». Он остановился у фонаря и посмотрел на часы. — Четверть седьмого... Приду раньше, чем нужно. Ну, погуляю у дворца, посмотрю, как они живут...»

Нахмуренный милиционер вдруг вздрогнул и вытянулся. Вдали у Синего Моста сверкнул фонарь и стал приближаться, наливаясь светом. Прохожий остановился рядом с Федосьевым, полуоткрыв рот. Мимо них, очень громко трубя, проехал огромный, великолепный открытый автомобиль. Промелькнуло надменное лицо. Моложавый человек в серой, непривычной русскому глазу, шинели, в перчатках, со стэкком в руке, окинул недовольным взглядом людей у фонаря. Автомобиль, не переставая трубить и все ускоряя ход, направился к Невскому.

— Граф Мирбах! — сказал взволнованным шепотом прохожий.

Окна Юсуповского дворца горели оранжевыми огнями. По сторонам огромной резной двери с короной стояли навыважку часовые в касках. Над освещенным тамбуром развевался германский флаг. По тротуару, здесь посыпанному песком, Федосьев обогнул дворец. Ворота сада были открыты, из них выехала телега. У начищенной до блеска решетки не было часовых. Федосьев вошел в сад и направился по дорожке между черных скелетов деревьев, ориентируясь по огням дворца, игравшим оранжевыми пятнами на ноздреватом грязно-синем снегу. Холодный ветер дул ему в лицо. «Вот, помнится, где это было, — подумал он. — Отсюда он побежал вот к тем воротам. Там его доби́ли...»

На месте, где доби́ли Распутина, работал лопатой человек. Он был, видимо, очень весел и что-то пел довольно громко. Федосьев подошел поближе. Немец приветливо кивнул ему головою и продолжал петь. «Вероятно, принимает меня за члена комиссии», — подумал Федосьев. «Der edle Graf von Luxemburg...»³⁹ — радостно пел выпивший немец, размахивая в такт лопатой. — «Да, помнится, тут он свалился. Так тогда говорили...» Федосьев постоял на дорожке. Вдали было темно. Все окна страшного дворца ярко светились. «Где же вход в канцелярию?.. Тот говорил, — пройти со двора. Да, очень все это странно!.. Немцы распоряжаются в Петербурге, в единственной столице, никогда не сдававшейся врагу... Китайская кавалерия на наших улицах. Вот, вот он, „фантастический город“! — Федосьев знал, что Петербург называют фантастическим городом, и считал это обыкновенной писательской выдумкой: ничего фантастического в Петербурге не было, была прекрасная величественная столица, которую он очень любил за имперский стиль, за барский размах, за барскую историю империи. „Да, вот до чего дожили!.. А то бросить? — опять спросил себя он. — Ведь все равно ничего не выйдет. Стоит ли унижаться? В лучшем случае пошлют мою записку в Берлин, там положат под сукно... Да не уходить же теперь? Вот, кажется, и вход“, — подумал Федосьев и пошел дальше к боковому подъезду дворца. Немец радостно улыбнулся и загорланил с новым воодушевлением:

...Der edle Graf von Luxemburg
Hat all sein Geld verjuckt-juckt-juckt...⁴⁰

XVIII

³⁹ Благородный граф Люксембург (нем.)

Яценко содержался в Петропавловской крепости уже довольно долго. Никакого обвинения ему не предъявляли и к допросу его не требовали. Гуманная инструкция, очевидно, не имела отношения к действительной жизни. С другими заключенными он не встречался и даже не знал точно, кто с ним сидит: многих видных политических деятелей перевели из крепости в «Кресты». Николая Петровича ежедневно выводили на прогулку в садик Трубецкого бастиона. Это было развлечением; но в первый же день стоявшие в коридоре солдаты без всякой причины осыпали Яценко грубой бранью, и с тех пор он выходил на прогулку с легким сердцебиением (сердце у него стало пошаливать еще в начале революции).

После первой недели заключения Николай Петрович решил подать властям протест против беспричинного ареста и стал было составлять бумагу. Писал он в привычных ему старых формах, логично и стройно, закругляя придаточные предложения. Но, когда Яценко прочел свой черновик, ему стало смешно. «Все, что они делают, сплошное беззаконие и издевательство, что ж тут бумаги писать?» — подумал он и разорвал свой протест на мелкие куски.

Жилось ему, однако, не худо. Николай Петрович получал пищу из ресторана. Кроме того, ему немало посылали провизии «с воли» (так говорил сторож). Записок при посылках с воли не было; Яценко догадывался, что о нем заботятся Кременецкие. «Вот, казалось иногда, смешные, а какие на самом деле добрые, прекрасные люди! — думал он. — Писать же, верно, никому не разрешают...» Спал Николай Петрович, к собственному удивлению, превосходно; он приписывал это гробовой тишине крепости. Постель была, конечно, значительно хуже, чем дома, но Яценко скоро привык и к впадине посредине койки, и к шершавому суконному одеялу, и к тому, что койка стояла не вдоль стены, а перпендикулярно к ней.

Независимо от инструкций и правил, люди в крепости были разные: были грубые и злые, были вежливые и приличные. Солдаты в коридорах ограничились первым приветствием и больше при встрече не говорили: «Даром только балуются со всякой сволочью!» — оттого ли, что они привыкли к Николаю Петровичу, или потому, что им надоело повторять столь азбучные истины. Сторожа и вовсе не ругались, а бледный, худой смотритель, с которым преимущественно имел дело Яценко, оказался очень вежливым, тихим, даже любезным человеком. Николай Петрович с улыбкой думал, что смотритель похож на труп в «Уроке Анатомии» Рембрандта: «И выражение лица у него то же: теперь можете делать со мной, что хотите...» Смотритель условился с ним о доставке пищи из ресторана за плату и предложил пользоваться книгами крепостной библиотеки. Это предложение очень обрадовало Яценко. Как ни соответствовал его настроению дух «Круга чтения», афористическая форма книги немного его утомляла.

— А у вас что есть? — недоверчиво спросил он. — Смотритель принес ему каталог — старую, потрепанную переплетенную тетрадь, в которую, по алфавиту, разными почерками, разными чернилами, очевидно с очень давних времен, записывались книги. Вид тетради умилил Николая Петровича. Он подумал, что этими книгами пользовались Достоевский, декабристы; они же, быть может, рылись в поданном ему каталоге (хоть это было маловероятно).

— Можно заказывать две сразу, — сказал смотритель.

Николай Петрович торопливо перелистал тетрадь и выбрал философскую книгу. Другую он хотел взять из отдела беллетристики.

— Может быть, желаете Священное Писание? — спросил смотритель.

Яценко быстро на него взглянул: и самый вопрос, и особенно учтиво-равнодушный тон вопроса немного его задели. «Точно в моем положении надо это спрашивать, или точно это общее для всех лекарство», — подумал он; однако согласился на предложение смотрителя.

К вечеру сторож принес ему две книги, а также перо, бумагу и чернильницу, о которых Николай Петрович забыл попросить. Все это очень его ободрило. Теперь камера стала почти

уютной. Яценко много читал, кое-что записывал. Очень трудно было примириться лишь со слабым освещением камеры и с рано наступавшей полной темнотой. После вечернего чая ждать было нечего и делать тоже. Николай Петрович, следуя примеру заключенных, о которых ему случалось читать, ходил с полчаса по камере, затем ложился — сначала так, не раздеваясь, — и долго прислушивался, все ожидая курантов. Потом умывался, раздевался, — он научился это делать в темноте — и скоро засыпал. Иногда он спал и днем. Проснувшись, Яценко лежал с открытыми глазами, с бьющимся сердцем, дожидаясь музыки «Коль славен». В медленных звуках курантов он всегда находил что-то новое, — вместе и успокоительное, и грозное.

Письма Николая Петровича сторож передавал по начальству, но Яценко не знал, доставляются ли они Вите. Из осторожности он никому не писал, кроме сына. Ответов от Вити Николай Петрович не получал. По делу о свиданиях он не мог добиться толка. Смотритель смущенно предложил ему поговорить с заместителем коменданта во время очередного обхода камер. Заместитель коменданта иногда обходил Трубецкой бастион. Это был невысокий крепкий человек с неестественно редкой и неестественно рыжей бородкой, — казалось, будто к его лицу приклеили худо сделанную вылезшую бутафорскую бороду. «Верно, и вся его жизнь была предрешена бородой», — думал Яценко. Рыжий начальник был почти всегда навеселе и ругался самыми ужасными словами, — впрочем, в форме безличной, так что Николай Петрович мог и не относить брани на свой счет. Чудовищную брань заместитель коменданта вставлял буквально в каждую фразу, причем очень редко повторялся: Николаю Петровичу казалось, что этот человек все свое свободное время и бессонные ночи посвящает выдумыванию замысловатых ругательств и, вероятно, испытывает при этом художественное наслаждение. Яценко говорил себе, что глупо обижаться на такого человека, да еще на пьяного, или расстраиваться от его ругательств; тем не менее самый вид заместителя коменданта вызывал в нем отвращение.

— Нет, уж, пожалуйста, вы сами выясните это дело, — попросил он смотрителя.

Смотритель вздохнул. Через два дня он передал Николаю Петровичу ответ, из которого следовало, что на воле никто о свидании с ним не просил. Это было, очевидно, невозможно. Николай Петрович вдобавок знал, что другие заключенные легко получают свидания и с родными, и даже с посторонними людьми. Он опять было подумал, что надо подать жалобу, и опять от этого отказался, — тем более, что в глубине души никого не хотел видеть. Встреча с Витей в приемной крепости ни тому, ни другому из них не могла доставить утешения.

Недель через шесть на имя Яценко пришла бумага с длинным рядом разных формальных вопросов. Бумага эта представляла собой печатный формуляр, как и приказ об аресте Николая Петровича, в свое время ему показанный на квартире. Так же, как в приказе об аресте, в начале бумаги после печатных букв «*граждан*» от руки были выписаны слова «*ина Николая Петрова Яценко*», и опять почерк, которым эти слова были написаны, показался Николаю Петровичу знакомым.

Ему было очень легко ответить на все вопросы формуляра, да они, очевидно, никакого значения не могли иметь: формуляр был одинаковый для всех заключенных. Тем не менее бумага эта вызвала странное беспокойство у Николая Петровича. Неразборчивая подпись ему ничьей знакомой фамилии не напоминала, — он к тому же ни одного большевика и не знал. Яценко получил бумагу под вечер. Он долго в нее вглядывался, пока в камере не стало совершенно темно, затем разделся с бьющимся сердцем и лег без обычного вечернего моциона. Спал он на этот раз тревожно; впадина в середине постели вдруг стала его беспокоить. Ему снились сны, что с ним бывало редко, — сны вполне нелепые, — в них почему-то проходили кинематограф, Витя, и еще журналист дон Педро, о котором Николай Петрович никогда не вспоминал и не думал.

XIX

В конце апреля газеты, в ту пору еще выходившие под менявшимися беспрестанно названиями, сообщили, что первого мая новая власть устраивает грандиозный праздник на улицах города. Муся предложила было кружку выйти в этот день пошататься всем вместе. Однако, к легкому ее разочарованию, предложение не имело успеха. Березин был занят. Глаша собиралась куда-то пойти вдвоем с Горенским, о чем сообщила Мусе в небрежно-уклончивой форме, с бегающими в глазах огоньками торжества. Занят был даже Витя, и вид у него был тоже несколько таинственный.

Дня за три до первого мая служащие Коллегии по охране памятников искусства были приглашены на общее собрание коллективов. В Тронной Зале Зимнего Дворца собралось много народа. В конце зала стояла эстрада, покрытая красным сукном, а на ней бюст Карла Маркса, стол с графином, стаканом и колокольчиком, пять раззолоченных кресел и два ряда стульев.

Служащие негромко и смущенно переговаривались. Заседание было назначено на три часа. Около четырех приехал сановник, отнюдь не из первых, но довольно видный. Горенского удивил его костюм, — очень изысканный и нарядный: сановник, видимо, желал показать, что можно одновременно быть ревностным большевиком и вполне светским человеком. На жилете у него болтался большой красный брелок, — разглядеть его Горенский не мог, но почему-то решил, что брелок имеет в себе нечто богоборческое. В сопровождении беспокойной, суетливой свиты, сановник появился в зале, с порога окинул толпу подозрительным взглядом, сделал легкий поклон налево, легкий поклон направо и очень бодрой, раскачивающейся походкой прошел к эстраде. При виде раззолоченных кресел он слегка улыбнулся, как бы свидетельствуя, что это совершенно не нужно, затем сел с торжественно сияющим лицом. Рядом с ним на креслах и позади на стульях мгновенно разместились чины свиты и руководители коллективов, — очевидно, каждый твердо знал свой ранг. Сановник пошептался с соседями, позвонил, встал и, открыв заседание от имени правительства рабочих, крестьян и солдат, предложил собравшимся избрать председателя.

С разных сторон эстрады и из зала раздались громкие возгласы: «Просим товарища Гайского!..» «Просим вас, товарищ Гайский!..» В возгласах слышался восторг, относившийся к демократическим приемам сановника. Он кротко и скромно улыбнулся.

— Никто не возражает?.. Других кандидатов нет? — спросил он.

Других кандидатов не было, и никто не возражал. Сановник поблагодарил и принял избрание.

— В таком случае я вынужден дать слово самому себе, — сказал он с сияющей улыбкой, разве чуть смущенной от такой неожиданности. Он с минуту подождал, собираясь с мыслями, и начал: «Товарищи, граждане». Эти два слова сановник произнес с некоторой разницей в оттенках, — второе чуть суше и строже, чем первое. В дальнейшем он иногда, по привычке, говорил просто «товарищи», но тотчас поправлялся: «товарищи и граждане», показывая, что в общем собрании коллективов слушатели имеют несомненное право быть просто гражданами, хоть это нехорошо. Речь сановника была выдержана в двух тонах. Когда он говорил о великих завоеваниях культуры, слова его имели явно либеральный характер и говорил он бархатным голосом, — это был Луначарский. Сановник даже раз назвал культуру общечеловеческой, — правда, с таким же оттенком строгости и неодобрения, как в слове «граждане». Зато, когда он говорил о мощной, величественной поступи пролетариата, о железном инвентаре первой истинно-пролетарской революции, у сановника сказался пламенный темперамент трибуна, голос его принял *металлический* характер и речь стала чеканной, — это был Троцкий. В своей речи сановник назвал не менее тридцати знаменитых философов, писателей, ученых и даже одного богослова, — назвал не без похвалы и с краткой характеристикой: у всех основное свойство заключалось в том, что они были много хуже Карла Маркса. Импровизированное обращение к Марксу явилось центральным местом речи. Как раз в нужный момент оратор оказался стоящим вполоборота к бюсту, вполоборота к публике; он встретился с Марксом глазами, на мгновенье замер, вытянув правую руку с легким уклоном вверх, и в страстном обращении к бюсту оба тона речи сановника слились,

голос оратора стал как-то одновременно и бархатным, и металлическим: в облике Карла Маркса великие завоевания культуры (общечеловеческой) сливались с железным инвентарем революции (истинно-пролетарской).

В речи сановника говорилось о самых разных предметах, но главным образом она была посвящена предстоявшему празднику, — первому, грозно-торжествующему празднику освобожденного пролетариата на первой в истории свободной от тисков капитализма земле. Сановник сообщил, что «лучшие наши артистические силы, почувствовав художественной совестью своей все величие нашего дела, принимают активнейшее участие в организации народных торжищ», — и назвал несколько имен, впрочем далеко не лучших, в их числе имя Березина. Затем он выразил — бархатным голосом — радость по поводу того, что «все здесь представленные коллективы спонтанейно изъявили желание приобщиться к празднику посредством посылки делегаций», — об этом своем спонтанейном желании большинство слушателей узнало из речи сановника. И наконец сказал — металлическим голосом, — что и независимо от посылки делегаций, все товарищи — и граждане, — все члены коллективов, все работники в великом деле строительства нового мира, *должны* принять участие в славном историческом торжестве. Слово «должны» можно было понимать как угодно, но брошено оно было особенно чеканно, и сидевшие на эстраде руководители коллективов особенно значительно кивали головой, с видом полного одобрения.

— Мы ничьей совести не насилуем! — закончил громовым голосом оратор (Горенский с ненавистью следил за покачивавшимся богоборческим брелоком). — Да, не насилуем в том плане и в той мере, в какой это нам дают возможность классовое самосознание пролетариата и железные законы революционного строительства! Но, товарищи и граждане, прежнюю буржуазную псевдосвободу, гнилую свободу мошны и рясы, мы, ученики и последователи Ленина, приносим в жертву свободе истинной, свободе пролетарской, великой свободе серпа и молота! Она, товарищи, вдохновляет нашу революционную совесть, и, пусть же знают наши враги: горе тем, кто посмеет поднять на нее святотатственную руку!

Речь была покрыта рукоплесканьями, впрочем гораздо менее бурными, чем, по-видимому, ожидал оратор. На его лице мелькнуло неудовольствие. Он закрыл собрание и тотчас прошел в другой зал, где был приготовлен чай. За ним туда прошли все сидевшие на эстраде, а также некоторые лица из зала.

Служащие расходились. Фомин остановился внизу, увидев Горенского, который быстро спускался по лестнице. Князь был очень бледен.

— Хорошо, правда? — негромко, со слабой улыбкой, спросил Фомин. — Березин-то наш, слышали?.. Сейчас доложу Мусе...

— Пожалуйста, скажите ей от меня, что я с этим господином больше встречаться не намерен! Меня с ним прошу больше не звать...

Горенский почти с ненавистью взглянул на смущенного Фомина и той же быстрой, решительной походкой направился к выходу.

XX

Между Великороссией и Украиной начались переговоры, о которых ходили по Петербургу веселые рассказы, — чтобы отвести душу, люди выискивали анекдотическую сторону в событиях. Толком, впрочем, почти никто ничего не знал. Лучше других был осведомлен Фомин, так как по некоторым вопросам должна была высказать суждение и его коллегия: намечался раздел произведений искусства между обеими странами.

— Я Семе посоха Петра Могилы не отдам, хоть он тресни! — говорил Фомину Никонов, что-то очень смутно помнивший о Петре Могиле. — Бунчук Наливайки, так и быть, пусть берет, а посоха не отдам: наш посох!

— При чем тут Сема? Ах, его украинский паспорт? Ну, это так... А вы знаете, мне, быть может, предложат командировку в Киев по этим делам.

— Не предложат, — решительно сказал Никонов, который очень недоверчиво

относился к познаниям Фомина в области старинного искусства, да и к его деятельности в Коллегии. — Почтеннейший, где уж нам уж?..

— А вот увидите. Съезжу на юг, подкормлюсь, вам гостинца привезу...

Действительно, вскоре после этого разговора Фомину была предложена командировка. Все ему завидовали, поздравляли его и забрасывали порученьями.

— Я уверена, вы и не вернетесь в наш несчастный Петербург, — говорила Фомину Муся в последний вечер перед его отъездом.

— Ну, вот! Как это не вернусь?

— Да так, не вернетесь. Все бегут из Петербурга, назад не возвращается никто.

— Я никогда этого не сделаю, Марья Семеновна, — сказал Фомин. — Помимо всего прочего это значило бы подвести всех моих сослуживцев. Могу вас уверить, что через месяц вы меня здесь увидите... Итак, *recapitulation*⁴¹: значит, *primo*⁴², сказать папаше, что деньги расходятся быстро и чтобы прислал еще...

— Если только он может.

— Если только он может; *cela va sans dire*⁴³... И побольше чтоб гнал монет, — тоже если только он может...

«Как, однако, ему не надоест?» — подумала Муся. Она стала гораздо мягче, чем была до революции и до своей помолвки, лучше относилась теперь к людям. Но в Фомине ее раздражало то, что она почему-то называла «самоучителем хорошего тона» (ничто другое не могло бы сильнее задеть Фомина, чем эти слова Муси).

— *Secundo*⁴⁴, сказать, — продолжал Фомин, — что вы писали им три раза, а от них не имели ни одного слова.

— И страшно беспокоюсь.

— И страшно беспокоитесь... *Tertio*⁴⁵, уверить их, что у нас здесь все превосходно, молочные реки в кисельных берегах, и чтобы они о вас не беспокоились ничуть... Кажется, все?

— Как все! А маме насчет шубы и мехов? Ведь я в письме об этом не говорю. Нет, конечно, вы все забудете или перепутаете! Лучше я вскрыю конверт и припишу...

— Не забуду и не перепутаю. Меха, буду помнить... Затем нежные поцелуи и от всех самый сердечный привет. Может, и Нещеретову что передать?

— Мою любовь.

— *Vous confondez*⁴⁶: это я ему передам от Елены Федоровны.

— Которая на днях пускается за ним вдогонку.

— Обрадую его немедленно этим известием... Ну, а откуда вам что привезти? Киевских пряников? Сухого варенья?

— Не говорите!

— Ах, Боже мой!

— Я обожаю киевское варенье, особенно розы! — сказала со вздохом Сонечка.

⁴¹ резюме (*англ.*)

⁴² первое (*лат.*)

⁴³ разумеется (*фр.*)

⁴⁴ Второе (*лат.*)

⁴⁵ Третье (*лат.*)

⁴⁶ Вы путаете (*фр.*)

— Денег привезите, это главное, — посоветовала Глафира Генриховна. — А если в самом деле там все есть, — размечтавшись, добавила она, — то захватите побольше колбасы, сахару, кофе, чаю, бисквитов, разных консервов, белой муки...

— N'en jetez plus!⁴⁷ Я не мешочник.

— К чему говорить пустяки? — сказала Муся. — Какая белая мука? Во-первых, нигде в мире нет и никогда не было никакой белой муки: это миф, выдумка, мечта поэта! А во-вторых, мы прекрасно знаем, что вы не вернетесь, Платон, Михайлович. То есть, вернетесь, но после падения большевиков.

— И вам не стыдно!

— Это вам должно быть стыдно, а не мне. Наш Петербург гибнет, но он никогда не был так прекрасен. Просто грех его покидать ради мифа о какой-то белой муке.

Фомин получил официальное свидетельство о командировке и некоторое подобие дипломатического паспорта. Поэтому путешествовал он благополучно и даже в сносных условиях: в купе от Петербурга было всего девять человек, и в дороге присоединилось еще только трое. На границу поезд пришел поздно вечером. Оказалось, что переночевать придется в Орше. Пассажирам, одетым лучше других, на вокзале посоветовали пойти в корчму. Туда и направился Фомин с несколькими попутчиками. В корчме их приняли не слишком радостно. За табурет в общей комнате каждому пришлось заплатить вперед пятьдесят рублей. Съестных припасов не оказалось никаких.

Около полуночи в корчму зашел дозор местных разведчиков. Дремавший Фомин встрепенулся; ему, впрочем, показалось, что появление дозора вызвало у корчмаря не испуг, а злобу. Он долго взволнованно шептался с начальником, потом поочередно вызывал приезжих на крыльцо. Никто арестован не был, но с крыльца люди возвращались с растерянным видом, а лица корчмаря и его жены выражали глубокое возмущение: начальник вел себя явно неделикатно. Когда очередь дошла до Фомина, корчмарь мрачно-сочувственно прошептал, что эти разбойники требуют триста рублей с персоны.

Несмотря на свой дипломатический паспорт, Фомин собирался было безропотно заплатить деньги. Однако бумаги просматривались до расплаты и они совершенно изменили дело. Увидев их, начальник даже несколько изменился в лице. О деньгах он не заикался, почтительно вернул Фомину паспорт и, пожелав доброго пути, вскользь спросил: «В Смольном что новенького слышно, товарищ?» А после ухода дозора корчмарь с заискивающим видом предложил Фомину перебраться из общей комнаты в другую, где больше никого не было, и поставил для гостя самовар.

Фомин напился чаю и dokonчил запас съестных припасов, которым его снабдила перед отъездом Глафира Генриховна. Остаток ночи он просидел в разбитом кресле, вытянув ноги на чемодан, беспокояно ожидая перехода границы. Почтительный прием большевиков еще усилил его тревогу: как зато встретят немцы? В свой дипломатический паспорт Фомин верил плохо.

На рассвете корчмарь повел Фомина в Оршу-немецкую. Другие пассажиры, по словам корчмаря, должны были пройти значительно позже и проделать какие-то формальности. Фомин вывел заключение, что другим пассажирам придется еще кое-кому заплатить. «Лучше пойтить рано утречком, тогда легче, все хотят спать», — пояснил корчмарь.

Утро было чудесное, начинался теплый солнечный день. Местечко уже просыпалось. Лаяли собаки. На главной улице стояли огромные глубокие лужи. Доски мостков шатались так, что идти по ним было жутко. Фомин волновался все больше. Не могло быть, конечно, сомнений в том, что немцы его пропустят, но в таких условиях он никогда границы не переезжал. По его штатскому представлению, с минуты на минуту должен был показаться

⁴⁷ Остановитесь! (фр.)

кордон (он так и представлял себе длинную цепь солдат), а за кордоном *лагерь* грозной, непобедимой германской армии, четыре года наводившей ужас на весь мир. «Что, если арестуют, несмотря на все бумажонки? Кому тогда дать знать? Семе послать телеграмму?.. Нет, ведь все-таки немцы культурные люди», — думал Фомин.

На пропускном пункте корчмарь опять пошептался с дежурным разведчиком, и тот почтительно, совсем по-военному, отдал честь Фомину, возвращая ему паспорт. Теперь с этой стороны границы все было кончено. Они свернули, и действительно впереди показались проволочные заграждения. Вид у них, однако, был гораздо менее грозный, чем представлял себе Фомин. По другую сторону заграждений ходил взад и вперед германский солдат, — немолодой, в очках, и тоже несколько не грозного вида. Почему-то очки солдата немного успокоили Фомина. «Так здесь проходит граница», — подумал он; слово это и в мирное время имело в себе что-то волнующее. «Вот где, значит, начинается буржуазная Украина...» Ему было не совсем ясно: выезжает ли он за границу или, напротив, из чужой страны возвращается домой.

Корчмарь окликнул часового на немецко-еврейском языке, почтительно откланялся Фомину и поплелся назад. Часовой с любопытством оглядел приезжего и позвонил в колокольчик. Фомин уже приготовился было восхищаться немецким порядком и дисциплиной. Однако на звонок долго никто не откликнулся; затем из будки вышел заспанный рыжий человек без мундира, в военных штанах и в огромных ночных туфлях на босу ногу. Он, зевая, проверил бумаги Фомина (часовой тоже смотрел на них, через плечо рыжего человека), затем поставил печать и пошел назад в будку, шлепая туфлями. Фомин никак не предполагал, что все сойдет так быстро, гладко и буднично, — он совершенно иначе представлял себе порядки на местах расположения германских войск. Еще более удивило его то, что часовой, осведомившись, понимает ли приезжий по-немецки, предложил ему коробку папирос и плитку шоколада, вынул их из сумки и назвал тут же цену в марках и пфеннигах. Фомин охотно согласился купить и шоколад, и папиросы; вдобавок цена показалась ему до смешного низкой после Петербурга. Немецких денег у него не было. Солдат согласился принять и русские деньги.

Как раз в ту минуту, когда Фомин расплачивался за покупку, из будки вышел другой солдат, тоже немолодой и тоже довольно невзрачный. Он должен был сменить солдата в очках. Фомин, выдавший в свое время смену гвардейского караула в Берлине у Бранденбургских ворот, был совершенно поражен, — так все опять прошло буднично, сонно, не по-военному. «Это германские войска! Это германская дисциплина! Быть не может? — изумленно спрашивал он себя. — Правда, здесь в действительности ни войны, ни фронта нет, и, конечно, это не регулярные войска, а какое-нибудь ополчение восемнадцатого разряда. Но все-таки!..»

Смененный часовой предложил Фомину проводить его к меняле, у которого можно очень выгодно приобрести немецкие деньги. Меняла торговал на вокзале, начиная с восьми часов утра; однако, по словам солдата, можно было сходить к нему и на дом.

— А к поезду мы не опоздаем? — осведомился Фомин.

— Вы куда едете?

— В Киев.

Оказалось, что киевский поезд отходит очень не скоро и вдобавок всегда переполнен до отказа. Солдат посоветовал Фомину выехать другим поездом в Гомель, а оттуда спуститься в Киев парохомом по Днепру. «Немного дольше, но зато очень приятная поездка, — сказал он, — на пароходе прекрасный буфет». Эти волшебные слова решили вопрос.

До отхода, гомельского поезда оставалось еще около часа. По дороге солдат расспрашивал Фомина о порядках в России. Он, очевидно, также принимал приезжего за видного советского деятеля. Жадный, сочувственный и почтительный интерес, который читался на лице, в вопросах, в восклицаниях солдата, был для Фомина новой неожиданностью. Он отвечал очень сдержанно. «Еще схватят за большевистскую

пропаганду в германских войсках, *se serait fort par exemple!*..⁴⁸ А, может быть, это ловушка?» — спрашивал он себя, как ни неправдоподобно было такое предположение. — Или это так действует соседство с нами?»

Разменяв деньги, они пошли на вокзал. Солдат не отставал от Фомина и разговаривал с ним теперь уже как приятель и соучастник в каком-то недозволенном деле. Без всякого стеснения он говорил, что так дальше дело продолжаться не может и что надо всем кончать войну — «вот как вы». Изумление Фомина все росло.

По дороге игл встретились бабы, несшие в крынках молоко. Фомину хотелось выпить молока — и почему-то совестно было перед немцем. Однако солдат и сам, поглядев на кувшины, нерешительно попросил Фомина справиться у бабы о цене. Получив ответ, он пришел в крайнее раздражение. Цена, показавшаяся Фомину баснословно низкой, была теперь на двадцать пфеннигов выше, чем три дня тому назад. Немец долго не мог успокоиться. «Pfui! Unanständig! — бормотал он. — So machen doch nicht ehrche Leute...»⁴⁹

У вокзала солдат, однако, подтянулся, и выражение лица у него стало другое. Он объяснил Фомину, откуда отходит гомельский поезд и где надо взять билет, затем простился и пожелал счастливого пути. Фомин после некоторого колебания хотел было сунуть ему на чай. Но немец решительно отклонил подарок.

— Я рад оказать услугу русскому *товарищу*, — вполголоса заговорщическим тоном сказал он и, еще раз добавив «Gute Reise»⁵⁰, пошел назад.

На вокзале все гораздо больше соответствовало представлениям Фомина о германских военных порядках. Народа было немало, все происходило как в нормальное время, — только вагоны на путях были грязноватые и разбитые. По перрону расхаживал офицер совершенно такого вида, в каком всегда рисовали прусских офицеров иллюстрированные журналы. «Вот так офицер! — любовался Фомин. — Шаль, что он ходит не гусиным шагом... Перрон кажется тесным, когда он гуляет! Это я понимаю...»

У билетной кассы вдоль стены шла очередь пассажиров. Касса довольно долго не открывалась. Фомин читал висевшее над ним на стене объявление на немецком и на украинском языках. Это было «Оповіщення від Української Центральної Ради до громадян Української Народної Республіки». Рада оповещала граждан о том, что немцы и не думают вмешиваться во внутренние дела Украинского государства. «Вони приходять, як наші приятелі і помішники, на короткий час, щоб допомогти нам в скрутну хвилину нашого життя», — читал Фомин, изредка справляясь с немецким текстом в трудных словах, как «скрутна хвилину». Германский канцлер граф Гертлинг совершенно подтверждал заявление Рады. «Шімці ні в яким разі не мають наміру втручатись у внутрішні справи України». Решительно опровергались всякие злостные сомнения в намерениях немцев: «Це брехня, громадяне...» — читал Фомин, и ему было трудно поверить, что все это совершенно серьезно.

Ровно за пятнадцать минут до отхода поезда окошечко кассы открылось; очередь пришла в движение. Вдруг сзади раздался дикий крик. Фомин, вздрогнув, с ужасом оглянулся и увидел, что прогуливавшийся по перрону германский офицер страшным нечеловеческим горловым голосом орал на перепуганного до смерти вокзального

⁴⁸ Этого еще не хватало! (*фр.*)

⁴⁹ Фу! Безобразие! Так не поступают честные люди... (*нем.*)

⁵⁰ «Счастливого пути» (*нем.*)

служащего.

— R-r-raus!..⁵¹ — орал офицер так, как во всем мире умеют кричать одни немцы. — R-r-raus!

Очередь у кассы подвигалась все быстрее.

На гомельской пристани измученный, голодный, но радостно и бодро настроенный Фомин очутился только под вечер. Попал он вовремя: киевский пароход отходил через полчаса. Фомин успел побриться и переодеться: по советской России было даже и не совсем удобно путешествовать в приличном виде, но в чемодане у Фомина оказалось все, что нужно. Он вообще был человек запасливый, и дорожные принадлежности у него были превосходные. Через десять минут после того, как пароход тронулся, Фомин вышел на палубу в мало поношенном дорогом костюме из английского сукна перлового цвета, в мягкой шляпе, тоже не очень потертой, с дорогой тростью, серебряный набалдашник которой изображал голову мопса (это было бы безвкусно, если б трость не была старинной). На палубе стояли накрытые столы. Фомин всегда любил обедать в вагон-ресторанах. Но в этот день вид занятого им столика, судок с уксусом и прованским маслом, баночка с горчицей, от руки написанная, с расплывшимся чернильным пятном, карта блюд, полная сахарница и особенно свежие белые булки в плетеных корзинах, — все это произвело на него одно из самых сильных впечатлений, которые он когда-либо испытывал в жизни.

Каюты парохода были заняты германскими офицерами (кассир только усмехнулся, когда штатский человек по-русски попросил у него каюту). Однако, заплатив кому следовало на чай, Фомин устроился очень удобно на палубе, в парусиновом кресле с передвижной спинкой. Он закутал в плед вытянутые ноги; но ему и без пледа было тепло от выпитых за обедом двух бутылок пива, — не прежнего немецкого, а все-таки очень недурного.

Стоял светлый весенний вечер. Тишина на Днестре была необыкновенная. «Нет в мире поэтичнее реки, нет прекраснее берегов», — блаженно думал Фомин. Он родился и прожил жизнь в Великороссии, но мать его носила чисто малороссийскую фамилию. Ему было и смешно, и грустно оттого, что он здесь оказался иностранцем. «Какая чудесная страна, эта Украина, и народ какой милый, важный, вежливый, не то что у нас, где слова не скажут без матерщины, — лениво думал Фомин, без большого успеха пробуя отделить в мыслях русский народ от украинского. — Та баба с молоком была иностранка... И эти мужички в вагоне тоже все для меня иностранцы, — ласково-насмешливо думал он. „Мужичек, кстати, был презабавный. „Все паны, говорит, посказились“, — это оттого, что начальство заговорило по-мужицки... И в самом деле, кажется, посказились... А тот другой, чернобородый, тот, напротив, очень мрачный: ему, кажется, хотелось бы, чтоб было как у нас... А может быть, и в самом деле это для них соблазнительно: „панов різать“? Собственно таков и есть для них весь смысл революции... Ну, не для всех, так для многих... Может, и я на их месте не отказался бы?.. Ключевский предсказывал, что наш русский мужичок последовательно надует царя, церковь и социализм — и очень ловко надует... Да, странные события... Но какая чудесная, милая, поэтическая страна!.. Где еще в мире есть такие картины: эти леса, эта лунная ночь!“

Мысли его перешли на другое. Самые непривычные настроения вдруг сказались у Фомина; он не думал, что и в дальнейшей его жизни эти новые чувства будут иметь некоторое (хоть не очень большое) значение; не думал, что воспоминание о лунном вечере на пароходе навсегда закрепится где-то у него в душе и уж не уйдет оттуда до конца его дней. «А, может быть, и действительно вовсе не в том дело, — думал Фомин, — чтобы стать знаменитым адвокатом, загребать куши и любоваться каждый день своей фамилией в газетах. И не в том, чтобы быть своим человеком у графини Геденберг... Да и нет ее больше,

⁵¹ Вон! (нем.)

бедной старухи. Тот мир, разумеется, кончился навсегда... Да, я о нем сожалею, да, мне жаль, что больше никогда не будет двора, что я никогда не буду ходить в придворном мундире, что нет больше титулов, нет орденов... Так и не удалось мне пожить той жизнью: надо было родиться раньше, как мой предок, что служит при Палене. Да, жаль, что ж скрывать от себя правду? Но тут ничего не поделаешь: над этим нужно раз навсегда поставить крест... А что, если нужно поставить крест и над адвокатурой, над судом, надо всем тем, чем жили люди моего поколения? Что же останется тогда?.. Купить здесь не имение, — какие уж теперь имения? — а дом с садом, хороший, старый дом, где-нибудь на Волыни? Чудесные там есть дома и парки, особенно у польских помещиков... Да поселиться тут, в глуши, где пока еще смирен и незлобив народ... Жениться на дочери соседа, как в пушкинские времена. И гораздо умнее жили люди, чем мы... Так и тот мой предок кончил жизнь в своем малороссийском имении».

Мысль о женитьбе давно занимала Фомина. Он не был ни в кого влюблен; многие женщины ему нравились, но всегда как-то с женитьбой не выходило. Между тем холостая жизнь, несмотря на некоторые преимущества, давно ему надоела. «Да, пора бы, — думал Фомин. — Я женюсь не иначе, как по любви, но все-таки нужно, чтобы она была из хорошей семьи и с состоянием... Отчего же в самом деле нельзя так, чтобы и по любви, и чтобы все было, как следует? Вот как Гартнер женился: умница и счастливчик... — Гартнер был его приятель, один из самых блестящих молодых адвокатов Петербурга. — Ведь не на старой деве женился, и не на безобразной вдове, а на очень милой и славной девушке, скорее даже хорошенькой. Право, ее многие находят недурной: глаза, все говорят, красивые... Конечно, ему и в голову не пришло бы на ней жениться, если б не ее триста тысяч, и если бы она не была единственной наследницей миллионера... Папаше вдобавок за семьдесят... Но кому какое до этого дело? Кто теперь об этом вспоминает? А если дураки когда и вспоминают, то собака лает, ветер носит. А какой вышел милый, приятный, хорошего тона дом: у них бывает цвет Петербурга и так все у них мило, смотреть любо. И с тестем самые добрые отношения: „живешь? ну, еще поживи, в могилу не унесешь, хоть, конечно, очень засиживаться не надо“, — благодушно-снисходительно думал Фомин. — Собственно, это старые мои мысли... Сегодня я нашел что-то новое, гораздо лучшее. Но ведь и в старом, если по-новому отнестись, любовно, без зависти и без злобы, есть много верного и хорошего... Все дело во внутреннем освещении... Надо будет еще очень об этом подумать...»

Он вдруг с удивлением почувствовал, что у него просто никогда до сих пор не было времени подумать обо всем этом, о своей жизни, и о жизни вообще, и об отношении, к другим людям. «Может, любознательности не было, интереса, энергии? Но ведь это и есть самое важное: как жить с людьми, какими общими правилами в этом руководиться, а не то, что сегодня так, а завтра иначе, — с какой ноги встал... Как же для этого не оказалось времени, когда для всяких пустяков хватало?» — с недоумением спросил себя Фомин и почувствовал, что сейчас заснет, несмотря на важность этого вопроса. «До того я думал об очень приятном... Да, можно жениться и без состояния... Вот хутор все-таки хорошо было бы получить. Право, в этом-то и есть настоящее счастье: милая, красивая, добрая жена, дети, свой сад, свои лошади, своя наливка, свое варенье, все то, над чем мы так глупо смеялись сто лет... Нужна была война и революция для того, чтобы мы оценили прелесть чая в своем саду, собственного варенья, лягавой собаки, винта со столетними прибаутками... Боже, как и засну!.. Да, все обман, чем мы жили... Надоел и весь этот мой светский скептицизм: все ерунда, дешевая ерунда! Надо жить проще и добрее. И ни к чему интриги, злоба, злословие... Попробовать просто и благожелательно относиться ко всем? Ты человек, и я человек, что ж нам ссориться и рассказывать гадости друг про друга... Да, верно, это и есть самое важное... Вон там за этим лесом, может быть, есть дом с садом, то, что мне нужно... И приятные соседи, и дочь-блондинка... Но ведь я здесь иностранец! Советский чиновник... Еду делить сокровища искусства. Боже, как все это глупо!.. Вот Сема удивится, увидев меня! Тамарочка как обрадуется, ах-ах!.. И незачем называть его Семой: со слабостями люди, но хорошие люди... А в общем, конечно, порядочные люди преобладают над подлецами... Надо

бы завести такую статистику... Немцы здесь и заведут статистику... Да, рассказали паны... А другой мужичок очень, очень хочет „різати“... А германский канцлер граф... Гертлинг... говорит „Ще брехня, громадяне“... — думал, засыпая, Фомин.

XXI

Кременецкие перед отъездом оставили Мусе адрес киевских приятелей, по которому следовало направлять письма. Они сами не знали, где именно остановятся! носились слухи, что Киев совершенно переполнен, что главные гостиницы заняты немцами и что свободных комнат нет нигде. Поэтому Фомин прямо с пристани поехал на извозчике к приятелям Кременецких. Оказалось, что Семен Исидорович там больше не живет.

— Они действительно остановились у нас, — объяснила Фомину толстая дама, жившая в этой квартире. — Но им удалось найти хорошую комнату на Фундуклеевской улице. Это теперь очень трудно... На днях они переехали.

— Надеюсь, у них все благополучно? — осведомился Фомин.

— Кажется, все благополучно, — довольно сухо ответила толстая дама. Фомину и то показалось, что дама не слишком довольна Кременецкими. — Ведь Сема теперь важный политик, — добавила она иронически и тотчас поправилась: — Семен Исидорович.

Фомин охотно расспросил бы даму подробнее, но это было неудобно. Узнав новый адрес Кременецких, он на том же извозчике с чемоданом поехал их разыскивать. Остановиться у Семена Исидоровича было, очевидно, невозможно; Фомин, однако, надеялся на полезные указания Тамары Матвеевны.

На звонок ему отворила дверь сама Тамара Матвеевна. Впечатление, произведенное его приездом, было еще сильнее, чем предполагал Фомин. В течение нескольких минут Тамара Матвеевна только ахала и восклицала, так что нелегко было даже разобрать вопросы, которыми она засыпала Фомина.

— ...Уверяю вас, дорогая, Муся совершенно здорова, — говорил Фомин, положив на пол чемодан и оглядываясь в длинной передней. — У них все в полном порядке.

— Но как же?.. Боже мой!.. Это так неожиданно!.. Дорогой Платон Михайлович, я так рада!.. Но вы не обманываете меня?.. Она не голодает?.. У них все есть?.. Но как же... Извините меня, ради Бога!

Она вытирала слезы. Фомину и жалко было, и смешно. «Семы, верно, нет дома, — подумал он. — Отчего же она не зовет меня в комнату? Эх, ванну бы...»

— Как видите, я позволил себе так ввалиться к вам с чемоданом.

— Так вы видели ее в среду? В эту среду? Это прямо... За все время ни одного письма! Мы ничего не получили, ни белья!.. Ни одного звука, — поправилась Тамара Матвеевна. — Я думала, что я с ума сойду!

— Тамара Матвеевна, дорогая, Муся вам писала три раза. Три раза! И она сама от вас за все время тоже ни одной строчки не получила.

— Господи! Я каждый день писала, каждый Божий день!

— Вот видите! Что ж тут удивляться? Вы сами понимаете, какая у нас теперь почта, какие сообщения. Ведь между Россией и Украиной проходит фронт.

— Но как у вас там?.. Как все? Вивиан с ней? Как она выглядит?

— У нее очень хороший вид.

— Ах, вы это так говорите, чтобы меня успокоить!.. Разве я не понимаю?..

— Тамара Матвеевна, дорогая, даю вам честное слово!

Такой разговор продолжался довольно долго. Фомин все недоумевал, — когда же его поведут из передней в комнаты.

— Ну, а вы как? Семен Исидорович? Его нет дома? Тамара Матвеевна вздохнула и робко оглянулась.

— Он дома, но у него сейчас одно заседание... Я, право, не знаю... Вы сами понимаете, как он вам будет рад!.. Дорогой Платон Михайлович, вы просто меня спасли! Я думала, я с ума сойду!.. Так вы говорите, и мясо есть, и хлеб? У нас тут писали... А какао она по утрам пьет?

— Насчет какао не могу вам сказать... Мне тоже очень хотелось бы увидеть Семена Исидоровича.

Тамара Матвеевна опять вздохнула.

— Я, право, не знаю, как быть? Зайти туда как-то... Я сама все время сижу здесь в передней, — созналась она. — Но они должны скоро кончить... Так где же это письмо, Платон Михайлович?

— Сейчас достану из чемодана... Тамара Матвеевна, нельзя ли мне у вас умыться?

— Ах, Боже мой!.. — Тамара Матвеевна опомнилась. — Конечно, можно! Извините меня, дорогой мой! Я и не подумала, ведь вы к нам прямо с вокзала! Разумеется, можно! И чаю я вам сейчас дам...

— Спасибо, я пил. Говорят, здесь теперь очень трудно найти комнату?

— Безумно трудно! Но я для вас найду, будьте совершенно спокойны, я уже все это знаю. Мне совестно, что мы не можем вас устроить у нас, но ведь у нас самих всего одна комната. Просто ужасно!

— Помилуйте, я понимаю... А вот, если б можно было у вас умыться?

— Разумеется! Идите за мной... Мы снимаем одну комнату, но с правом пользоваться ванной. Вы можете даже принять ванну. Я уверена, хозяева ничего не скажут, они очень порядочные люди...

— Ах, это было бы чудесно. А вы тем временем прочтете письмо Муси.

Фомин уже был почти готов, когда в дверь ванной комнаты постучали. На пороге появился, с сияющим видом, Семен Исидорович. Они обнялись и поцеловались три раза.

— Только не через порог... Я так рад, дорогой Платон Михайлович...

— Я тоже... Вид у вас превосходный! Вы просто реклама для Киева, Семен Исидорович.

— Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить... Я очень рад!.. Жена мне в общих чертах все сказала. Значит, у них там все сравнительно благополучно?

— Совершенно. У вас видно вообще здесь немного сгущают краски относительно Петербурга.

— Краски и без того достаточно густые, Платон Михайлович. Обреченный город! — со вздохом сказал Семен Исидорович, делая мрачно-энергичный жест рукой. — Увы, дело Петра кончено! Я давно это говорю. Надо все начинать сначала, все строить заново, камень за камнем... Бы, я вижу, готовы?

— Вот только побреюсь и готов. Но у вас, кажется, заседание?

— Нет, конечно. Да и не заседание было, а просто пришло несколько человек обменяться мнениями по текущим вопросам. Теперь все разошлись, остался еще только один... — Семен Исидорович назвал малороссийскую фамилию, которая не была известна Фомину; однако по тону Кременецкого он понял, что речь идет о человеке значительном. — Он, верно, тоже скоро уйдет... Так что, когда вы побреетесь, сейчас же приходите. Я вас с ним познакомлю.

— Но я вам не помешаю? Может быть, секретные дела?

— Нисколько не помешаете. Секретные дела уже кончились, — с улыбкой пояснил Семен Исидорович. — У нас всего одна комната, зато очень большая... Он, правда, что-то еще хотел мне сказать, так вы не обессудьте. Пока мы с ним будем заканчивать беседу, вас Тамара Матвеевна угостит чаем. Она, бедняжка, вам так рада, так измучилась, горемычная, без вестей о Мусеньке... Ну, так я вас жду.

Минут через пять Фомин вошел в комнату Кременецких. За круглым столом, на

котором находились карандаши, бумага, полная окурков пепельница, несколько пустых чайных стаканов, Семен Исидорович разговаривал с пожилым скорбного вида человеком, очень похожим на переодетого мужика. На другом конце большой комнаты, у окна, Тамара Матвеевна читала письмо. На маленьком столе Фомин не без удовольствия увидел самовар, печенье, сливки. В комнате стояли кровати, — Фомину было странно, что Кременецкие принимают в спальней. Семен Исидорович познакомил Фомина с пожилым господином.

— Мой помощник и наш друг, Платон Михайлович Фомин, — сказал Семен Исидорович. — Только что прибыл из Петрограда... Из самого пекла.

Господин наклонил голову и ничего не сказал. Фомин отошел к Тамаре Матвеевне. Она с видимым сожалением оторвалась от письма Муси, которое перечитывала в шестой раз, и принялась наливать Фомину чай.

— Да, с двумя кусками, пожалуйста, — сказал Фомин, — хотя после Петербурга не грех взять и три... — Он вдруг оглянулся, услышав нерусскую речь.

— ...Не треба цього лякатися, — говорил с ласково-убедительными интонациями Семен Исидорович. — На це склалось багацько причин. Чого ми хочемо? Ми з одного бока хочемо...

Фомин, полуоткрыв рот, с изумлением смотрел то на сидевшего к нему в профиль Семена Исидоровича, то на Тамару Матвеевну. У нее на лице было сконфуженное выражение.

— Это... как? — произнес, наконец, шепотом Фомин (он хотел спросить: «это что? серьезно?»). — Разве Семен Исидорович умеет говорить по-украински?

— Он всегда умел, ведь он родом с юга, — таким же шепотом смущенно ответила Тамара Матвеевна. — Я тоже решительно все понимаю... Но здесь он очень быстро подучился.

— Подучился? — растерянно переспросил Фомин.

— Да, он брал уроки. Вы ведь знаете, какой он способный! Это удивительно! Мне настоящие украинцы говорили, что он теперь объясняется совершенно свободно! Конечно, с ошибками, но ведь здесь все пока говорят с ошибками... Язык еще находится в процессе создания, — убежденно повторила слова мужа Тамара Матвеевна.

— ...З німцями я вже бачився... Нехай вин им скаже: схамениться, люде, не чіпайте Раду, не развалюйте державу в саму гарячу хвилю, — все убедительнее говорил Семен Исидорович.

— Нам це до дрибничок відомо, — раздраженно ответил скорбный человек. — Ми цю людину знаємо: неспіслива і слабодуха. Треба расшукати підходящих міністрів и не можу без великого жалю згадати...

— Семен Исидорович занимает какой-либо пост? — осведомился Фомин со все возраставшей робостью в тоне.

— Пока нет, — несколько уклончиво ответила Тамара Матвеевна. — Ему предлагали самые важные посты, но он хочет присмотреться поближе.

— Присмотреться поближе, — глупо-растерянно повторил Фомин.

— Да... Вы не можете себе представить, как его здесь встретили, как его сразу все оценили! Он стоит теперь над всеми партиями и просто для них всех незаменимый человек, мне это говорил сам... (Тамара Матвеевна назвала новую фамилию, которую Фомин слышал тоже в первый раз в жизни). — Но теперь здесь создалось довольно тревожное положение из-за этих хліборобов, — нерешительно выговорила она.

— Из-за кого? — переспросил испуганным шепотом Фомин.

— Из-за хліборобов, — повторила Тамара Матвеевна, заменив для ясности букву і буквой е.

— Что это такое?

— Это здесь такая группа... Семен Исидорович находит ее слишком реакционной... Между прочим в ней теперь играет большое значение Нещеретов.

— Он хлібороб? У меня есть для него письмо.

— Вы его скоро увидите... Семен Исидорович находит...

— ...Чи ж це правда? Ні, ні, це наклеп прихильників старого режиму, — говорил Семен Исидорович.

Пожилой человек упрямо покачал головой и поднялся. Тамара Матвеевна тоже встала. Гость простился с ней и слегка поклонился Фомину. Кременецкий вышел за ним в переднюю.

— Теперь пойдем завтракать, скоро час дня, — оказала Тамара Матвеевна. Вид у нее был по-прежнему сконфуженный. Фомин сокрушенно молчал.

— Ну-с, вот я и освободился, — сказал с улыбкой Семен Исидорович, возвращаясь из передней. Улыбка у него была веселая, но тоже какая-то не совсем уверенная. — Так как же, любезнейший мой Платон Михайлович, а? — произнес он, взяв Фомина руками за плечи.

— Да так. Ничего, — неопределенно ответил Фомин.

— Ничего?.. Ну-с, ладно, соловья баснями не кормят. Идем, батюшка мой, в ресторан.

— Давно пора. Ты с утра ничего не ел и ты знаешь, как это тебе вредно, — начала Тамара Матвеевна. — Ты прямо губишь себя всеми этими заседаниями...

— О своем здоровье я буду думать в менее ответственное время. Идем!

— Кстати, в ресторане мы, наверное, увидим и Нещеретова, — сказала Тамара Матвеевна. — Он всегда там обедает, так что если вам нужно передать ему письмо...

— Ну, где там он будет сейчас разыскивать письма: у него их, верно, сто. как было у нас. Идем... Нещеретов теперь чистогерманской ориентации, — пояснил Фомину Семен Исидорович. — Я, как вы знаете, всегда не очень его жаловал: толстосум и невоспитанный человек. Однако не могу отрицать: огромного размаха мужчина и в своей области прямо гений. Он здесь без года неделя, а уже вертит колоссальными делами.

— Я готова, господа.

— Я предлагаю идти пешком: недалеко и погода чудесная. Вот по дороге и покалякаем.

— Я, собственно, украинским языком не владею.

— Будем говорить на русском, на православном, — сказал, неуверенно засмеявшись, Семен Исидорович.

XXII

В зале за столом сидел Нещеретов. Семен Исидорович еще издали помахал ему рукою. Они подошли к его столу. Нещеретов едва привстал, здороваясь с Тамарой Матвеевной.

— А, и вы здесь... Какими судьбами? — небрежно спросил он Фомина.

— Да самыми обыкновенными.

— Прямо из Питера, — пояснил Кременецкий, отдавая слуге шляпу и палку. — Увы, картина там именно такова, какую я себе представлял. Это подтверждает мою мысль о том...

— Подсаживайтесь ко мне, — довольно невежливо перебил его Нещеретов. — И вы тоже, мм... — он, видимо, забыл имя-отчество Фомина. — Человек, еще три прибора, — приказал он, не дожидаясь согласия приглашенных. — Я сам только что сел... Ну-с, как же там живется?

Фомин, по дороге уже рассказывавший Кременецким, как живется в Петербурге, принялся рассказывать снова. Но Нещеретов с первых же слов его прервал:

— Водку пить будем?

— Ясное дело, — ответил Семен Исидорович. — «Жомини, да Жомини, а о водке ни полслова...»

— Лучше не надо, тебе вредно для почек, — начала было Тамара Матвеевна. Однако ее не послушали. Подали водку, в бутылке от зельтерской воды, и поднос с закуской. Тамара Матвеевна, просмотрев карту, поспешно сказала, что сегодня меню очень хорошее, незачем

заказывать à la carte⁵². Она в последнее время старалась сокращать расходы: почта Семену Исидоровичу было в Киеве очень много, но заработков пока не было никаких; на проценты от стокогльмских капиталов, хотя и весьма порядочных, они существовать не могли и таким образом впервые в жизни начали проживать накопленное состояние.

— Обед так обед, мне все равно. А вам, Платон Михайлович?

— А мне и подавно, после Петербурга.

— Ну-с, так как же у вас там, Платон... — еще раз спросил Нещеретов. Он больше не говорил мужицким языком; напротив, в его тоне слышались новые, генеральские интонации. В дальнейшем, слушая рассказ Фомина, он вставлял изредка иронические замечания, относившиеся, впрочем, не столько к большевикам, сколько к Семену Исидоровичу. Фомин увидел, что отношения у них недружелюбные. Нещеретов и слушал Кременецкого, и обращался к нему с насмешливой улыбкой, точно ничего серьезного тот никак не мог сказать.

— Вот к чему приводит неуважение к правам народа, — говорил, закусывая, Семен Исидорович. — Надо же понять, что демократию, законность, чувство уважения к праву надо бережно воспитывать годами, как нежное тепличное растение. Это показывает и та участь, которая — увы! — постигла Временное правительство...

— Тимчасово правительство, — с подчеркнуто-украинским акцентом вставил Нещеретов.

— Я сейчас говорю по-русски, — с достоинством ответил Семен Исидорович. — Удивительно, что многие из нас дальше старых шуточек над «мовой» и над «гречаниками» так и не пошли. О них я могу сказать только одно: они ничему не научились и ничего не забыли! (Тамара Матвеевна обвела обедавших гордым взглядом.) Вместо того, чтобы постараться понять великое народное движение, — да, быть может, не свободное от крайностей, но в основе своей великое и здоровое, — вместо того, чтобы подметить живую струю, бьющуюся в толще народной, и так сказать канализировать ее, направить ее в русло, они отделяются каламбурами, и притом...

— Марья Семеновна как? Здорова? — спросил Фомина Нещеретов.

— Слава Богу, — ответил Фомин, смущенно оглянувшись на Семена Исидоровича, который пожал плечами.

— Князек что? Горенский?

— Тоже все в порядке... Я, кстати, имею для вас письмо, от Елены Федоровны Фишер, — сообщил Фомин. — Но, к сожалению, я его не захватил с собой, оно у меня в чемодане. Я сегодня же его вам доставлю.

— Ничего, это не к спеху... Так воспитывать демократию, говорите? — обратился он к Семену Исидоровичу. — Может, и Раду поддерживать?

— Разумеется. Всецело и всемерно.

— Держи карман!

Семей Исидорович пожал плечами еще демонстративнее.

— Возьми еще семги, уж если заказали закуску, — сказала Тамара Матвеевна. — Чудная семга!

— Семушка не вредная... Те, которые пускают пробные шары со слухами о предстоящем будто бы перевороте, только льют воду на мельницу советских насильников, — сказал Семен Исидорович. — Поистине: кого Бог захочет погубить, у того Он отнимает разум!

— Позвольте, господа, — вмешался осторожно Фомин, — извините мое невежество. Семей Исидорович, правда, немного ввел меня в курс здешней политики, но все же я еще многого не понимаю. О каком перевороте идет речь? О монархическом? Тогда что, собственно, имеется в виду! династия Мазепы, что ли?

⁵² Здесь: порционное (*фр.*)

— Было бы болото, а черти найдутся, — сказал Кременецкий. — К счастью, никакого болота нет, а есть молодая демократия, еще неопытная, но с каждым днем крепнущая, с каждым днем растущая, с каждым днем наливающаяся живительными соками. И этой силе настоящего и будущего нисколько не страшны ночные совы прошлого, вечно хрипящие: «Назад! Назад!» — Куда назад? — спрошу я. — Какой переворот? Где социальная база переворота? На какие силы он может опереться? На хлебобобов, прикрывающих своей фирмой обреченный русский помещичий класс с его неприкрытыми реституционными замыслами⁵³, о которых пахарь слышать не хочет! Да ведь это несерьезно, ведь это курам на смех, господа! — с силой сказал Семен Исидорович.

— Однако, мне бы казалось, — заметил Фомин, — что главная сила на Украине в настоящее время это немцы?

— Какой догадливый! — сказал весело Нещеретов. — Цикавый який, Платон М-м...

— Ах, не будем ничего преувеличивать, — ответил с некоторой досадой Кременецкий, чуть понизив голос. — Конечно, грубая сила на стороне немцев. У них пушки и пулеметы, у нас... У нас тоже есть и то, и другое, правда, в гораздо меньшем количестве. Однако только безнадежный слепец может так смотреть на этот вопрос и сводить его к пушкам и пулеметам. Вы забываете, господа, что если нельзя сидеть на штыках, то ведь нельзя сидеть и на пулеметах! Вы недооцениваете реальную силу идей и общественного мнения, как такового. Немцы, вдобавок, и не могут пустить в ход бронированный кулак. Они слишком ангажировались перед всем культурным миром, который...

— А вы как сюда пожаловали, Платон М-м-м?... — опять перебив Кременецкого, спросил Нещеретов Фомина. Тамара Матвеевна обменялась с мужем возмущенным взглядом. — Славную взяточку в Орше дали, а?

— Нет, у меня сюда командировка на один месяц, — ответил Фомин.

— Что? Только на один месяц? — в один голос спросили Семен Исидорович и Тамара Матвеевна. Им стало совестно, что они с самого начала не расспросили как следует своего друга, зачем он приехал. «Значит, можно будет послать с ним посылку для Мусеньки», — тотчас подумала радостно Тамара Матвеевна. И хотя она очень любила Фомина, ей захотелось, чтоб он уехал назад в Петербург возможно скорее.

Фомин объяснил, по какому делу его командировали на месяц в Киев (он, однако, смутно чувствовал, что постарается продлить командировку: уж очень здесь было хорошо после Петербурга). Узнав задачу командировки, Нещеретов расхохотался.

— Ох, уморил, не могу, — сказал он, наливая себе пива. — Я тоже об этом слышал. Они требуют, чтобы сюда доставили, во-первых, картины всех художников, которые родились на Украине, а, во-вторых, все картины на украинские сюжеты. Так-с!

Фомин поднял брови.

— Это серьезно? Что ж, тогда и репинских «Запорожцев» прикажете сюда перевезти?

— А как же? Всецело и всемерно, — весело повторил Нещеретов.

— Интересно, кто это «они»? — иронически спросил Кременецкий. — Если вы имеете в виду украинцев вообще, то, ведь, насколько мне известно, вы и сами хлібороб, Аркадий Николаевич?

— Временный, как ваше бывшее правительство. Я тимчасовый хлібороб. Мне на одной Украине тесновато.

— Откровенные речи приятно и слышать. Так и будем иметь в виду.

— Так, почтеннейший, и имейте в виду, — подтвердил Нещеретов. Однако Фомину показалось, что он не слишком доволен произнесенными горяча словами.

— Затем по существу, — продолжал Семен Исидорович. — Повторяю, я отнюдь не разделяю крайностей молодого национального самосознания, вполне здорового и разумного по содержанию, но чрезмерно обостренного по форме... Добавлю, обостренного кем?

⁵³ Здесь: восстановление прежних порядков (от *фр.* restitution).

Разумеется, нашим старым строем, который во имя своего Молоха давил в корне все живое и угнетал украинскую национальность на наковальне гнилой государственности... Я не сторонник крайностей. Там, где патриотизм переходит в узкий национализм, мне с ним не по пути! — энергично сказал он. Тамара Матвеевна опять с гордостью взглянула на Нещеретова и Фомина. — Однако, посмотрим на вещи шире, Платон Михайлович, — сказал Кременецкий, также демонстративно обращаясь только к Фомину. — Посмотрим на вещи шире. Разумеется, Репин гений и, как таковой, принадлежит всему культурному человечеству. Он соль земли, а солью питаются все народы. (Семен Исидорович сделал паузу). Однако, если шедеврам французских художников, естественно, висеть в Лувре, а шедеврам итальянских в Ватикане, то почему отрицать за молодой Украиной право на то, чтобы дорогая ей картина великого мастера, родившегося на украинской земле, картина, написанная на сюжет из украинской истории, висела в Киеве, а не в Петрограде и не в Москве, — закончил длинную фразу Семен Исидорович, не помнивший точно, где именно висят «Запорожцы».

— Мы как раз перед войной хотели просить Репина написать портрет Семена Исидоровича, — сказала Тамара Матвеевна. — Мне все художники говорили в один голос: у него замечательно характерная голова.

— Так я и пропал для потомства, — с улыбкой произнес Кременецкий.

— Позвольте, Семен Исидорович, — начал было Фомин. Но он не успел возразить Кременецкому. К их столику подходил еще петербургский знакомый: журналист дон Педро.

— Какая приятная встреча, — сказал он, здороваясь с обедавшими. — Так и вы здесь, Платон Михайлович? (дон Педро, в отличие от Нещеретова, твердо помнил имена и отчества всех бесчисленных людей, которых когда-либо встречал). — Положительно вся Россия переселилась в Киев!.. Давно ли вы из Петрограда?

— Сегодня приехал.

— Вот как! Ну, расскажите, ради Бога, как же там живется?

— Подсаживайтесь к нам, — милостиво сказала Тамара Матвеевна, помнившая, что дон Педро в свое время писал отчет об юбилее Семена Исидоровича.

— Спасибо, меня ждут, — ответил Альфред Исаевич, однако тотчас сел. — Разве на одну минуту... Так как же там в Петрограде живется?

— Ничего... Как кому, — ответил Фомин. Он решительно не желал в третий раз рассказывать, как в Петрограде живется. — Во всяком случае много хуже, чем в Киеве. А вы здесь обосновались?

— Хочет газету издавать, — пояснил Кременецкий.

— Хорошее дело.

— Дело-то хорошее, но реализовать при создающейся конъюнктуре трудно... Вот получите тысяч полтораста с Аркадия Николаевича, какую газету я вам смастерю, — шутливо добавил дон Педро.

— Демократическую? — грубоватым тоном спросил Нещеретов.

— А как же...

— Ищите другого дурака.

— Вы, может быть, считаете, что я социалист? — спросил обиженно Альфред Исаевич.

— Чтоб да, так нет?

— Имейте в виду, Платон Михайлович, — сказал Кременецкий, — здесь теперь социалист ругательное слово. Tempora mutantur!⁵⁴ Между тем единственная возможная ориентация сейчас, конечно, на трудящиеся слои населения...

— На працюючі люд, — вставил Нещеретов.

— Да, именно на працюючий люд, как вы изволите шутить неизвестно над чем, господин хлебобоб... На трудящиеся слои и на благоразумные элементы социализма.

⁵⁴ Времена меняются! (лат.)

— Во главе с бароном Муммом и фельдмаршалом Эйхгорном.

— Удар не по коню, а по оглобле! Мы-то немецкими руками делаем украинскую политику. А вот ваши хлебобобы, они действительно опираются на немецкие штыки и только на немецкие штыки!

— Господа, довольно о политике, — сказала рассеянно Тамара Матвеевна. «Колбасы я ему дам фунтов десять, — соображала она. — Какао минимум три фунта... Потом альбертиков, она их очень любит... Муки... Если выйдет даже пуд, он для нас должен это сделать...»

Альфред Исаевич поднялся.

— Ну, до свиданья, господа.

— Куда вы? Ни одной новости не рассказали! Какой же вы журналист? — сказал Кременецкий. — Что, поведайте нам, есть ли уже у хлебобобов какой-нибудь заваливающий гетман?

— Это надо узнать у Аркадия Николаевича, — с тонкой улыбкой ответил дон Педро. — Но по моей личной информации кандидат есть... Сюда приехал некто Альвенслебен, из очень важной прусской семьи, не то граф, не то князь... Я знаю из верного источника, что его делегировали сюда германские коннозаводчики, у них есть свой кандидат в гетманы, — чуть понизив голос, сказал Альфред Исаевич тем же таинственно-уверенным тоном, каким он прежде говорил о самых секретных планах европейских государственных людей или о том, что Гинденбург готовит прорыв двенадцатью дивизиями.

— Позвольте, при чем тут германские коннозаводчики?

— Вы не знаете, это очень мощная группа! У них есть прочные связи с Россией, уж вы мне поверьте... Я это знаю от самого майора Гассе.

— Так кто же этот кандидат?

— Один генерал... Богатейший! — восторженно сказал дон Педро. — И у него есть, так сказать наследственные права. Ну-с, прощайте, господа, — добавил Альфред Исаевич, любивший исчезать после эффектного сообщения.

— Постойте, расскажите подробнее... Да куда вы спешите? Посидите!

— Не могу, у меня сейчас одно заседание.

— Что еще? Или вы тоже гетмана подыскиваете?

— Нет, это по нашим, сионистским делам, — скромно ответил дон Педро.

— Разве вы сионист? — одобрительным тоном спросил Нещеретов.

— Я всегда интересовался, как же. Но теперь это стало в реальную плоскость, после декларации Бальфура.

— После какой декларации?... Впрочем все равно... Так вы уезжаете в Палестину? — спросил Нещеретов еще более благосклонно. В его тоне явно слышалось: «скатертью дорога».

— Может быть, может быть, — опять несколько обиженно ответил Альфред Исаевич. — Мне предлагают поездку в Америку. Если не удастся организовать здесь газету, я верно уеду. Но это будет зависеть от событий... До свиданья, господа. Очень интересно то, что вы рассказывали, Платон Михайлович, — добавил он, хотя Фомин ничего не рассказывал. — Вечером в «Пэлл-Мэлл» не идете? Теперь у нас все ходят в «Пэлл-Мэлл», — пояснил он. — Отличное кабаре.

— Ах, мы с Семеном Исидоровичем на днях были и нам совсем не понравилось. Провинция! — сказала Тамара Матвеевна.

— Разве я говорю, что не провинция! Конечно, это не «Летучая Мышь», но все-таки весело... До свиданья, господа.

— Хорош гусь! — сказал Нещеретов, когда дон Педро отошел.

— Все это очень характерно, — ответил озабоченно Семен Исидорович. — Подавляющиеся веками национальные элементы поднимают голову, центробежные силы растут за счет сил центростремительных...

«Значит, один украинский самостийник, другой прислужник немцев, а третий

сионист, — раздраженно думал Фомин, впервые в жизни чувствуя в себе задетым великоросса. — Как-нибудь при случае мы это вспомним...»

— Господа, чудная курица, — сказала Тамара Матвеевна. «Можно будет даже добиться, чтобы он взял полтора пуда, я хорошо сложу», — подумала она.

Уезжая в Киев, Нещеретов предложил Горенскому и Брауну жить и дальше у него в доме. Однако они этим предложением не воспользовались: прислугу хозяин отпустил, и дом, по словам Нещеретова, был на замечании у властей. Свободных квартир в Петербурге становилось с каждым днем все больше. По газетному объявлению, князь Горенский снял очень дешево комнату в лучшей части города, с видом на Мариинскую и Исаакиевскую площади. Большая, хорошо обставленная комната имела отдельный вход, так что с хозяевами Алексей Андреевич, к своему облегчению, почти не встречался; ему непривычно было жить с чужими людьми, да и принадлежала квартира бывшему чиновнику, который при старом строе занимал немалую должность. Горенский имел основания думать, что новые хозяева относятся к нему так же злобно-насмешливо, как почти все люди консервативного лагеря.

1-го мая рано утром к князю постучали. Не дожидаясь отклика, вошел курьер из Коллегии. Горенский, завязывавший галстук, с недоумением на него уставился. Курьер неодобрительно осмотрелся в неубранной комнате и сунул Алексею Андреевичу бумажку без конверта.

— Как вы, товарищ, вчера не были, то велено с утра занести, — сердито сказал он.

Князь накануне провел послеобеденные часы не в Коллегии: он расставлял в музей новые коллекции фарфора.

— Приказано всем быть к десяти часам, — пояснил курьер. Горенский прочел записку и вспыхнул. Это было краткое предписание — явиться на сборный пункт для участия в манифестации. «Ну вот, и слава Богу! По крайней мере конец», — тотчас сказал себе князь.

Когда курьер ушел, Горенский сел за стол и сосчитал оставшиеся у него деньги. Накануне, получив жалованье за вторую половину апреля, он внес хозяину квартирную плату за месяц вперед, расплатился в кооперативе и в мелочной лавке. Оставалось сто семнадцать рублей. Прожить до первой получки майского жалованья было бы очень трудно. Теперь положение становилось совершенно безвыходным с отъездом Кременецкого и Нещеретова, и займы взять было не у кого. Однако именно вследствие безвыходности своего материального положения Горенский не позволил себе задуматься ни на минуту: он вырвал листок из дешевой тетрадки и написал заявление о том, что уходит из Коллегии. Алексей Андреевич составил это письмо кратко, сухо и вежливо, с легким намеком на причину, ухода. Так в былые времена он написал бы заявление о своем выходе из какой-либо организации, где к нему или к его взглядам отнеслись бы без достаточного уважения (этого, впрочем, никогда не было). И в былые времена такое заявление князя Горенского вызвало бы в организации бурю, в обществе оживленные толки, обсуждалось бы в газетах и повлекло бы за собой разные письма сочувствия и протеста. Теперь, Алексей Андреевич это знал, его уход решительно никого не мог взволновать ни в обществе, — собственно общества больше и не существовало, — ни в самой Коллегии, — разве только многие тотчас пожелали бы посадить родственника на освободившееся место. «Вот как меня по дружбе посадил Фомин», — со злобой подумал Горенский. Он прекрасно понимал, что его приятель хотел оказать ему услугу; тем не менее раздражение против Фомина с той поры все росло у Алексея Андреевича.

«Ну, вот и кончено, и слава Богу», — повторил Горенский. — «Plaie. d'argent n'est pas mortelle»...⁵⁵ Он вторично пересчитал деньги: сто семнадцать рублей. Найти службу вне

⁵⁵ Деньги — дело наживное (*фр.*)

советских учреждений было теперь невозможно. «Уехать на Юг? Это можно было с командировкой, как уехал Фомин, или с украинскими бумагами, как Кременецкий, и с его деньгами... Попытался перейти границу нелегально? На сто семнадцать рублей не уедешь... Да и там сейчас гадко, у самостийников. Ничего, как-нибудь выпутаюсь. „Plaie d'argent n'est pas mortelle“, — сказал он снова вслух — и вдруг в полном противоречии с французской фразой, у него скользнула мысль о самоубийстве.

Горенский очень устал в последние месяцы, устал физически и душевно, устал от всего, от катастрофы, так неожиданно обрушившейся на Россию, от унижительной бедности, которой он никогда до того не знал. «Да, покончить с собой, это очень просто», — подумал он, опять смутно чувствуя то же самое: прежде его самоубийство было бы сенсацией на всю Россию; теперь оно не произвело бы впечатления почти ни на кого. «Покончил с собой князь Горенский, жаль, вечная память... Другие скажут: давно бы так»... Алексей Андреевич был не слишком честолюбив и еще менее того тщеславен. Но эта пустота, безнадежная глухая пустота, в которую погрузилась вся прежняя Россия, тяжело его угнетала. «Нет, с поля битвы не бегут!.. — сказал он себе. — Хотя какая же теперь битва? Они стригут и режут нас, как баранов. Это не битва!»

В нем вдруг поднялось бешенство. — «Нет, так нельзя!.. Так нельзя! — вставая, подумал Горенский. — Чем с собой кончать, лучше пойти и застрелить, как собаку, кого-нибудь из этих господ!.. Да, но тогда уж обдумать старательно: не погибать же из-за мелкой сошки! Должны быть пути и до самых главных. А если путей еще нет, то я найду их!.. Это надо обдумать, очень, очень обдумать, — говорил он себе, быстро ходя по комнате. Он с радостью чувствовал, как кровь у него прилила к вискам и нервы напряглись — как после крепкого кофе. „Может быть, это в самом деле и есть выход? Выход и для России, и личный, для меня. На это нужны средства и на это они должны быть найдены!.. А если я уйду в такое дело, рискуя жизнью, то нет ничего дурного или унижительного в том, чтобы из этих же денег оплачивался и нужный мне кусок хлеба...“

Поток новых мыслей, самых неожиданных и непривычных чувств хлынул в душу Горенского. Ему вспомнилось, что в их роду несколько человек погибло в сражениях: один был убит в Турции, другой под Бородиным; очень отдаленный предок, по преданию, пал на Куликовом Поле. «То, что сделали прадеды, обязан сделать и я. Они отдали жизнь отечеству и, если ему теперь нужна моя жизнь, то и я, потомок великих князей, собирателей земли русской, должен идти на смерть, — думал Алексей Андреевич, и от самого звука этих мыслей, от сочетания выражавших их слов, кровь все сильнее прилиwała у него к вискам. „Да, я прежде не придавал значения всему этому, своему происхождению, древнему роду (хоть неправда: в душе всегда придавал, только не говорил, потому что было не принято). Но верно говорят французы: «bon chien chasse de race»...⁵⁶ Какая правда в этих народных изречениях, особенно во французских!.. Да, это мой долг, и я его исполню!»

Ему представились разные ходы для осуществления этих новых мыслей, люди, с которыми следовало о них поговорить. «Браун? Он ненавидит большевиков еще больше, чем я. Может быть, он знает других? Говорят о какой-то организации Федосьева. Неприятно, очень тяжело работать с таким человеком, как Федосьев, но, если он вправду что-то делает, то было бы безумно отказываться от его опыта, энергии и связей...»

С улицы послышались звуки музыки. Горенский подошел к открытому окну и ахнул. Площадь стала неузнаваема, — художники-футуристы, плотники, маляры работали всю ночь. На Мариинском дворце лиловая девица и красного цвета мужчина в кого-то палили из винтовок. Над «Асторией» голый фиолетовый всадник мчался верхом на зеленом копе. На протянутом огромном плакате Горенский, перегнувшись через окно, прочел: «Да здравствует защита нашего социалистического отечества!» Под этим плакатом, мимо памятника Николаю I, задрапированного красными и оранжевыми холстинами, проходила со знаменами

⁵⁶ Породистого пса учить не надо (*фр.*)

толпа людей. Лица у манифестантов были унылые и понурые.

Оркестр играл «Интернационал». От звуков бравурной музыки все росла и крепла в душе Алексея Андреевича жажда борьбы, отчаянной борьбы с безграмотными звероподобными людьми, завладевшими Россией. Подтянув на высоких нотах заключительную фразу «Интернационала», он отошел от окна. «Да, надо сегодня же повидать Брауна. Как бы к нему ни относиться, это очень умный человек. Затем сегодня же поговорить еще кое с кем...»

Горенский вдруг вспомнил, что днем у него назначена встреча в Летнем Саду с Глафирой Генриховной. «Как жаль, что ей теперь ничего нельзя сказать!..» Алексей Андреевич собрал свои сто семнадцать рублей, надел шляпу и вышел из дому.

— ...Какие все-таки странные теперешние молодые люди, — говорила Вите Елена Федоровна. — В них есть какая-то такая застенчивость... Отчего вы такой робкий?

— Я не робкий, — ответил Витя, чувствуя с досадой, что ответ мог бы быть находчивее. К вечеру этого дня он нашел много превосходных ответов на замечание Елены Федоровны. Но замечание было сделано днем.

— Нет, я вижу, вы очень, очень застенчивый!

— Нисколько! Вы меня еще с этой стороны не знаете.

— С какой стороны? — спросила Елена Федоровна с видимым интересом. Витя, однако, и сам не знал, с какой стороны и что; собственно он хотел сказать. Он только говорил себе: «с этой женщиной надо взять циничный тон». Взять циничный тон было бы, пожалуй, легко, если б на брюках была настоящая складка. Брюки пролежали всю ночь под матрацем, тем не менее складка не вышла; или, точнее, образовались две складки, из которых одна явно подрывала эффект другой. Все остальное, — и пиджак, и мягкая шляпа Семена Исидоровича, и его же галстук, и трость, — было вполне удовлетворительно. Но складки на брюках не было.

— Как прекрасен Летний Сад! — сказала, не дождавшись ответа, Елена Федоровна. — Нет, положительно только в природе есть вечная красота, особенно по сравнению со всей этой мишурой! — Она сделала зонтиком жест в сторону Марсова Поля, на котором происходил парад.

— В самом деле это скучновато, — сказал пресыщенным тоном Витя. — Ведь вы, кажется, приглашали меня к себе? — Небрежное «кажется» было очень хорошо, однако Витя с волнением ждал ответа Елены Федоровны: он и страстно желал, чтобы она его пригласила, — у нее это, наконец, должно было произойти, — и побаивался: Витя совершенно не был в себе уверен.

— Я действительно вас приглашала, но теперь я, право, не знаю, — ответила, потупив взор, Елена Федоровна. — Вы это как-то так странно говорите.

— Да уж там видно будет, — самым циничным тоном сказал Витя. «Господи, лишь бы пронесло!» — подумал он.

— Ах, ради Бога, не говорите так со мною!.. Все-таки, как странно сделана эта декорация, не правда ли? — переменяла разговор Елена Федоровна.

— Оттуда будет лучше видно. Пойдем туда, — предложил Витя.

Среди убранных ельником могил жертв февральской революции была устроена высокая трибуна, затянутая красным сукном. Над ней на высоких жердях был протянут плакат с изображением огромного подсолнуха. Стоя лицом к могилам, что-то кричал, надрываясь, невысокий толстый круглолицый человек в пиджаке. Но слышно его было плохо, только изредка ветерок доносил отдельные фразы. Толпа была молчаливая, невеселая. Елена Федоровна и Витя пробрались к отдаленному углу площади, где народа было мало.

— Вот здесь постоим, на этой площадке, — предложил Витя. — Отсюда все будет видно.

Рядом с ними устроилась няня с ребенком и небольшой старичок неопределенного

вида, в неопределенном платье, не то из господ попроще, не то из простых побогаче. Няня, расширив глаза, говорила

— ...А там за углом смотрю: Господи! Мертвая лошадь лежит! И собаки жрут падаль! Так на мостовой, говорят, третий день и лежит!.. Ах ты, Боже мой!

— То ли еще будет! — радостно сказал старичок. — Скоро людей так будут жрать.

— Ах ты, Господи! До чего дожили!

— До того и дожили. Все так на мостовой будем лежать. — У старичка на лице выступила радостно-едкая улыбка. — «...Построим новую яркую красивую жизнь», — донеслось с трибуны. Старичок засмеялся и оглянулся на Елену Федоровну и Витю.

— Они тебе построят!.. А в могилах-то городовые лежат. Царские фараоны... Да...

Елена Федоровна слегка вскрикнула.

— Смотрите, это она!

— Кто она? — спросил Витя.

— Дочь моего мужа!.. На трибуне третья слева во втором ряду, видите, та, что в черном. Это Карова, большевичка.

— Ах да, я о ней слышал. С ней служат наши приятели.

— Мой бедный муж! Он не пережил бы этого... Я прежде с ней была знакома, но раззнакомилась.

— Говорят, она из более приличных?

— Что вы! Всегда была наглая, завистливая девчонка! А безобразна! Как смертный грех!

— «...К близкому торжеству светлого пролетарского будущего!» — орал невысокий человек, вытирая лоб платком. Скептический старичок, видимо, наслаждался.

— Скажите, Виктор Николаевич, что собственно означает этот подсолнух? Я не понимаю.

— Это и нельзя понять.

— Значит, так надо, — сказал услышавший их слова старичок. — Ежели подсолнух, значит, подсолнух и надо А как стемнеет, сожгут гидру контрреволюции, да...

— Кого? — с ужасом спросила няня.

— Гидру контрреволюции. Очень просто.

— Смотрите!.. Ах ты, Боже мой! — заахала няня. На площадь медленно выезжал автомобиль с красным флагом. Рядом с шофером сидел негр. За автомобилем шли две колесницы с огромными чучелами, изображавшими священников и генералов. «О Господи!» повторила с ужасом няня при виде колесницы с чучелами священников. Но чучела генералов в ней как будто возбуждали не только ужас.

— Какая гадость! — сказал Витя.

Старичок на него оглянулся. Радостная улыбка сползла с его лица.

— Крашеный! — доверительным таинственным тоном сказал он Вите.

— Кто крашеный?

— Да негр!

— Ну вот!.. Смотрите, как он зубы скалит. Вовсе не крашеный, а самый настоящий негр.

— Это ничего не значит: верьте слову, крашеный, — сказал полушепотом старичок. Витя от него отшатнулся: глаза у старичка, с неподвижными зрачками, были странные.

— Знаете что, Елена Федоровна, пойдемте отсюда. Уж очень это плоско и гадко!

— Я тоже думаю, пойдем. Я что-то утомлена.

Они кивнули старичку, няне и пошли вдоль Лебяжьего Канала.

— Значит, ко мне? — спросила стыдливо Елена Федоровна. — Но вам не будет скучно?

— Что вы! Совсем напротив. — Витя опять почувствовал, что ответ оставляет желать лучшего. — «Значит, у нее будем ужинать... Как жаль, что нет смокинга», — подумал он, представляя себя в смокинге, в лакированных ботинках, в шелковых носках. Ему вспомнился итальянский кинематографический артист, небрежно отдававший почтительным лакеям в

передней дорогого ресторана пальто необыкновенного покроя, шляпу, трость с прямой серебряной ручкой. «Впрочем, если мы встретились с ней днем, я все равно не мог бы быть в смокинге. А я и так вполне прилично одет. Но надо, надо во что бы то ни стало обзавестись, смокингом, если уж нельзя иметь фрак», — думал Витя.

Он быстро поднял руку к шляпе, увидев знакомое лицо: в Летнем Саду доктор Браун, чуть наклонившись вперед, внимательно смотрел на то, что происходило на площади. «Собственно, он должен первый поклониться, если я с дамой. Да он нас не видит... — Вите очень хотелось, чтобы Браун его увидел в обществе госпожи Фишер. — Верно, он ее знает, — соображал Витя, нарочно замедляя шаги. — Нет, не видит...»

— ...Наше поколение обречено, Глафира Генриховна, — сказал князь. — Я имею в виду, разумеется, мое поколение: ведь я гораздо старше вас. И вас мне особенно жаль: мы хоть пожили, мы видели настоящую, прекрасную и радостную жизнь. А вы!

— И я видела, — с волнением ответила Глафира Генриховна. Она никому не говорила, что ей двадцать седьмой год, но от князя твердо решила ничего не скрывать: между ней и Алексеем Андреевичем не было места обману. Глафире Генриховне было бы все же приятнее, чтобы князь не знал ее возраста.

— Да, может быть, вы чуть коснулись той жизни, но вы не участвовали в ней. И этому рад: вы не несете ответственности за ее грехи, — сказал князь. Противоречие в его словах не укрылось и от Глафиры Генриховны, хоть ей было не до логики: она очень волновалась.

— Грехи?

— Да, ведь и то, и другое верно, — горячо сказал Горенский. — Та жизнь была обольстительна, но если б она не была в то же время насквозь проникнута грехом, то мы и не видели бы всей мерзости, которая сейчас творится на наших глазах... И я не щеголял бы перед вами в таком виде, в стоптанных сапогах, — добавил князь, не совсем естественно улыбаясь и внимательно глядя в Глашу: он не был уверен, что может теперь нравиться женщинам. Выражение его лица еще больше, чем слова, тронуло Глафиру Генриховну; она невольно взглянула на сапоги Горенского, и от этого смутилась. Ей вспомнилось, как он был богат, вспомнилась его фотография в пажеском мундире.

— Вашей вины, конечно, нет никакой, — с волнением сказала она. — А то, что вы теперь оказались... без денег (она не решилась повторить: в стоптанных сапогах), это только делает вам честь. Дельцы и спекулянты сумели припрятать деньги.

— Я не догадался, — с той же улыбкой сказал Горенский. — И потому попал в служащие их коллегии.

— Что ж тут дурного? Ваша коллегия вполне приличная, — начала было Глафира Генриховна.

— Вы это говорите, но вы этого не думаете! — перебил он ее. — Вы не можете так думать!

Она с удивлением на него взглянула. Он вдруг взял ее руку и поцеловал. На глазах у князя были слезы.

— ...Мы рады всем приемлющим новый социально-экономический режим, — говорила на трибуне, между выступлениями ораторов, Ксения Карловна Березину, который слушал ее с почтительным вниманием. — Кто против нас, тот наш враг, и с ним пролетарская власть — увы! — должна быть беспощадной...

— Dura lex!! — сказал со вздохом Березин. — Dura lex sed lex.⁵⁷

— Но друзей пролетариата мы умеем ценить, какова бы ни была их социальная сфера в

⁵⁷ Хотя жестокий, но закон (лат.)

прошлом. Артистов, людей искусства, честно протягивающих руку рабочему классу, желающих пройти с ним хотя бы часть его пути, мы встретим, как товарищей и сотрудников в общем деле. Давайте же координируем работу, Сергей Сергеевич!

Березин приложил руку к груди:

— Видит Бог! — сказал он грудным низким голосом и немного смутился, сообразив, что начал неудачно. — С открытой душой говорю вам, Ксения Карловна: помыслы Мои, мои чаянья художника всегда были с трудящимся народом, и в самых отдаленных моих исканьях я смутно слышал мощную поступь рабочего класса, как за сценой тяжелые шаги статуи командора. Я родился, жил и буду до последнего издыхания бойцом авангарда, Ксения Карловна! В чем другом, а уж в отсталости, в рутине, в закоренелости духа и злейший враг ни разу не упрекнул Березина!..

— Я это знаю. Мы достаточно информированы о вашей работе.

— Я всегда был в искусстве мятежником, Ксения Карловна: и тогда, когда чаял обновления сцены от прерафаэлитов, и теперь, когда я сердцем жажду живой воды пролетарского творчества. Да ведь еще как сказать? ведь все это и тесно связано: весь мой ищущий путь художника, революционера и новатора. Я всегда был верен себе, и это говорю вам прямо и честно: был Березиным, остаюсь Березиным и буду Березиным до последней своей баррикады! Отсюда и все мои недруги, и завистники, и та мелкая недостойная травля, которая против меня велась и ведется... Да, ведется, Ксения Карловна. Об этом долго говорить, да и нет охоты: уж больно гадко!.. Когда-нибудь в другой раз...

— Мы вас поддержим, Сергей Сергеевич.

— Душевно благодарю... Да и как же мне не быть с вами? Когда я вижу эту молодую, свежую, тянущуюся к свету аудиторию, восприимчивую ко всему новому, живому, ко всему чуждому стариковского шаблона, чуждому академической мертвечины, когда я вижу эти горящие глаза, эти возбужденные лица, преображенные таинством искусства, я говорю, я кричу с упоением: «Да, я ваш! Березин ваш, слышь, жив человек!» Готов нести вам свой труд, свои идеи — последние, глубинные идеи, Ксения Карловна, — готов отдать вам свой дар, свое вдохновение, душу живу, все то, что у меня есть святого, что мне дано свыше...

Он осекся: конец фразы опять был нехорош. Однако Ксения Карловна не заметила неудачных выражений Березина или сразу признала их чисто метафорический характер.

— Комитет очень удовлетворен вашей активностью, в частности и по устройству сегодняшних торжеств, — сказала она. — О вас уже говорилось, — правда, пока в дискуссионном, а не революционном порядке, — и большинство намечается в вашу пользу. Об этом сообщено также в Москву. Я уверена, что вам будут предоставлены самые широкие возможности работы.

Березин передвинул руку на груди, еще ближе к сердцу, и совсем склонил голову набок.

— Благодарю и тронут больше, чем могу выразить!.

— Лично от себя я позволила бы себе только одно замечание... Вы разрешите?

— Ради Бога! Прошу вас.

— Не нравится мне вот этот плакат! Да, я понимаю идею подсолнуха, знаю, что можно сказать в его обоснование, Лебедев мне объяснял... Но что же делать? Мне не нравится.

— Я не защищаю этот символ безоговорочно, однако...

— Должна вам сказать, я очень отстала в живописи, я остановилась на передвижниках. Но мне кажется, что пролетариату с этим не по пути. По-моему, это скорее декадентское искусство пережившей себя мелкой буржуазии или разлагающегося люмпенпролетариата... Впрочем, оговариваюсь, это только мое персональное мнение. В Комитете это не дебатировалось.

— Ксения Карловна, я не буду спорить по существу, я готов даже допустить, что во многом вы правы... Вы очень верно смотрите на искусство...

— Ах, нет, я и не претендую.

— Очень верно и тонко, кому же и видеть, как не мне? Однако согласитесь и вы, что

новое вино нельзя лить в старые мехи. В искусстве, как во всем, пролетариат должен сказать свое слово и сказать его громко, мощно, зычно, как власть имущий на весь мир!

— С этим я совершенно согласна.

— Нельзя, разбив могучим порывом старые социальные кумиры, в искусстве поклоняться отжившим, мертвым, гниющим богам! — сказал с силой Сергей Сергеевич. — Если вы бросили вызов всей земле, посягните и на духовную гущу прошлого. Будьте богоборцами до конца, и вас осенит крылом победа! Старый мир завертится волчком и запляшет, как ужаленный, Ксения Карловна, голову даю на отсечение! Пусть наш лет в будущее будет головокружительно смел, пусть он будет прекрасен великой, глубинной, святой красотой, как мощный прыжок Нижинского, как бунтарский зык Стеньки Разина!

— Повторяю, с этим я готова согласиться, по крайней мере отчасти, — сказала напуганная Ксения Карловна (прыжок Нижинского и зык Стеньки Разина не были предусмотрены программой). — Разногласия между нами скорее в сфере проблематики искусства. Ищите новых путей, Сергей Сергеевич, и планируйте ваши искания. Я уверена, что советская власть всячески пойдет вам навстречу.

— Великое вам спасибо, но лично мне ничего не нужно, помогите только моему делу. Будем строить новую жизнь, Ксения Карловна, будем создавать новое искусство, и в чаяньи его воскликнем издали: «Ей, гряди скоро!» — с чувством говорил самым глубоким своим голосом Сергей Сергеевич Березин.

— ...А отчего бы и не о самом настоящем?

— Мы не «русские мальчики», которыми старательно и непохоже восторгался Достоевский.

— Отчего бы не подумать о самом настоящем и русском старикам? Ваш фаустовский путь...

— Фаустовский?

— У нас в России были Гамлеты, Чайльд-Гарольды, дон-Кихотами хоть пруд пруди. Только Фаустов не было. Итак, ваш скорбный листок?..

— Нет болезни, нет и скорбного листка.

— Болезнь есть: чрезмерная независимость.

— Золотая середина между Юлием Цезарем и Молчалиным.

— Допустим... Значит, вы юношей начали с философии?

— Да. Тогда, как, впрочем, и теперь, как и всегда, шла борьба за существование между десятком философских систем. Я был молод, и очень хотел сделать выбор, — ведь это главная радость в жизни. Поэтому я изучал одну систему за другой и добросовестно изучал. Обычно бывает так! в каждой системе есть основной философ, чаще всего немец, и семьдесят семь комментаторов. Высшим счастьем для каждого русского философа было стать комментатором номер семьдесят восьмой. Вот я все это и изучал; Изучал с жаром и делал вид, что восторгаюсь...

— Так, так... И на какой системе вы остановились?

— Сумбур у меня в голове был необычайный. Каждая из этих систем разбивала все другие, между тем, к моему ужасу, я в каждой находил некоторое удовлетворение и отклик, не скажу, своим мыслям, — какие уж могли быть тогда у меня мысли? — но отклик своим настроениям. Утром я читал у Канта о категорическом императиве — и восхищался. А вечером читал у Гегеля о том, что самое великое в истории есть торжество одной воли над другими, — и тоже восхищался.

— Разве Гегель это сказал?

— Сказал где-то. Я и теперь думаю, что это одна из самых соблазнительных, самых опасных идей в истории философских течений. Мысль эта в моей жизни сыграла немалую роль.

— Вот как?.. Значит, всеми восхищались поровну?

— И приписывал это, с отчаянием, своей поверхностности, отсутствию своеобразия мысли и недостатку аналитического дара. Каждый большой философ разрушал системы своих предшественников, и обычно разрушал мастерски. Это было в порядке вещей. Но затем, изучая последовательно разные книги одного и того же философа, я стал убеждаться, что каждый из них разрушает также и свою собственную систему. Помню свой наивный подсчет, по которому выходило, что существует пять или шесть разных Ницше и не менее четырех Кантов. Это было для меня тяжким ударом. Шефтсбери как-то сказал: «Нет лучшего способа, чем система, для того, чтобы стать дураком». Я тогда еще не знал этих слов Шефтсбери. Однако у меня смутно росла простая мысль о том, что люди не машины для выработки «твердого философского мировоззрения» и что трудно выработать твердое философское мировоззрение, когда сам человек, общий знаменатель систем, — по классическому выражению, «соткан из противоречий». Если бы я был одарен в какой-либо области искусства, я туда и ушел бы. Искусство всегда выход, оно предприятие с ограниченной ответственностью: в нем своя рука владыка. Настроен хорошо — пишешь жизнерадостную повесть, настроен плохо — пишешь безотрадную повесть, и все одинаково оправдано, лишь бы было талантливо, а уж пусть там учителя словесности разбираются и «выносят за общие скобки». Искусство беззастенчиво делает то, о чем философия не смеет и думать. К несчастью, я вполне бездарен в искусстве — при очень большой восприимчивости, особенно к музыке: ее, случалось, слушал запоем. Вот, например, вторая соната Шопена... Впрочем зачем примеры: вся музыка — сухое пьянство, циничный вызов разуму. Я думаю, что люди, к ней не восприимчивые, вообще не должны были бы заниматься никаким искусством. Не понимающие живописи могут заниматься литературой, или наоборот. Но человек, не чувствующий музыки, пусть лучше посвятит себя торговле или скотоводству. Я перешел на точные науки. Девиз Гойя: «Aun aprendo».⁵⁸

...«Как болит голова!.. От этого гнусного шума»...

— И что же дальше?

— Да что же еще? Больше ничего.

— Не может быть. По фаустовскому тону ясно: точные науки тоже вас разочаровали.

— Нет, точные науки меня не разочаровали. Мало верю в разум, но люблю его больше всего на свете. Я на своем могильном памятнике велю вырезать таблицу умножения.

— Только пусть ее на вашем памятнике провозглашает человек, стоящий вверх ногами. Значит, наука вас не разочаровала? Наверное?

— Наверное. Немного разочаровали ученые. Те, которых газеты называют «великими» «гениальными», «аристократами мысли» и т. д. На похвалы ученым газеты не скупятся: физика и химия никогда не задевают. Естествоиспытатели поэтому — как природа: их все хвалят. Эти гениальные люди меня, случалось, разочаровывали. Бывает, в своей области вправду замечательный человек, а заговоришь с ним о чем-либо другом, — Господи, какой обывательский вздор!.. Люди они, впрочем, хорошие, честные, трудолюбивые, вежливые. Думаю, что ученые в среднем по моральным качествам выше, чем политики, литераторы или артисты. Ниже, — быть может, чем так называемые обыватели, — эти, по моим наблюдениям, самые лучшие люди.

— Да ведь вы только что сами говорили об «обывательском вздоре»!

— Ну, вот и отнесите это на счет противоречий человеческой природы.

— Или насчет того, что вы «дразните собеседника», как неприступная красавица в дамском романе.

— Или насчет этого... Знаете, когда знаменитые ученые несут настоящий обывательский вздор? Тогда, когда они с глубокомысленным видом берутся за философские вопросы. А эта слабость у них есть, есть. Почти каждый известный ученый считает себя обязанным выпустить томик философских статей, какую-нибудь «науку и религию», «науку

⁵⁸ Учусь всегда (*исп.*)

и нравственность», «науку и бессмертие души». У него, наверное, в ящике отыщется несколько актовых речей или что-нибудь в этом роде. Публика это тоже чрезвычайно любит и ценит. В большинстве случаев — не всегда, разумеется, — этим томикам грош цена; что он обо всем этом знает? Он, может быть, и думать об этом стал впервые перед актовой речью. Ведь у науки с нравственностью нет ничего общего, а с бессмертием души и подавно. Я думал, что наука, создающая подлинные ценности, может заменить бессмертие души, но и это было вздором... И вот, заметьте, люди, в своей области независимые и замечательные, мгновенно поддаются влиянию среды, всех ее общих мест. Не то чтобы они хотели подольститься. Боже избави! Люди они вполне честные и искренние. А просто бессознательный обмен токов. Сам того не замечая, такой ученый преподносит публике те самые мыслишки, которых она от него просит... Есть такой рассказ, избитый, тысячу раз цитированный и скорее всего выдуманный: Наполеон будто бы разговаривал о Боге со знаменитым ученым, — обычно называют Лаланд, того, что из тщеславия ел пауков, а из любви к народу читал курс астрономии на улице толпе парижских зевак. Наполеон будто бы спросил (хоть, верно, это мало его интересовало): «Но как гипотезу, вы допускаете существование Господа Бога?». А Лаланд будто бы ответил: «Никогда не встречал надобности в такой гипотезе»...

— Разве вас такой ответ не удовлетворяет?

— Меня? О, нет, нисколько! Как — ненужная гипотеза? Напротив, самая нужная, единственная необходимая для жизни, — к несчастью, весьма неправдоподобная. Но я к тому это говорю, что Лаланд, по-моему, угадал ответ, самый удобный для его поколения, поколения бодрого, уверенного, чуть-чуть циничного. Так же всегда было у нас. В ту пору, когда у нас полагалось идти в народ, была одна такая модная научно-популярная книга: в ней, помнится, корни растения сравнивались с трудолюбивыми крестьянами, цветы с народолюбивой интеллигенцией, и цитировались Некрасовские стихи. Идти в народ предписывалось ботаникой. А еще того раньше наука строго запрещала ходить в церковь и верить в Бога. А вот теперь, увидите, она, напротив, строго предпишет и то, и другое.

— Это лишь означает, что ученые — люди своего времени. Что ж тут дурного?

— Ничего дурного... Если бы только они говорили общие места не именем интегрального исчисления. И если бы вид у них был несколько менее победоносный: вот, мол, я, такой ученый, такой гениальный, такой аристократ духа, вот, мол, что я говорю — дальше общее место. И еще если бы их философский новый год не оказывался непременно рецидивом позапрошлого года, в посрамление и назло прошлому году. Мне эти рецидивы неприятны, как сигара, раскуриваемая во второй раз. Мы-то, вдобавок, обычно раскуривали чужие, с запада завезенные сигары. В этом, впрочем, никакой беды нет: только с западом и нужен нам умственный товарообмен. Россия всегда была Европой, притом Европой первосортной. Порою она таковой везде и признавалась, и это самые блестящие периоды нашей истории, как первые пятнадцать лет прошлого века.

— Это к делу не относится.

— К какому делу?

— Но у вас-то какие-нибудь верования есть?

— Было много, осталось мало. Вот, как у того же Гойя из двадцати человек детей остался один. А ему было, кажется, совершенно все равно: он создавал ценности... Превосходно писал бой быков, развратных женщин и многое другое.

— Нравственный человек, когда же вы дойдете до настоящего?

— До какого настоящего?

— Ну, как до какого? До *дела* ... Ведь и Фауст кончает делом: болота, что ли, осушает.

— Это литературная натяжка. И никогда Фауст не мог сказать мгновению: остановись, прекрасно ты!.. Правда, он тотчас и умер.

— А все-таки, агрономия пригодились.

— Едва ли. Гете на старости лет современники уже начинали стилизовать под

олимпийскую куклу. Он на мгновение мог сам этому поддаться, хоть уж на что был и независимый, и гениальный человек.

— А если без аллегорий?.. В вас пропадает салонный конференсье на философские темы: в пять минут расправились со всеми науками.

— Довольны скорбным листком?

— Есть поучительное. Есть даже кое-что от общей болезни всей нашей интеллигенции. Немного, но есть.

— Это что же?

— Да вот то самое, что происходит на улице. Это ваше.

— Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет.

— А уж если запретить ему Богу молиться!..

«...Так это все?» — думал Витя. Он совершенно иначе себе это представлял — по книгам, по рассказам товарищей. Райского блаженства не было, но не было и ужаса, волнения, раскаяния, о которых он читал. Было очень приятно; в чувствах Вити теперь преобладала гордость: «да, стал мужчиной! Больше никто ничего не может сказать...» Кое-что было неловко вспоминать, но и то не слишком неловко: все скрашивалось тоном благодушной насмешки, в котором вела дело опытная Елена Федоровна. Было и очень смешное — когда в решительную минуту под окнами квартиры оркестр заиграл «Интернационал». Впоследствии Витя никогда не мог вспомнить музыку «Интернационала» без веселой улыбки.

«Теперь начинается жизнь, — думал Витя. — Муся? Да, конечно, я влюблен в нее. Это — только пустое похождение. Но мне несколько не стыдно смотреть в глаза и Мусе. Напротив, мне очень хочется, чтоб она об этом узнала и поскорее. Рассказать ей нельзя: в это замешан чужой секрет, даже собственно честь женщины... Моей любовницы, да, моей любовницы... Я не расскажу Мусе, это было бы очень гадко. Вот если б она узнала не от меня?.. Как же она может узнать? Браун, как назло, нас не видел... Но главное, теперь началась новая жизнь... Теперь все будет другое... Досадно все-таки, что нет смокинга», — подумал Витя, и ему стало стыдно. «Мама умерла, папа в крепости, идет революция, а у меня на уме все этот идиотский смокинг! Что, если я моральное чудовище!» — спросил он себя. На мгновение эта мысль польстила его самолюбию, потом он ее проверил и должен был от нее отказаться. «Нет, те убивают, грабят, насилуют, а я, хоть зарежь меня, на все это неспособен. Но, значит, тогда и другие люди такие же? И у каждого человека за большими событиями, за несчастьями и катастрофами, тоже торчит какой-нибудь такой смокинг или что-нибудь в этом роде?..»

Елена Федоровна, вернувшись в спальню, прервала его глубокие размышления.

— Ты был очень мил, — сказала она, глядя его по голове. — Ты далеко пойдешь.

— Правда?

В ее устах эти слова были для него то же, что для молодого офицера похвала знаменитого полководца. Витя не был самодоволен, но он чувствовал, что, независимо от его воли, самодовольная улыбка все глупее расплывается на его лице.

— Иметь детей кому ума не доставало, — сказал он, и ему стало еще веселее: ответ показался Вите очень удачным. «Вот и находчивости теперь прибавилось...» Елена Федоровна тоже засмеялась, догадавшись, что это цитата.

Вдруг за окном послышался треск. Полутемная комната ярко осветилась от взлетевших ракет. Елена Федоровна отворила окно. Сильный гул ворвался в комнату. На площади было светло как днем: жгли гидру контрреволюции. Двухголовая гидра на огромном костре изображала Клемансо и Ллойд Джорджа. Клемансо быстро сгорел, но Ллойд Джордж держался довольно долго. Толпа редела.

На Неве загремела салютная пальба. Витя у окна обнял Елену Федоровну за талию, совершенно так, как мог бы сделать человек, имеющий и смокинг, и фрак, и трость с прямой

серебряной ручкой, и удивительное пальто с пелеринкой, которое бросал в клубе лакеям молодой маркиз ди-Санта Верона. Ракеты взлетали и рвались на страшной высоте. Ллойд Джордж не выдержал, дрогнул на жерди и повалился в костер. Толпа радостно заорала. Оркестр снова заиграл «Интернационал».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Утром неожиданно пришел почтальон и принес Мусе помятую испачканную открытку от родителей из Киева. Она пришла непонятным образом, без всякой оказии, просто по почте, — правда, недели через две после отправления, кружным путем, через Германию и Швецию. Очевидно, Семен Исидорович не очень рассчитывал, что его открытка дойдет, а просто попытал счастья. Только этим Муся и могла объяснить характер письма.

«Милая, ненаглядная дочурка! — писал Семен Исидорович. — О нашем житье-бытье ты, надеюсь, все знаешь по предыдущим маминым и моим посланиям. У нас все по-прежнему, благополучны, здоровы, живем — хлеб жуем, и все было бы сносно, если б не безумная тревога наша о тебе, моя девочка, что от тебя в такое время ни слуху, ни духу. Понимаем, что это не твоя вина, никто здесь не получает писем из Питера, но нам от сего не легче, а бедная мама от волнения так измоталась, что смотреть на нее, голубушку, больно, — не спит ночами и все меня, горемычного, поедом ест, что мы тебя одну оставили...»

Открытка чрезвычайно взволновала Мусю. Она никаких писем до этого от родителей не получала, сама писала им не раз, и с оказиями, и тоже по почте, наудачу. Ни ей, ни отцу, ни матери и в голову не приходило при расставании, что они будут так отрезаны друг от друга. Муся только теперь поняла, как нежно любит родителей. Читая открытку, она вдруг прослезилась, несмотря на «дочурку», на «Питер», на «живем — хлеб жуем», на все то, что ее раздражало в отце.

— Сонечка, Витя!.. Глаша! — позвала она, вытерев слезы. — Идите скорее сюда!.. От папы письмо!

Послышались радостно изумленные возгласы. В столовой появилась, на ходу заплетая косу, Сонечка в пеньюаре, в туфлях на босу ногу, затем Витя в бархатном, волочившемся по полу халате Семена Исидоровича, перешедшем в его собственность. Муся принялась читать письмо вслух с начала. В конце открытки, где строчки теснее наседали одна на другую, сообщалось, что дела Василия Федоровича идут хорошо и что он обосновался в Киеве надолго.

— Что такое! Я никакого Василия Федоровича не знаю! — изумленно говорила Муся.

— Да, может, это не Василия Федоровича, верно вы плохо разобрали! Может, Владимира?

— Да нет же, Сонечка!.. И потом Владимира Федоровича у нас тоже никакого нет. Смотрите: ясно сказано: Василия... Ну да, Василия Федоровича... Ведь это «Ф», Витя?

Витя с недоумением подтвердил, что написано «Василия Федоровича».

— Как странно! Немецкий штемпель, — говорил он. — И смотреть неприятно.

В столовую вошла Глафира Генриховна, одетая и причесанная, как следует. Она окинула презрительным взглядом туалеты своих друзей, взяла открытку, внимательно прочла, по общей просьбе, снова вслух и категорически заявила, что все они дураки, — ребенок должен бы понять, в чем дело: под Василием Федоровичем разумеется Вильгельм, а означает это, что немцы из Киева не уйдут.

— Господи! Ну да, конечно!

— Разумеется, Вильгельм! Как мы не догадались!

— Потому и не догадались, что дураки.

Витя критически заметил, что Семен Исидорович уж очень шутливо говорит о таком

тяжком для России деле, — поэтому-то мы и не догадались. Но замечание Вити сочувствия не встретило.

— У вас, голубчик, что оторвано ядром на фронте, рука или нога? — язвительно осведомилась Глафира Генриховна.

— На фронт я попасть не мог, меня не призывали и не взяли бы, — ответил Витя, покраснев. — В момент объявления войны мне не было пятнадцати лет.

— И пятнадцатилетние убегали из дому, которые похрабрее... А теперь вам, балбес, слава Богу девятнадцатый... Никто от вас не требует, чтобы вы скакали на фронт отбивать у немцев Киев, но тогда по крайней мере молчите и не лезьте! А главное, продирайте глаза пораньше и не выходите к дамам в десять часов в чужом халате. Глафира Генриховна благодушно щелкнула Витю по носу.

— Чай, чай пить, господа, — сказала она. — Будут свежие лепешки. Сахар я достала. И масла есть немного.

— Не может быть!

— Глаша, вы гениальны!

— Да, я гениальна. Только, друзья мои, Лессинг наш на исходе, — сказала смущенно Глафира Генриховна. — Скоро придется лезть в Шиллера, а потом и под паркет... Да...

Все вздохнули.

Деньги, оставленные Мусе Семеном Исидоровичем, были тщательно спрятаны. Вопрос о тайниках перед отъездом Кременецких долго обсуждался на семейном совете. Муся хотела спрятать все в пианино. Семен Исидорович находил, что это слишком элементарно, — уж в пианино большевики непременно заглянут в случае обыска. Тамара Матвеевна предлагала поднять в гостиной под ковром квадратик паркета. Кременецкий возражал и против этого: Мусе трудно будет поднимать всякий раз квадратик, да и щель непременно станет заметной, если часто его поднимать. Решено было разделить деньги на пять частей. Одну положили под паркет вместе с ожерельем Муси, другую засунули в коридоре за отклеившиеся у печки обои; для третьей придумал место Семен Исидорович: он положил пачку ассигнаций под подушку в своей спальне! им никогда и в голову не придет, что деньги могут быть так плохо спрятаны. Семен Исидорович гордился этой своей выдумкой; Тамара Матвеевна слабо возражала: кухарка заметит, — но оценила тонкий психологический расчет мужа. Остальные деньги решено было вложить в книги, именно в сочинения немецких классиков, которые Семен Исидорович вывез в молодости из Гейдельберга. Эти книги едва ли могли понадобиться большевикам и в случае реквизиции библиотеки. Выбор остановился на третьем томе Лессинга и на пятом томе Шиллера.

— Вот увидите, я все это пере забуду, — говорила, смеясь, Муся, — и через сто лет кто-нибудь найдет клад.

— Мусенька, пожалуйста, не шути, а запомни хорошо: Лессинг третий и Шиллер пятый, — говорила Тамара Матвеевна, бодрясь и вытирая украдкой слезы. Она перед отъездом плакала беспрестанно. Мысль о разлуке с Мусей вызывала в ней все больший ужас. А когда говорили о возможности обыска, у нее кровь отливала от лица.

В пяти тайниках было оставлено столько денег, что, казалось, на год хватит. Однако после отъезда родителей деньги Муси стали таять чрезвычайно быстро. Цены на все головокружительно росли с каждым днем, а кормить надо было с кухаркой пять человек, не считая гостей, которые беспрестанно бывали в доме и проявляли необыкновенный аппетит. Глафира Генриховна старалась сокращать расходы, но Муся вначале ни о какой экономии не хотела слышать.

— Не могут выйти все деньги, вздор! — говорила она. — А выйдут, так папа вышлет еще.

Сонечка и Витя сконфуженно молчали: им было совестно, что они не участвовали в расходах. Местонахождение тайников — было, разумеется, им известно, как и всем членам

кружка; его скрывали только от кухарки, относительно которой мнения расходились: одни говорили, что кухарка безусловно преданна, — в огонь и воду пойдет; другие опасались: и в преданной прислуге может сказаться большевистская стихия.

Когда вышли деньги, сданные Глафире Генриховне, первым делом взяли из того тайника, которым так гордился Семен Исидорович, — это было всего проще. Потом заглянули и в библиотеку. Между тем из Киева получить деньги было, очевидно, невозможно. Муся немного встревожилась.

— Ну, в крайнем случае возьму у Вивиана. У него валюта, фунты, — утешала она своих гостей. Это слово «валюта» уже начинало принимать волшебный характер.

В июне кухарка ушла, нагрубив Глафире Генриховне и захватив с собой деньги, тщательно скрытые за обоями в коридоре. В первый день это показалось всем катастрофой; Сонечка предлагала даже заявить в уголовный розыск: «Нельзя же так в самом деле и ведь, наконец, должны же они...» Сонечке не дали докончить, облив ее презрением.

Глафира Генриховна взяла на себя кухню и справлялась с задачей, по общему восторженному отзыву, превосходно. Муся, Сонечка, Витя наперебой с сочувственным ужасом предлагали ей свою помощь, однако не настаивали, когда она выгоняла их из кухни. Им велено было только самим убирать постели и держать в порядке свои комнаты; Витю Глафира Генриховна вдобавок посылала иногда за покупками.

В особенно трудных работах, как общая большая уборка, Глафире Генриховне обычно помогала Маруся, бывшая прислуга Яценко. Она по-прежнему жила на квартире Николая Петровича. Об этой квартире, после второго, тщательного, обыска, следственные власти, по-видимому, забыли, и в ней ничего не изменилось. Маруся поддерживала порядок (даже иногда подметала полы) и вещей не продавала. Для заработка она стала прачкой: стирала белье дома, в ванной, и гладила на большом столе Натальи Михайловны. Жилось ей в общем хуже, чем прежде, но ее общественное положение повысилось.

Клиенты у Маруси были разные. Через своего друга матроса, состоявшего видным членом клуба анархистов-индивидуалистов, Маруся завела связи в этом клубе. Главные заказы шли от барышень Кременецких, — так она для краткости обозначала Мусин кружок, — и от их знакомых. Барышнин жених доставил Марусе клиентов из английской военной миссии; это были самые лучшие ее клиенты и по плате, и по качеству белья, на которое Маруся не могла налюбоваться вдоволь.

С барышнями Кременецкими отношения у Маруси были самые лучшие: она часто к ним приходила то для уборки, то с бельем, то просто так, обменяться впечатлениями; ее всегда встречали очень хорошо, здоровались за руку, поили чаем и сажали за общий стол даже тогда, когда были гости. От этого, впрочем, Маруся часто по скромности уклонялась сама, однако ценила завоевание революции. И барышни, и гости разговаривали с Марусей очень просто и дружелюбно. Только майор Клервилль, оказываясь иногда с ней за общим столом, испытывал такое чувство, будто рядом с ним пила чай корова, каким-то образом попавшая сюда из стойла. Впрочем, он приветливо улыбался и старательно делал вид, что все в порядке, — Маруся (как все, кроме Муси) его чувства не замечала. Барышнин жених чрезвычайно ей нравился. «Красивый дядя», — думала и говорила она.

Несмотря на помощь Маруси, Глафире Генриховне приходилось работать очень много. Все оценили ее самопожертвование. Никонов где-то раздобыл и принес ей в подарок старую поваренную книгу. Из книги тут же вслух было прочтено несколько рецептов, и в столовой стоял веселый смех, когда Глафира Генриховна сдержанно-саркастически читала: «Индейка пожирнее фаршируется по вкусу трюфелями...» — или: «Стерлядь кольчиком хорошо отлить соусом, для которого берут десяток яичных желтков...» и т. п.

— Как пили, как ели, а какие были отчаянные либералы, — говорил Никонов.

II

Несмотря на лишения, на тяжелую жизнь в Петербурге, на отсутствие развлечений,

молодежи было теперь очень весело, в сущности, гораздо веселее, чем прежде, до отъезда Кременецких. Муся беспокоилась о родителях, — случалось, плакала, — однако ее радовала непривычная, тревожная жизнь, с новой ролью директрисы пансиона. Сонечка освободилась от опеки старшей сестры, жила у Муси и работала в кинематографе с Березиным, — больше ей ничего не было нужно. Глафира Генриховна, по общему отзыву, стала неузнаваема: весела, добра и приветлива. Еще сама не веря своему счастью, она видела, что Горенский привязывается к ней с каждым днем все крепче. Князь бывал у них теперь очень часто. После первого мая он оставил службу в коллегии, шутливо называл себя безработным, однако, был занят в последнее время больше, чем прежде, одевался заботливее и повеселел. Наконец, и Витя поддавался общему тревожному веселью, хоть у него собственно ничего радостного не было. Его мучили и страх за Николая Петровича, и угрызения совести: он ничего не делал ни для отца, ни для России.

Попытки Вити получить свидание с Николаем Петровичем ни к чему не привели. Все ему говорили в один голос: «Знаете, тут что-то не так, — *они* обычно легко разрешают свидания». Но указания, этим и ограничивались. Прежде, при старом строе, нашлись бы связи, протекции. В большевистском мире никто никаких связей не имел, по крайней мере в кругу Вити и Кременецких.

В Тенишевском училище занятия шли очень плохо: большинство воспитанников не ходило на уроки. Говорили, что всем выдадут аттестат зрелости без экзаменов. После отъезда Кременецких перестал ходить в училище и Витя, оправдываясь перед старшими тем, что там все равно теперь не учатся и что учебный год почти кончился. В действительности он очень обленился, вставал в десятом часу, а то и позже. Муся постоянно читала ему нотации. В одно июньское утро, глядя, как Витя без дела слоняется по квартире, Муся решительно от него потребовала, чтобы он учился.

— Да ведь учебный год кончился...

— Какой вздор! Никакого учебного года у вас не было. И не читаете вы почти ничего. Вы должны заниматься, Витя. И не улыбайтесь, пожалуйста, я очень серьезно с вами говорю.

— Чем же мне заниматься?

— Все равно, чем... Вы хотите поступить на физико-математический факультет, значит, надо изучать физику и математику.

— Я в университете займусь химией.

— Отлично, так вот и занимайтесь химией теперь, до университета.

— А лабораторию где прикажете взять?

— Лабора... Гадкий мальчик, вы пользуетесь тем, что я ничего в этом не понимаю и не могу вам ответить. Я уверена, и химией можно заниматься дома, по книжкам... Ведь правда?

— Можно, конечно, но ведь и книг у вас нет. У Семена Исидоровича все по юриспруденции.

— Ничего, ничего, я достану для вас и книги... Да вот что, — сказала она, внезапно осененная счастливой мыслью. — Ведь Александр Михайлович должен все это великолепно знать...

— Какой еще Александр Михайлович? — лениво отозвался Витя.

— Браун, конечно... Ведь он гениальный химик. Ну, теперь попались! Сегодня же извольте идти к Брауну и попросите его объяснить вам, что вам надо читать и где достать книги.

— Как же я к нему пойду? Он меня почти не знает. Шапочное знакомство...

— Шапочное знакомство, — передразнила Муся, — Все, чтобы увильнуть от ученья! Ничего вам не поможет, я сама сегодня же позвоню к Брауну и попрошу его вас принять, несмотря на «шапочное знакомство».

— Да я ничего против этого не имею...

— Хотя бы и имели...

Когда Витя, Сонечка, Глаша ушли из дому, Муся — не без волнения — позвонила Брауну. Телефон действовал хорошо, и уютные долгие разговоры в кресле были у Муси

последним остатком прежних привычек. Однако разговаривать теперь можно было только с Клервиллем, — все остальные ее друзья постоянно куда-то торопились, так что разговор с ними не клеился. Многие не имели больше телефона.

Браун согласился принять Витю, обещал дать книги и назначил для этого вечер в начале следующей недели.

— Ах, я так, так вам благодарна, — бархатным голосом, с театральными переливами, говорила Муся. — Вы непременно хотите вечером, Александр Михайлович?

— Да, днем я занят. Этому молодому человеку вечером неудобно?

— Нет, не то, но, правду сказать, я не очень люблю, когда он теперь выходит по вечерам... Ведь он, собственно, еще почти ребенок. А я при нем теперь как бы классная дама. Не смейтесь только вашим дьявольским смехом, Александр Михайлович, — говорила Муся, сама удивляясь и своим словам, и развязному тону. — Разумеется, он придет, когда вы укажете. В понедельник вечером, отлично...

— Если хотите, я могу принять его и утром, но тогда рано, часов в восемь. Я в девятом часу ухожу из дому и возвращаюсь только к вечеру.

— Ах, спасибо, это еще любезнее! Насчет книг вы можете быть совершенно спокойны, он будет читать очень аккуратно... А отчего бы вам, Александр Михайлович, не заглянуть как-нибудь и к нам? — набравшись храбрости, спросила Муся. Собственно для этого она полусознательно предназначала и весь разговор, и переливы голоса, и даже самое дело Вити. — Увидите нашу коммуны, навестите чуткую молодежь... Наш друг Клервилль ведь давно хочет вас к нам привести...

— Благодарю вас, я как-нибудь зайду... У ваших родителей все благополучно?

— Да, все совершенно благополучно, но я так, так беспокоюсь!.. Спасибо... Это ужасно!.. — сказала, вдруг потеряв соображение, Муся (она потом сама не могла себе объяснить, почему собственно так волновалась). — Да знаете ли что, Александр Михайлович? Вот и приходите к нам в понедельник вечером, если уж оказалось, что вы свободны... Ага, попались? — совершенно растерявшись, говорила она все более развязным тоном. — Майор Клервилль тоже будет, он давно вас не видал и очень по вас скучает, очень, как мы все, как я в частности...

Браун поблагодарил довольно холодно.

— Тогда и Вите, значит, не надо к вам идти... *Cela vous pargnera le temps qui est si précieux...*⁵⁹ Или нет, простите, ради Бога, я забыла, ведь он должен взять книги... Он, конечно, зайдет, — быстро и бессвязно говорила Муся. — В какой день прикажете?

— Если утром, между восемью и половиной девятого, то в любой день.

Муся рассыпалась в любезностях. Наступило недолгое молчание. Она простилась и положила трубку аппарата в совершенном ужасе. «Что это со мной! точно затмение нашло!..» — подумала она, разрывая на мелкие кусочки какую-то лежавшую на столе бумажку (потом оказалось, нужную: счет). Муся почти никогда не сожалела о сказанных ею словах, в уверенности, что у нее все выходит очень мило, при улыбке и переливах голоса. Но в этот день лицо у нее не раз дергалось, когда она вспоминала «дьявольский смех», «ага, попались?», зачем-то по-французски сказанную фразу, и продолжавшееся полминуты молчание в конце разговора. Вечером, к чему-то придравшись, Муся назвала Витю глупым мальчишкой и сказала, что его надо драть за уши.

III

В воскресенье Глафира Генриховна с утра чувствовала себя не совсем хорошо. Тем не менее она встала и принялась за работу в девятом часу, когда все в доме еще спали. К одиннадцати чай и обед были ею приготовлены, стол накрыт, общие комнаты убраны, а сама

⁵⁹ Это вам сбережет время, которое так дорого... (фр.)

Глаша, как всегда, аккуратно одетая, умытая, причесанная, вышла в столовую, точно и не заглядывала на кухню. Однако ее измученный вид обратил внимание друзей. У них заговорила совесть.

— Глаша, милочка, вы бы отдохнули, благотельница наша, — подольстилась к Глафиге Генриховне Сонечка, которая в воскресенье на работу не ходила.

— «Благотельница наша...» — спела Муся из «Пиковой дамы». — «Отдохни, отдохни».

— Отдохните, Глашенька, милая...

— Вот еще. Что за нежности!

— У тебя и вправду усталый вид, — сочувственно сказала Муся. — Или голова болит?

— Да, немножко... И горло... Пустяки.

— Это надо уметь: простудиться в июне месяце, — наставительно заметил Витя. Глафига Генриховна, по привычке, хотела его ругнуть, но вдруг закашлялась, притом неприятно-тяжело, так что друзья даже переглянулись. Муся предложила вызвать доктора. Витя рекомендовал Кротова. Глафига Генриховна только сердито посмеялась.

Во время обеда все усердно ей помогали. Глаша чистила на кухне селедку, жарила бифштексы и картофель, резала хлеб. Но когда она с блюдом в руках выходила из кухни, Витя бросался ей навстречу в коридор и на полдороге пытался взять у нее блюдо.

— Дайте мне, ради Бога!.. Я понесу...

— Витя, отстаньте, вы только мне мешаете... Ну, так и есть, чуть все не уронила! Отстаньте, говорю вам!

— Но ведь вы нездоровы, зачем же вы все делаете?.. Дайте мне...

— Ничего, как-нибудь донесу без вас. — Глафига Генриховна, по старой привычке, попыталась уничтожить Витю взглядом. Уничтожающий взгляд отлично у нее выходил. Но уничтожить взглядом человека, держа в руках блюдо с селедкой, не может никто, — Витя остался цел.

В столовой Сонечка деловито раскладывала перед тарелками ножи и вилки. Когда эта работа была ею сделана, оказалось, что ножи и вилки не те, — она взяла настоящее серебро. Глафига Генриховна демонстративно вздохнула, подняв к потолку глаза, тотчас все уложила назад и достала из другого ящика «накладное». Ее молчание было грозно. Муся, удерживаясь от смеха, говорила сконфуженной Сонечке:

— Стыдно, моя милая, стыдно! До сих пор не знаете, где что лежит. Это, как говорит Никонов, наше фамильное серебро. Папа его купил лет десять тому назад.

После обеда Глафиру Генриховну уговорили прилечь, на ней лица не было. По настоянию Муси, решено было позвать доктора. «Ты можешь еще всех нас заразить!» — говорила Муся, делая страшное лицо. Против этого довода Глаша ничего возразить не могла, хоть понимала, что это говорится нарочно. Однако пользы от врача оказалось немного. Кротов, очень одряхлевший в последний год, просидел у них целый час, замучил Глафиру Генриховну, всем надоел и ничего путного о болезни не сказал, — прописал какие-то старые лекарства, которых в аптеках давно не было, и велел пить чай с малиной, — малину тоже достать было невозможно. Он утратил и свой прежний бодрый тон, так успокоительно действовавший на пациентов, сам больше не щеголял крепостью и Вите не посоветовал заниматься гимнастикой.

— Но это не заразительно, доктор? А то я сейчас же перееду в больницу, — говорила Глафига Генриховна, строго глядя на Мусю.

— Какая ерунда!.. Так мы тебя и отпустим.

— Какие теперь больницы! — саркастически ответил Кротов. — Вот до чего дожили, а?

Он заговорил о политике, преимущественно перечисляя людей, которых непременно следовало бы повесить. Сначала его слушали, но список подлежащих казни был такой длинный и такой неожиданный, что всем стало совестно. «Уведи ты его, ради Бога! — с умоляющим выражением на лице шепнула Мусе Глафига Генриховна. — У меня от этого,

вздора голова болит». Доктора повели пить чай. Он с жадностью выпил два стакана, с жадностью ел и все говорил без умолку.

— Я говорю, мерзавец на мерзавце! Надо вырезать всех... — сказал он, с трудом жуя печенье шатавшейся вставной челюстью, оглянулся и не закончил. Витя смотрел с жалостью на этого человека (он помнил доктора с раннего детства). Волосы у него над впалыми висками были непричесаны, сапоги нечищенные, воротничок надорванный и грязный. Витя подумал, что верно Кротов умрет раньше, чем все его пациенты и чем мерзавцы, которых он хотел вырезать.

После ухода доктора все вздохнули с облегчением. Дамы набросились на Витю, — его впрочем, принято было за все бранить в доме. Нездоровье Глаши было признано пустяковым и по отношению к ней взят был такой тон, будто она притворялась больною. Глаша сама невольно поддавалась этому тону и только жалобно просила, чтобы ее оставили в покое.

— Ведь я говорила, не надо звать доктора.

— Кто же мог знать? Мы думали, у тебя сыпной тиф, — разочарованным тоном говорила Муся. — И кто мог предвидеть, что у Вити и доктор окажется рамоликом.

— Уверяю вас, он еще в прошлом году был прекрасный врач, — оправдывался Витя.

— Молчите. За лекарствами вы пойдете...

Сонечка вышла из комнаты Глаши с таким видом, точно ее понапрасну задержали, оторвав от важного дела ради пустяков. Она прямо направилась к телефону: Сонечка постоянно телефонировала, — «в студию», — поясняла она необыкновенно значительным тоном. Витю Муся послала за покупками. Вечером должны были прийти Клервилль, Никонов, Горенский, и для гостей нужно было приготовить угощение. Муся сказала, что видела у Городской Думы на лотках пирожные, как будто вполне приличные. Она дала Вите денег, — он покраснел: обыкновенно деньги на покупки выдавала ему Глаша; тогда не было стыдно.

Сонечка поговорила по телефону и ушла из дому, десять раз расцеловавшись с Мусей, что у них теперь стало ритуалом при всяком расставании, хотя бы на полчаса. Муся осталась в гостиной одна. Устроившись в кресле, она лениво взяла со стола «Знамя труда», — там была напечатана поэма «Двенадцать». Об этом произведении у них шли оживленные споры. Березин говорил, что поэма Блока «сверхъестественно-гениальна», Сонечка горячо его поддерживала. Горенский и Глаша утверждали, что поэма отвратительна, что о ней просто гадко думать. Муся и Витя приняли среднюю формулу: «Кошунственно, но изумительный талант».

Муся пробежала несколько строф, — те, которые обычно декламировал Витя, знавший «Двенадцать» почти наизусть. Она подавила зевок: все это было хорошо, но не имело ровно никакого отношения к ее жизни. Муся и в «Войне и мире» обычно пропускала войну, — зато сцену в Мытищах, поездку ряженных, описание петербургского бала перечитывала сто раз. «Разве Толстого взять? Уютное... Охота, гумно, Пава? Нет, мне-то что? я не помещица... Да и далеко: у мамы на верхней полке...» В доме были три библиотеки. В кабинете Семена Исидоровича находились ученые и мрачные книги. У Тамары Матвеевны в гостиной и в будуаре были поэты, старинные издания Пушкина — одно очень дорогое, — труды по истории искусства, все в красивых, тисненых золотом, переплетах, по два рубля и два с полтиной за переплет (лишь старинные издания Пушкина были в «переплетах эпохи», — все, как полагается). Библиотека Муси не хранилась, а валялась. — Муся прятала только книги очень легкомысленного содержания. «Не стоит идти за уютным, и не до того теперь. Вот Блок, пожалуй, подходит...» Она сделала над собой усилие и принялась читать с начала. «Нет, это очень хорошо, — подумала Муся. — Только все-таки я тут при чем? Скоро уедем в Англию, там даже говорить об этом будет не с кем... „Поддержи свою осанку, над собой держи контроль...“ Да, очень, очень хорошо... Говорят, он слышит какую-то музыку революции. А Сонечка говорит, будто она теперь чувствует, что летит куда-то на крыльях... И Березин тоже летит... Отчего же я никуда не лечу и ничего такого не чувствую? Березин врет, конечно, но ведь Александр Блок не врет...» Муся увлекалась Блоком, видала его и, как

все, восторгалась его красотой. Мнение человека с таким лицом имело для нее большое значение; однако в ней все происходившее в России особого экстаза не возбуждало. «Да, огромные, грандиозные события, но события были еще грандиознее четыре года тому назад, мы привыкли и, право, хорошего понемножку... Притом, эта проза, эти вечные нестерпимые разговоры об еде!.. А что же Глаша? Надо ее проведать...»

Муся отложила «Знамя труда» и прошла к комнате Глафиры Генриховны. У порога она послушала, затем тихонько отворила дверь. Глаша спала. В ее комнате был совершенный порядок. Слегка пахло хорошими духами. Постель с белоснежными подушками была постлана образцово, точно стлала лучшая горничная, — не то, что у них у всех. Глаша лежала на кушетке, в чистеньком нарядном пеньюаре, в шелковых чулках; ровно приставленная одна к другой туфельки стояли на полу у кушетки. «Нет, она молодец... И похорошела, право», — с легким вздохом подумала Муся, уже почти примирившаяся с мыслью, что Глаша может выйти замуж за князя Горенского. С тех пор, как она с этой мыслью примирилась, ей стало спокойнее. В разговорах с князем Муся теперь не упускала случая лестно отозваться о Глафире Генриховне. В первый раз она это сделала с усилием, потом пошло гораздо легче. «Все-таки, может, он на ней и не женится», — сказала себе Муся и, еще раз взглянув на бледное лицо Глаши, вышла на цыпочках из комнаты. «Хоть бы скорее пришел Вивиан», — подумала с тоскою Муся.

Она постояла у окна, опершись на подоконник. Муся думала о том, что Клервилль все-таки ведет себя с ней не совсем хорошо. «Он не должен был бы уезжать так часто... Ну, допустим, это не от него зависит, хоть, верно, можно было бы устроиться так, чтобы его не посылали постоянно то в Москву, то в Вологду, то еще куда-то. Но уж во всяком случае мы прекрасно могли бы обвенчаться и до конца войны... В сущности, мама — бедная — вполне права... Зачем мы тут сидим? Чего ждем? Если б мы обвенчались, мы могли бы уехать за границу хоть завтра, вполне легально и спокойно... А с ними что я тогда сделаю? Все-таки это было легкомысленно, что я поселила их всех здесь... Витя, я понимаю, ему и деться некуда было. Но другие... А, может быть, это и есть настоящая жизнь и лучше мне никогда не будет?» — спросила себя Муся. Она, в последнее время сама себя не понимала. — «Влюблена в Вивиана? Да, конечно... Конечно, влюблена... Однако, если б он не был вдобавок и блестящей партией, я, быть может, еще подумала бы... Стыдно, очень стыдно, но подумала бы... Чего же я хочу? Что мне нужно, кроме богатой, свободной, удобной жизни (это нужно наверное)? И, главное отчего мне скучно, скучно и с ним (да, что ж себя обманывать?), скучно даже тогда, когда как будто весело, и уж всегда после того, как было весело? Такая ли я сложная натура или, напротив, совсем несложная, без настоящей внутренней жизни?» Муся вспомнила слова, как-то сказанные при ней Брауном: «У большинства людей нет вообще психологии: у рядовых женщин нервы, у рядовых мужчин элементарные ощущения, все густо политое притворством и тщеславием, — в сущности романистам и доискиваться не до чего, если они не занимаются выдающимися людьми». (На это Горенский ответил: «Ну, настоящий романист и в самом обыкновенном человеке сумеет показать сложную душу человеческую»). — «Да, может быть, Браун прав, я рядовая женщина и за душой у меня нет ничего... Вот он! Слава Богу!» — вслух сказала Муся со счастливой улыбкой. На противоположном тротуаре показался Клервилль. — Чудо, как хорош! Я не видала красивее человека. И не все ли мне равно, что будет с Глашей, что будет со всем миром, если он мой! Все вздор, о чем я только что думала!..»

С Клервиллем стоял другой человек, тоже очень высокий, тонкий, прекрасно одетый. И по его наружности, и по тому, как он разговаривал с ее женихом, Муся видела, что это англичанин. «Удивительная, однако, порода, лучше нигде нет, — подумала она. — Что-то в них есть общее. Нет, право, они даже похожи немножко один на другого, только: мой лучше, и тот брюнет... Мой-то, однако, не очень ко мне спешит...» Муся и про себя, и в разговорах с друзьями часто называла Клервилля «мой». Это купеческое или простонародное слово доставляло ей наслаждение. — «Долго ли они еще будут разговаривать? Хоть бы на окно, разиня, попробовал взглянуть... Что это в самом деле такое?»

Клервилль весело засмеялся, другой англичанин тоже. Они пожали друг другу руки и расстались. Клервилль вошел в дом.

Муся выбежала в переднюю. Когда раздался звонок, она открыла дверь и тотчас ее захлопнула. Он засмеялся. Муся впустила Клервилля — и вдруг бросилась ему на шею.

— Кто это был с тобой? — по-французски, чтоб говорить на ты, спросила Муся.

— Вы были у окна? — сказал он по-английски. — Я не видал вас... Это мой приятель капитан Кроми, наш морской агент, очень замечательный человек... Ваших друзей нет дома?

— Сейчас все появятся... Если ты так желаешь их видеть!

— У вас вечером будет еще гость, доктор Браун. Я условился по телефону встретиться с ним здесь... Вы разрешите?

Муся неподвижным взглядом смотрела на него в упор.

— Надеюсь, вы ничего против этого не имеете? Он говорил мне, что вы его приглашали...

— Я очень рада, — проговорила медленно Муся. — Больше ты никого не звал? Может, тебе было бы приятно, чтоб нас развлекало еще несколько человек.

Он опять засмеялся.

— Так вы стояли у окна? Как же я вас не видел?

— Tu dois être myope, pauvre chéri. Ce sera commode, pour te faire coci...⁶⁰

Клервилль улыбался не совсем естественно. Он все не мог привыкнуть к тону Муси.

— Ne t'en fais pas, chéri. Ce n'est ni pour aujourd'hui, ni pour demain. C'est pour plus tard.⁶¹

IV

Вначале все сидели в слабо освещенной комнате Глафиры Генриховны. Она чувствовала себя лучше и обещала выйти к чаю. Но разговор вокруг кушетки не клеился. Муся с Клервиллем исчезли первые. Витя стал сразу мрачен, как туча. Скоро ушел к себе в комнату и он. Затем Сонечка объявила, что хочет еще раз *просмотреть* завтрашние сцены для фильма (это значило сыграть их перед зеркалом). С Глашей остались только Никонов и Горенский. А еще через несколько минут вышел с многозначительной улыбкой Никонов, за порогом приложив палец к губам, — об увлечении князя Глашей уже говорили в кружке с изумлением, и все теперь вели себя по отношению к ним так усиленно тактично, что выходило несколько бестактно.

Муся вскоре вошла с Клервиллем в гостиную, зажгла свечи и села за рояль. Тотчас на цыпочках появилась Сонечка, на ходу поцеловала тихонько сзади в шею Мусю, которая только плечами повела, — и забралась на диван, поджав под себя ноги. За ней неслышно вошел и Витя. Он сел на пуф в темном углу гостиной и со счастливым лицом слушал Мусю. Пришел и князь. Глаша отослала его из своей комнаты, сказав, что оденется и тоже придет в гостиную.

Клервилль сидел на стуле рядом с Мусей, закрыв глаза и сияя гордой улыбкой. Он не имел слуха, плохо помнил слышанное и ничего голосом воспроизвести не мог. Мусе казалось, что ее жених вообще не музыкален. Однако он обо всем новом в музыке слышал и читал больше, чем Муся, и чрезвычайно бойко говорил об Арнольде Шенберге, несколько щеголяя тем, что отдает должное немецкой музыке, как если бы никакой войны не было. Однажды он с огорчением принес Мусе известие, что сэр Губерт Парри очень болен и,

⁶⁰ Ты, должно быть, близорук, бедненький. Тем удобней будет наставлять тебе рога... (фр.)

⁶¹ Не делай этого, дорогой. Ни сегодня, ни завтра. Отложи это на более позднее время (фр.)

по-видимому, долго не протянет, — Муся о таком композиторе и не слыхала; она даже не знала, что в Англии существуют композиторы, и так и сказала жениху. Это немало его обидело.

В передней раздался звонок, Витя на цыпочках вышел из гостиной. Муся знала, что это Браун. Ее смущение после того телефонного разговора ослабело, но не прошло. «Перестать играть?.. Нет, не надо», — решила она. Полированная доска рояля между подсвечниками отразила фигуру Брауна. Муся, улыбаясь, продолжала играть еще с полминуты, затем захлопнула крышку и, быстро повернувшись на вертящемся стуле, встала. Ей показалось, что Браун стал еще бледнее. «Но глаза как будто оживленнее, чем прежде... Удивительные у него глаза!» Витя прибавил света в люстре. Все запротестовали.

— Не надо!.. Не надо...

— Так было отлично...

— Пожалуйста, продолжайте играть, — сказал, здороваясь, Браун.

— Конечно, продолжайте, Мусенька!

— Голос из провинции: «Конечно, продолжайте, Мусенька», — передразнил Сонечку Никонов.

Муся, улыбаясь, разговаривала с Брауном. «Ну вот, отчего же я волновалась! Он очень любезен, и ничего страшного тогда не произошло», — думала она, говоря так же спокойно, мило и уверенно, как всегда.

— ...Да, представьте, только одна открытка за все время! Это удивительно! Но все, слава Богу, благополучно... Ну, а вы как? Я так рада... Ведь вы всех здесь знаете, Александр Михайлович? По крайней мере, больших... Это Сонечка Михальская, наша будущая Франческа Бертини. А это тот юноша, из-за которого я вас потревожила, Виктор Яценко...

— Мы, кажется, познакомились на юбилее вашего отца.

— Да, в самом деле... Как странно вспоминать теперь то время, не правда ли? Сейчас мы угостим вас чаем. Витя, возьмите хозяйство на себя.

— Но, я надеюсь, вы будете играть дальше?

— Мусенька, продолжайте, умоляю вас. Вы никогда тан не играли.

— Полноте, Сонечка... Вы должны знать, Александр Михайлович, я играю выразительно, но скверно.

— Мне мистер Клервилль, говорил, что вы превосходно играете.

— Очень превосходно, — подтвердил Клервилль.

— Некоторое пристрастие ко мне допустимо в мистере Клервилле, — смеясь, сказала Муся. Она заставила себя просить ровно столько, сколько было нужно, и снова села за рояль. Витя убавил света. Все заняли места. Сонечка опять поджала под себя ноги на диване. — «Что бы такое?..» — спросила Муся и начала вторую сонату Шопена, которую играла без нот. Ей хотелось сыграть фразу «Заклинания цветов», но с этим точно связывалось что-то непристойное. Браун сидел сбоку, — она, играя, могла его видеть. Мусе показалось, что он вдруг изменился в лице. «Нет, это верно свет так падает... В сущности, он почти стар и некрасив, особенно рядом с моим. Но что-то такое в нем есть... Да, ток какой-то... Вероятно, он знал сотни женщин на своем веку, это всегда чувствуется... Глаза у него сумасшедшие, это Григорий Иванович правду говорил... Но как в конце концов это глупо: любить по-настоящему одного и волноваться при виде другого... Кажется, я в ударе... Сейчас марш:...» — Она напрягла внимание и сыграла похоронный марш прекрасно. Когда Муся кончила, раздалось рукоплескание.

— Какой чудесный марш! — сказал Горенский. — Заигранный, но чудесный!

— Ничем веселее, Мусенька, вы не могли нас развлечь. Спасибо, дорогая, — откликнулся Никонов.

— Да что же другое теперь играть? Траур по родине, — мрачно возразил Витя.

— Только, пожалуйста, не хороните Россию, — проворчал Никонов. — Бог даст, нас переживет, голубушка.

Браун ничего не сказал. Это немного задело Мусю. Она чувствовала, что играла очень

хорошо.

— Вот я вас развеселю, Григорий Иванович, — сказала она и, повернувшись на стуле к роялю, заиграла вальс из «Фауста».

— Молодежь просят танцевать... Витя, откройте бал.

Несмотря на траур по родине, Витя пошел танцевать с Сонечкой вальс. На третьем туре, проходя мимо рояля, Сонечка оттолкнула Витю, быстро опять на ходу поцеловала Мусю в волосы и, вскинув руку на плечо Клервилля, продолжала вальс с ним. В гостиной стало очень весело. Муся вдруг перешла на «Заклинение цветов». E uoi — o fiori — dall'olezzo sottile — vi — faccia — tutti — aprir — la mia man maledetta...» — чуть слышно пела она, вызываясь глядя на Брауна, который улыбался разочарованной Сонечке. Муся от музыки пьянела, как от вина. Витя смотрел на нее печально. Он вспомнил об отце. Ему стало совестно, что он мог танцевать.

Блеснул свет, на пороге показалась Глаша. Ее встретили рукоплесканиями.

— Слава Богу!

— Мы соскучились!

— Господа, пожалуйста чай пить, — говорила Глафира Генриховна, приветливо здороваясь с Брауном.

К чаю со скудной закуской были поданы коньяк и портвейн: спиртных напитков у Кременецких осталось еще немало, — Семен Исидорович как раз перед войной обзавелся «погребом». Глафира Генриховна занимала гостей приличным разговором. Клервилль попросил разрешения уединиться с Брауном, — им надо побеседовать по делу. Муся отвела их в будуар и отнесла им туда коньяк и рюмки.

Разговаривали они долго и вернулись из будуара, как показалось Мусе, не совсем довольные друг другом. «Какие это у них могут быть дела?» — с любопытством спросила себя Муся.

— Коньяк, видно, для тех, кто почище, — сказал Мусе ее сосед Никонов.

— Ах, бедный!.. Где же он, коньяк?.. Да, я оставила его в будуаре. Сейчас принесу.

— Зачем же вы сами? Я схожу, — начал было Никонов. — Или Витя...

— Я сейчас сама принесу, чтобы вам было стыдно, — повторила Муся, вставая. Ей было неприятно, что другие посылали с поручениями Витю. К некоторому удивлению Муси, только что откупоренная бутылка оказалась наполовину пустою. «Молодцы пить *мои* », — подумала Муся, с непонятной радостью улыбаясь этому множественному числу. Вызывающее настроение в ней все росло. Она остановилась на пороге столовой. Клервилль оглянулся на Мусю, сияя своей скульптурной красотой. Мусе захотелось его расцеловать опять. «Конечно, его одного люблю, его и больше никого!» — подумала она.

— ...Возьмите учебник истории, — говорил холодно Браун, — лучше всего не многотомный труд, а именно учебник, где рассуждения глупее и короче, а факты собраны теснее и обнаженнее. Вы увидите, что история человечества на три четверти есть история зверства, тупости и хамства. В этом смысле большевики пока показали не слишком много нового... Может быть, впрочем, еще покажут: они люди способные. Но вот что: в прежние времена хамство почти всегда чем-либо выкупалось. На крепостном праве создались Пушкины и Толстые. Теперь мы вступили в полосу хамства чистого, откровенного и ничем не прикрашенного. Навоз перестал быть удобрением, он стал самоцелью. Большевики, быть может, потонут в крови, но, по их духовному стилю, им следовало бы захлебнуться грязью. Не дьявол, а мелкий бес, бесенок-шулер, царит над их историческим делом, и хуже всего то, что даже враги их этого не видят.

— Мы говорим не о действиях большевиков, а об их идеях, — перебил его Никонов.

— Идеи большевиков! Я ничего не имею против самой глубокой провинции, но все-таки смешно, что Симбирск объявил себя городом-светочем, а Елизаветград — столицей мира.

— Как понимать! буквально или фигурально? — смеясь, спросила Муся. Она не очень интересовалась спором, однако, такую фразу всегда можно было вставить, ничего не

испортив. Клервилль, с трудом следивший за русской речью, засмеялся и с гордостью оглянул всех, точно призывая восхищаться замечанием Муси. У Никонова на лице появилось раздраженное выражение. «Он сейчас начнет говорить неприятности», — подумала Муся и поспешно подошла к Никонову с бутылкой.

— Еще рюмку, Григорий Иванович?

— Могу. Но с вами! Иначе — не желаю.

— Со мной, со мной.

— За папу и за маму... А бедным деткам дадим?

— Отчего же? Можно... Дети, Сонечка и Витя, выпьем, с горя.

— Совсем не нужно их спаивать, — оказала Глафира Генриховна. Она подумала, что за бутылку коньяку теперь легко получить сотни рублей, это может позднее пригодиться. Однако все выпили и даже Глашу заставили выпить полрюмки. Никонов уверял, что нет лучше средства против кашля. Стало еще веселее.

— Мусенька, я давно хочу просить вас об одной вещи, но не смею...

— Смейте, Сонечка, смейте.

— Я хочу быть с вами на ты... Можно?

Муся засмеялась.

— Я подумаю.

— Нет, правда? Вы согласны? Это не слишком дерзко с моей стороны?

— Дерзко, но я согласна... Только тогда мы пойдем дальше и выпьем на ты втроем: вы, я и Витя.

Витя вспыхнул от счастья. Они выпили еще коньяку и поцеловались. Легкое удивление скользнуло по лицу Клервилля, но он тотчас улыбнулся спокойной уверенной улыбкой и, нагнувшись к Глафире Генриховне, заговорил с ней. Браун и Горенский даже не повернулись в сторону целующихся. Никонов жаловался, что с ним ни Муся, ни Сонечка целоваться не хотят.

— Вы думаете, если мы выпили с вами на ты, я тебя перестану муштровать? — сказала Муся Вите, который еще не пришел в себя. — погоди, гадкий мальчишка, вот усажу тебя за книжку... Ах, да я совсем было и забыла!

Она взяла его за руку и повела в угол, где разговаривали Браун с Горенским. Они тотчас оборвали разговор.

— Вы обещали, Александр Михайлович, помочь этому юноше. Он жаждет ваших указаний, как манны небесной.

— Я к вашим услугам.

— Да, я хотел бы... — сказал Витя. Лицо его горело. — Да, я очень хочу... Но мне совестно вас утруждать.

— Тогда пройдите и вы в будуар, уж если сегодня такой вечер уединений... Витя, возьмите карандаш... И все запиши, что укажет Александр Михайлович.

Браун закурил папиросу, сел и вопросительно уставился на Витю, который, запинаясь, не очень толково изложил свое дело.

— ...Если б вы мне указали, если это вам не трудно, какие книги надо читать и где их достать?.. Я владею, языками, французским, немецким и английским... То я, конечно, был бы вам чрезвычайно обязан...

Браун смотрел на него. «Соведем еще малыш, — подумал он, — но ведь и такие нужны».

— А вы что знаете по химии? — спросил он наконец.

Витя отвечал. Браун задал несколько вопросов.

— Так что и анализ кое-как проходили?

— Качественный даже, кажется, недурно. У нас в Тенишевском училище ведь гораздо больше уделяют внимания естествознанию, чем в казенных Деляновских гимназиях, — уже

бойчее ответил Витя, ввернув и Деляновские гимназии. — Количественный анализ я знаю слабее, а по органической сделал всего два-три сожжения.

— Два-три сожжения, — повторил Браун.

«Да, жаль его, конечно. Но ведь всех их жаль. И у всех есть родители, близкие... Этот по крайней мере порядочный мальчик... Не трусишка ли только?»

— Я укажу вам книги, — сказал он, помолчав. — Кое-что у меня есть, другое легко достать.

— Я право не знаю, как вас благодарить... Вы мне окажете...

— Ваш отец в крепости? — вдруг перебил Витю Браун.

— Да...

Браун опять помолчал.

— Я пытался получить с ним свиданье. Не разрешают, — смущенно сказал Витя.

— Я могу дать вам книги... Это очень похвально, что вы хотите теперь заняться наукой, — с явной насмешкой в голосе сказал Браун.

Витя тревожно вопросительно на него смотрел.

— Виноват?

— Я говорю, это очень похвально, что вы в таких грустных обстоятельствах хотите заняться наукой.

— Виноват, я не совсем понимаю...

— Тут понимать нечего, это надо чувствовать, — сказал Браун. — Вы верно знаете, что творится сейчас в России... Если б моего отца бросили так, без всякой причины, в тюрьму... Впрочем, это вам виднее.

— Что же я могу сделать?

— Дело, быть может, нашлось бы. Но для него надо быть человеком храбрым и решительным.

— Я себя трусом не считаю.

— Я и не думаю, что вы трус... Быть может, вы догадываетесь, что есть организации, ведущие борьбу за освобождение России? Это всем известно. Вот что, молодой человек, — сказал, вставая, Браун. — Здесь сейчас обо всем этом разговаривать неудобно. Но если вы готовы рисковать собою и если вы умеете держать язык за зубами, то мы можем продолжить этот разговор. Зайдите ко мне послезавтра в восемь часов утра... И книги я вам укажу, — добавил он. — Само собой разумеется, вы никому не должны говорить ни слова о нашей беседе. Никому, — подчеркнул Браун. — А теперь пойдем.

Они вернулись в столовую. Витя был очень взволнован, он ничего толком не понимал, — так много случилось с ним в этот вечер.

— Указали ему? — спросила Брауна Муся. — Ну, спасибо.

— Он послезавтра зайдет ко мне, мы еще поговорим, — ответил Браун.

— Я так вам благодарна...

V

Тамара Матвеевна не преувеличивала, когда говорила Фомину, что Семену Исидоровичу предлагают на Украине очень видные и почетные должности. Кременецкий не отклонял делавшихся ему предложений, но и не принимал их, а Тамаре Матвеевне хмуро-уклончиво отвечал, что ему еще недостаточно ясны некоторые подробности политической игры. Эта загадочная фраза внушала его жене уважение и робость. Тамара Матвеевна заранее подчинялась всякому решению мужа, но имела и свои надежды. В числе других должностей, о которых шла речь в переговорах Кременецкого с влиятельными украинскими кругами, были дипломатические посты. Тамаре Матвеевне очень хотелось, чтобы Семен Исидорович принял должность посланника. Из-за границы гораздо легче было бы снести с Мусей, а все мысли Тамары Матвеевны были устремлены на то, чтобы возможно скорее вывезти дочь из Петербурга. Вдобавок жизнь Муси все равно должна была

протекать за границей.

— По-моему, лучше всего было бы, чтобы тебя назначили посланником в Лондон, — штопая чулок под электрической лампой, говорила мужу Тамара Матвеевна в двенадцатом часу ночи перед отходом ко сну. У них в это время обычно велись разговоры о таких предметах, о которых только друг с другом они могли беседовать вполне откровенно.

— Ты забываешь прежде всего, золото, что украинская республика пока признана только германской коалицией, а не союзниками, — со вздохом ответил Семен Исидорович, снимая пиджак. Ему самому очень хотелось стать послом.

— Ах, я уверена, вы можете добиться, чтобы и союзники вас признали, — настаивала Тамара Матвеевна и слова ее звучали приблизительно так: «ты можешь добиться, чтоб и союзники тебя признали». — Сначала пусть они вас признают *de facto*, а потом *de jure*.

Эти слова Тамара Матвеевна недавно впервые услышала от видного украинского деятеля и повторяла их теперь с особенно озабоченным видом.

— Со временем они нас, конечно, признают, спора нет! Но пока мы не признаны, и следовательно о должности посланника в Лондоне рассуждать еще преждевременно... Вот проклятая запонка, наконец-то отцепил... Кроме того, есть еще минус: я по-английски не говорю, а французским языком владею недостаточно свободно, — сказал Семен Исидорович. Он всегда говорил, что недостаточно свободно владеет французским языком, хотя в действительности не владел им совершенно.

— Какое это может иметь значение? — горячо возражала Тамара Матвеевна, отрываясь от чулка. — Ллойд Джордж тоже не говорит по-французски, я сама читала. Притом разве тебе долго будет подучиться? Ведь ты же знаешь, что по-украински ты теперь говоришь как украинец.

— Это не совсем то же самое, я родился на Украине... Однако допустим, — сказал Семен Исидорович, расстегивая пуговицы панталон на животе. — Уф, легче стало!.. Тогда возникает другое «но». Ведь все-таки мое главное и подлинное призвание это адвокатура, юриспруденция, право: им я посвятил лучшие годы жизни, быть может, добился в них и кое-каких успехов, — скромно добавил он (Тамара Матвеевна только улыбнулась, отвечать было не нужно). — Значит, бросить все это и начать новое поприще? Это легко сказать, золото!

— Ты забываешь, что в Петербурге жизнь наладится еще не скоро. Пока мы можем жить в Англии... А когда, жизнь там наладится, ты можешь перевестись в Петербург. Там, говорят, тоже будет украинский посол. А тебя там, слава Богу, все знают, у нас там чудная квартира... И я уверена, что это можно будет совместить с адвокатурой, — убежденно говорила Тамара Матвеевна. — А пока мы из Лондона сейчас же все сделаем, чтобы выписать Мусеньку. Ему тогда ты тоже сможешь выхлопотать какое-нибудь место в Лондоне: я уверена, что к зятю посланника будет совсем другое отношение.

Семен Исидорович с легким нетерпением махнул ру-, кой: его немного раздражали и бестолковые мысли жены, и то, что она его политическую карьеру явно ставила в зависимость от дел Муси.

— Пока нас державы Антанты не признали, об этом говорить бесполезно.

— Но *de facto* они вас должны признать!

— Я не виноват, золото, они нас пока не признали и *de facto*... Куда запропастилась пижама?

— Вот, под второй подушкой... В таком случае ты должен стать послом в Стокгольме. Ведь Швеция, наверное, вас признает, если этого потребует Германия! А оттуда нам еще ближе будет к Мусеньке, и я уже думала, что...

— Все это разговоры, — сказал, потягиваясь, Семен Исидорович. — Получить должность посланника можно было бы разве только в Берлине или в Вене, но назначения туда я и сам не желал бы из-за того, что было, — произнес он скороговоркой. Семен Исидорович имел в виду свое прежнее отношение к войне и долгую верность союзникам. — У меня с немцами (он чуть было не сказал, — с Германией) корректные отношения и только.

Разумеется, они ценят во мне культурно-политическую силу, но это все, и больше я ничего не желаю. Так не в Болгарию же мне идти посланником?

— Этого я никогда и не предлагала! — сказала возмущенно Тамара Матвеевна: должность посланника в Болгарии явно не соответствовала значению Семена Исидоровича, и до Муси из Болгарии было очень далеко. — Конечно, в Болгарию ты не должен ехать, да они никогда и не решатся предложить тебе такой второстепенный пост.

— А если так, то я не вижу, почему мне не принять первостепенный пост, который более отвечал бы моему опыту, моим знаниям, всему моему прошлому...

— Ты берешь портфель министра юстиции? — поспешно спросила Тамара Матвеевна и, несмотря на ее желание, уехать за границу, гордость за мужа так и залила ее душу.

— Ах, Боже мой, ты отлично знаешь, что пост министра юстиции занят. По секрету скажу тебе, со мной на днях говорили о должности вице-председателя Сената.

— Как вице-председателя Сената? Но ведь Сенат остался в Петрограде? — спросила, не подумав, Тамара Матвеевна.

— Я говорю, разумеется, о будущем украинском Сенате, — раздраженно пояснил Семен Исидорович. — Но это совершенно между нами, золото. Об этом проекте еще никто не знает, я только тебе сказал.

— Ты можешь быть спокоен, — ответила Тамара Матвеевна. И действительно разве лишь попытка могла бы вырвать у нее тайну, которую муж доверил только ей одной. Семен Исидорович знал это, и у него почти не было тайн от жены, — он лишь не забывал добавлять в важных случаях: «я тебе одной говорю».

— Это пока, впрочем, только предварительные разговоры... Ты еще не ложишься?

— Сейчас... Вице-председатель Сената, — повторила Тамара Матвеевна, наслаждаясь звучностью будущего титула мужа. — Но все-таки это теперь зависит от тебя?

— Да, — кратко ответил Семен Исидорович, и его «да» прозвучало как «о, да!»

— Когда выяснится? — так же кратко спросила Тамара Матвеевна.

— Скоро, — сказал Семен Исидорович. — Собственно уже выяснилось бы, если б не эти несчастные слухи о гетманщине, которые, только создают нездоровую политическую атмосферу. Кучка каких-то карьеристов нервирует всю страну!..

— Это просто позор! Как можно так не понимать создавшееся положение!

— Да... Да... Со всем тем я не уверен, что они не начинают заходить к нам в тыл, — мрачно сказал Кременецкий после недолгого молчания. — Что-то очень они шушукуются с немцами.

— Я не думаю... Немцы отлично понимают, что одних пулеметов мало против общественного мнения, — высказалась Тамара Матвеевна, часто повторявшая мысли мужа с некоторым опозданием. — Немцы не станут поддерживать откровенных реставраторов.

— Собственно, реставраторами в настоящем смысле слова их нельзя назвать, — ответил без обычной уверенности Семен Исидорович. — Во всяком случае игра скоро должна выясниться, и я приму свое решение, — сказал он таким тоном, каким генерал Бонапарт мог сообщить Жозефине о предстоящем перевороте 18 брюмера.

VI

«Конечно, нам очень тяжело, что мы больше не можем сытно есть, вдоволь развлекаться, заниматься наукой, делами, политикой, летом уезжать на дачу или за границу. — устало думал Николай Петрович, не слишком веря этим мыслям. — Большевики нас этого лишили. Но ведь и при старом строе все это было уделом небольшой части населения, которая одна только и жила свободной, занимательной жизнью (не очень, впрочем, свободной и не очень занимательной). А народ питался плохо, жил грубо, по театрам не ходил, на дачу не ездил и ни в светские, ни в политические бирюльки не играл... Народу, правда, нисколько не стало лучше оттого, что нам стало гораздо хуже, но и возмущаться новым строем, очевидно, надо лишь с оговорками. Но и есть то, что можно

назвать их правдой. Допустим, что эта крошечная правда окупает сотую долю зла, ненависти, крови, которые они несут в мир, — какое значение она может теперь иметь для меня?.. Какое значение может вообще иметь политика? Они умрут со своей правдой, как мы умрем с нашей. Потеряв Наташу, потеряв интерес к жизни, я был бы одинаково несчастлив и при социалистическом строе, и при крепостном... Бороться за такую правду то же самое, что вести войну из-за снежной бабы, как воюют дети... Баба, может быть, очень искусно сделана, но завтра она растает, кто бы ни остался победителем... Нет, меня все это больше интересовать не может, как взрослого человека не могут интересовать похождения героев Жюль Верна, которые так волнуют детей...»

В крепость доставлялись большевистские газеты, и Николай Петрович приблизительно знал, что происходит в России. Но он читал их не слишком внимательно, — преимущественно в те часы, когда, сдав смотрителю старые книги, ждал из библиотеки новых. Эти газеты были на редкость скучны и бездарны; однако Яценко теперь думал, что в каждом учении должна быть некоторая доля правды; точнее, он думал, что в каждом учении есть большая доля лжи. Николай Петрович и старался разглядеть правду за той стеной тупости, грубости, хамства, которую видел в газетах или перед собой в крепости. Большевистской правды Яценко так и не оценил, но ложь старой жизни теперь чувствовал яснее, чем когда-либо прежде. Его критические мысли, под влиянием «Круга чтения», окрашивались в толстовский цвет. Но и сам Толстой совершенно не удовлетворял Николая Петровича. «Что же он может предложить вместо всего того, что он у нас отбирает? Нравственное самосовершенствование, больше ничего. Допустим, что я больше любил бы Наташу, Витю, если б они были нравственно совершенны... Допустим, что я полюблю этого помощника коменданта так, как любил своих, — хотя как же я могу допустить такую чудовищную неправду? Допустим. Если все это даже и верно, неужели любовь к помощнику коменданта дала бы мне то, чего не дает мне любовь к сыну? Ведь я сейчас и о Вите не думаю. Или, еще хуже, заставляю себя о нем думать».

Интерес к миру, к людям, к событиям действительно с каждым днем слабел у Николая Петровича. Иногда ему казалось, что и рассудок его медленно слабеет. О своей участи он почти никогда не думал: «не все ли равно?» Николай Петрович даже себе и не представлял, что собственно стал бы делать, если б его теперь выпустили на свободу. «С Витей бы повидался, да... Через десять минут мы не знали бы, что сказать друг другу. Ничем полезен я ему быть не могу, напротив, мое влияние теперь может быть только вредным».

Николай Петрович вспоминал, что и в последнее время перед крепостью его встречи с Витей были довольно тягостны: разговаривать им было не о чем, и оба они, стыдясь этого, желали, чтобы поскорее прошел тот час, который им полагалось проводить вместе. Иногда они даже старались (особенно Витя) сократить свидание под разными предлогами и скрашивали это притворство особой нежностью при расставании. «Сытый голодного не разумеет, — думал Николай Петрович. — Ему жить со мной рядом прямо было бы вредно. Все равно, что с покойником жить в одном доме... Кстати, и жить-то нам было бы негде. За квартиру скоро нечем было бы платить... Что ж, на юг пробраться? Там служить? Какой уж теперь суд? Да и все-таки нельзя было бы оставить Витю, оставить могилу Наташи... Что ж я стал бы делать?» — спрашивал себя Яценко. Несмотря на то, что он и у большевиков находил теперь долю правды, мысль о поступлении к ним на службу не приходила в голову Николаю Петровичу. «Нет положительно, очень кстати попал в крепость, — с горькой усмешкой думал он. — Не все ли равно, свои ли книги читать или крепостные, по Невскому ли гулять или по садику Трубецкого бастиона».

На допрос Николая Петровича так и не вызывали и он по-прежнему никого не видал, кроме ближайшего крепостного начальника. Яценко знал, что со времени его ареста в Петропавловскую крепость было привезено еще много арестованных. В некоторых камерах, вследствие переполнения, теперь сидело по несколько человек. Николай Петрович без ужаса не мог и подумать о том, что кто-нибудь будет помещен в его камеру. Но к нему не посадили никого. На прогулку его выводили всегда в такое время когда других заключенных в садике

не было. Все это было странно. Однако Яценко больше об этом не думал.

Николай Петрович привык с молодости к внешне однообразной жизни; поэтому однообразие тюрьмы не слишком его угнетало. С утра до завтрака он читал, после завтрака спал около часа, затем до наступления темноты снова читал или разбирал шахматные задачи. В крепостной библиотеке было много старых журналов. В приложениях к «Ниве» Яценко нашел шахматный отдел. Как-то в минуту бодрости, он из спичек, хлеба и кусочков сахара составил фигуры, начертил на двойном листе бумаги доску, надписал, чтобы легче было следить, буквы и номера клеток, кое-как мог разыгрывать партии знаменитых мастеров. Яценко играл не очень плохо, но теории не знал и не все понимал, — в особенности в коротких примечаниях редактора, то восторженных, то, реже, неодобрительных. В двойных колонках партии ему попадался восклицательный знак, а в сноске слова: «Гениальное пожертвование» или «Начало далеко задуманной, поразительной по красоте комбинации». Николай Петрович разыгрывал партию, думал над ходами, возвращался назад, и иногда — не всегда — доискивался до смысла. Когда ему надоедало играть или становилось несколько совестно, что он, старый человек, занимается пустяками, Яценко принимался перелистывать какой-нибудь журнал. Это всегда производило на него гнетущее действие: в книгах старых журналов волновались спорили, ругали друг друга давно умершие люди, — их зловещая загробная перебранка опять возвращала Николая Петровича к кругу его безвыходных мыслей. Все то, что волновало умерших писателей, что прежде волновало и его самого (в сущности это было одно и то же), теперь не могло его интересовать больше, чем замысловатые шахматные комбинации; интерес к этому надо было в себе вырабатывать, и люди, по его мнению, действительно вырабатывали в себе ко всему этому интерес, становившийся со временем из искусственного естественным, — совершенно так же, как шахматная доска понемногу все вытесняет в уме профессиональных шахматистов. Для Николая Петровича настоящей жизни в этом уже не было и не могло быть.

Настоящая жизнь могла быть и в другом, и о ней беспрестанно напоминали Николаю Петровичу куранты. Их музыка становилась для него значительнее с каждым днем, порою она точно освобождала его из тюрьмы. Сначала он это приписывал своему болезненному состоянию; потом мысли его изменились: быть может, то, о чем говорила музыка, также было обманом, но все остальное было обманом навверное. Яценко всегда ждал боя часов, и всегда этот бой заставлял его врасплох. С жадным любопытством он вслушивался в музыку «Коль славен». Она замирала слишком быстро: иногда ему казалось, что еще одна минута и он все понял бы, — он сам не знал, что именно. «А, может быть для меня и куранты просто соломинка утопающего?» — изредка спрашивал себя Яценко и тогда чувствовал в душе совершенный холод.

Однажды после обеда, под вечер (летом в камере было светло часов до шести) Николай Петрович, сидя под окном читал Шопенгауэра: «Versuch &ber Geistersehn und was damit zusammenh&ngt». ⁶² Одна страница в этой работе поразила Николая Петровича. Шопенгауэр говорил, что вера в призраки свойственна всем временам, всем народам, всем людям; «быть может, ни один человек не свободен от нее совершенно». Яценко знал, что Шопенгауэр человек неверующий, саркастический и злобный. В той же книге были ядовитые насмешки над религиозными людьми, над духовенством, над Библией. Тем более удивил Николая Петровича тон, в котором немецкий мыслитель говорил о призраках. Шопенгауэр, по-видимому, в них верил и даже не считал совместимым со своим достоинством опровергать то, что он называл скептицизмом невежд. Николаю Петровичу снова вспомнились его собственные мысли о призрачности мира. Дочитав работу до конца, он опустил книгу на колени и долго сидел неподвижно, думая о самых странных предметах.

Стало темно, Яценко все продолжал так сидеть. В маленьком окне у потолка показался хвост Большой Медведицы. Внезапно Николаю Петровичу представилась жизнь на звездах,

⁶² «Опыт наблюдения за призраками и за всем, что с этим связано» (нем.)

где, быть может, ему суждено встретиться с тенью Наташи. Он думал об этом долго и вполне реально: вспоминая читанные когда-то научно-популярные статьи по астрономии, он стал даже себе представлять, какова может быть обстановка там, где встретятся их тени. «Кажется, ученые признают существование на Марсе атмосферы... Какие-то ледники там образуются, потом в жаркое время они тают...» Николаю Петровичу вдруг опять вспомнился Царский Сад в Киеве, где они весной гуляли с Наташей после свадьбы, потоки, несшиеся вдоль сада вниз по Александровской улице... Он вдруг вздрогнул и опомнился. «Кажется, я в самом деле схожу с ума», — подумал Николай Петрович.

VII

Слово «осложнения» произносилось в Киеве постоянно и приобретало все более таинственный смысл. Весь город говорил, что очень серьезные осложнения неизбежны в самом близком будущем. Одни говорили это озабоченно, другие скорее радостно, но ни те, ни другие не могли бы объяснить, о каких осложнениях, собственно, идет речь. Многие утверждали, что немцы больше не хотят Рады. Чего именно они хотят, этого не знал никто. Та мысль, что немцы и сами этого не знают, никому не приходила в голову, хотя она достаточно ясно следовала из сумбурных речей немецких государственных деятелей. Растерянность, уже начинавшая сказываться в Берлине, до Украины совершенно не доходила. Германская империя еще держалась престижем, который ей дали четырехлетние военные чудеса.

По Киеву ходили фантастические слухи о тайных намереньях немцев. Одни думали, что Германия хочет образовать украинское королевство с прусским принцем или австрийским эрцгерцогом на престоле. Другие таинственно сообщали, что Вильгельм требует у большевиков освобождения царя и, вероятно, делает это не без причины! надо же помнить, что ведь все-таки Киев мать русских городов. Население, познакомившись зимой с большевиками, было согласно на все: эрцгерцог так эрцгерцог.

Семен Исидорович не состоял членом Рады, но был там своим человеком и постоянно принимал участие в совещаниях с видными депутатами и министрами. Он водил на места для публики и свою жену. Настойчиво звал в Раду и Фомина.

— Вы увидите, батенька, что ваше отрицательное отношение к украинскому движению тотчас рассеется, как дым, — говорил он. — В Раде ведется очень серьезная политическая работа, которой могли бы позавидовать европейские парламенты.

— Да у меня, если хотите, нет строго отрицательного отношения.

— «Если хотите»? Я хочу.

— Я просто многого не понимаю.

— Вот потому-то я и зову вас: присмотритесь, батюшка, и ваше отношение в корне изменится.

— Очень может быть, — лениво отвечал Фомин.

— Не может быть, а наверное, — энергично утверждал Кременецкий, по профессиональной привычке всегда добивавшийся последнего слова. — Значит, послезавтра придете?

— Приду.

Фомин теперь неохотно вступал в политические споры. — отчасти из-за своих новых мыслей и настроений, отчасти просто потому, что он очень обленился и чувствовал себя, как выздоравливающий после долгой болезни. Голодная, тяжелая и мрачная петербургская зима измучила его чрезвычайно. Занятий у Платона Михайловича не было почти никаких: комиссия, в работах которой он должен был участвовать, все не могла приступить к делу, и Фомин был этому искренно рад: его командировка таким образом затягивалась; о возвращении в Петербург он не мог подумать без ужаса.

У него оказались в Киеве знакомые. Это были в большинстве петербуржцы, ухитрившиеся пробраться через границу и теперь находившиеся в таком же блаженном состоянии, как он сам. Многие из них со вздохом говорили, что им очень тяжело видеть на улицах Киева немецкие мундиры и подчиняться распоряжениям органа власти, сокращенно называвшегося «Обер-коммандо» (настоящее название было в две строки, и ни выдумать его, ни запомнить не мог никто, кроме немцев). Эти слова были искренни. Платон Михайлович чувствовал то же самое. Однако жизнь в Киеве и под властью «Обер-коммандо» была неизмеримо менее тяжела, чем в Петербурге, — не приходилось даже сравнивать.

Через Кременецких Фомин завел новые знакомства, — с разными украинскими деятелями. Вначале он относился к ним холодно и сдержанно (чем немало смущал Тамару Матвеевну). Однако почти все они очень выигрывали при более близком знакомстве. Эти люди, в большинстве молодые и никому неизвестные до революции, теперь так же наслаждались своим значением, должностями, политической игрой, как сам Фомин в первые дни по приезде в Киев наслаждался белым хлебом и пирожными. В политике они смыслили мало, ученостью не выделялись, но это не мешало многим из них быть радушными, воспитанными, способными людьми, сохранившими лучшие свойства прекрасного украинского племени. Приятное впечатление еще усиливалось у Фомина оттого, что, как ему казалось, все они, несмотря на самоуверенный тон, в глубине души чувствовали себя немного виноватыми. «А между тем это еще как рассудить? — нерешительно, думал Фомин. — Если они только этим путем могли себя спасти от большевиков, то, быть может, они и не так уж виноваты. Быть, может, все на их месте сделали бы то же самое... Конечно, большинство из них делает карьеру, — это им просто манна свалилась с неба: кто бы все они были в общерусском масштабе? А здесь каждый мальчишка министр, или депутат, или губернатор. Но это полбеда: кто же не делает карьеры? А я сам? Есть, конечно, и забавное...»

Забавным у этих людей ему в особенности казалось то, что, за редкими исключениями, они никогда до революции ни о какой Украине не думали, к украинской общественной деятельности себя не готовили и украинский язык знали плохо. «Если вообще существует этот язык, — думал Фомин. Он старался преодолеть в себе увеселяющее действие, которое обычно производит на русское ухо украинская речь. — Ведь, в сущности, это у нас очень глупое чувство: язык как язык... Вполне преодолеть в себе это чувство Платон Михайлович не мог, но слушал теперь украинскую речь равнодушно и даже не без удовольствия: раздражала она его только в устах Семена Исидоровича. «Все-таки я довольно поверхностно отношусь к этому делу», — говорил себе Фомин в те минуты, когда ему удавалось побороть ненадолго лень. «Вопрос надо ставить так: существует ли действительно такое народное движение, пустило ли оно глубоко корни в стране, или же все это не серьезно и выдуманно людьми, делающими на этом карьеру?» Ответить Фомин не мог. Но ему справедливо казалось, что вопрос этот очень важен и труден, и что над ним много придется подумать и поработать обеим сторонам. «Ведь далеко не вся правда на нашей, великорусской, стороне, особенно в прошлом, — думал Фомин. — Разумеется, трудно оправдать то, что они сошлись с немцами. Однако положение у них было почти безвыходное. Наконец, что же делать? Немцы рано или поздно уйдут, а нам с ними жить вместе. Придется придумать какую-нибудь федерацию или там конфедерацию, — лениво размышлял Платон Михайлович, стараясь припомнить разницу между федерацией и конфедерацией. — И уж во всяком случае раздражение нужно в себе вытравить и против украинских самостийников, и против грузинских, и против сионистов, и против всяких там других. Мы больше виноваты в прошлом, они в настоящем, значит мы поквитались. Да мы и не у мирового судьи...»

Внутренние дела украинского государства совершенно не интересовали Платона Михайловича. Он вполне равнодушно слушал критические замечания Кременецкого относительно хлебобобов. Впрочем, критика Семена Исидоровича теперь была более сдержанной, чем в день их первого завтрака с Нещеретовым. Кременецкий тоже говорил, что возможны очень серьезные осложнения, и вид у него при этом становился озабоченный. Он

допускал, что и некоторые вожди Рады не во всем оказались на должной высоте.

— Эти люди, батенька, лишены европейского кругозора и не умеют учесть реальную обстановку, — объяснял Семен Исидорович Фомину. — Я с самого приезда стараюсь им втолковать, что надо сгладить углы и усилить контакт с немцами. Компромиссы в политике неизбежны... Надо же наконец реабилитировать оклеветанную доктринерами идею компромисса, — высказал он только что пришедший ему в голову афоризм. — Разве вся жизнь не есть компромисс? Уже роды представляют собой некоторый компромисс с акушеркой, — сказал заодно и другой афоризм Семен Исидорович.

— О, да, — со слабой улыбкой ответил Фомин.

Платон Михайлович проснулся, как всегда, в десятом часу и с наслаждением подумал, что он не в Петербурге, а в Киеве. Погода была чудесная; он спал при открытом окне в комнате, выходявшей в сад. Горничная принесла поднос с кофе, сливками, маслом, свежим калачом. Это больше не доставляло такого наслаждения, как в первые два дня; Фомин теперь даже делал иногда замечания, если масло казалось ему слишком соленым или кофе недостаточно горячим. Но все-таки утренний завтрак в кресле у раскрытого окна, за газетой, был очень приятен. Платон Михайлович прочитал о кровопролитии на западном фронте, о растущем голоде в Петербурге, о насилиях, обысках, издевательствах по всей большевистской России. Здесь в Киеве ничего такого не было, и это очень мирило Фомина со строем, существовавшим на Украине.

На стуле в заколотой булавками бумаге лежал новый светло-серый костюм, накануне принесенный от портного; портной уверял, что на этот костюм пошел последний, чудом у него сохранившийся, отрез настоящей английской материи. И действительно костюм после трех примерок вышел хорош. Фомин очень любил одеваться; он знал толк и в дамских нарядах (это признавала и Муся, правда с оговоркой: «насколько мужчины вообще способны что-нибудь смыслить в платьях»). Закончив свой туалет, старательно затянув галстук, очень подходивший к костюму и к носкам, Платон Михайлович, в самом лучшем настроении духа, вышел на улицу. Швейцар почтительно ему поклонился и сказал, что погода сегодня очень хорошая. Фомин это подтвердил, с удовольствием сознавая, что швейцара не надо называть товарищем и что у ворот дворник никак не может передать назначение на дежурство от домового комитета. По залитым солнцем аллеям чудесных садов Платон Михайлович спустился на Крещатик, купил еще газету, купил недурную немецкую сигару и удобно устроился на террасе людной кофейни, где восторженно галдели с безнадежно-пессимистическим видом маклеры и обменивались радостными впечатлениями бледные, исхудалые приезжие из Великороссии. Фомин пил ледяной лимонад, лениво-блаженно пробежал газетные объявления и думал, что, если бы он был в Петербурге, то в это время дня, голодный и запуганный, висая на подножке еле движущегося трамвая, ехал бы к другим, еще более голодным и запуганным людям принимать у них фарфор, картины, мебель. «Еду в Москву, проезд обеспечен, принимаю поручения», — читал он. Нелепость происходивших событий, сказавшаяся в этом объявлении, поразила было Фомина, но сейчас же и утонула в радостном сознании, что ему в Москву ехать не надо.

— Платон Матвеевич!.. Здравствуйте!

Фомин оглянулся с недовольным видом и тотчас поднялся, увидев перед собой Артамонова. Они не были близко знакомы в Петербурге: Артамонов был значительно старше Фомина и принадлежал к другому, более высокому кругу. Однако здесь они встретились радостно, почти как приятели; не обнялись, правда, но долго пожимали друг другу руки.

— ...Да, вид у вас, Владимир Иванович; можно сказать...

— Господи! Если б вы только знали, что это была за жизнь!.. Вы просто себе не можете представить!

— Могу, потому что я и сам недавно из Петербурга...

— Кошмар! Сплошной кошмар!.. Но какая здесь благодать! Ведь я только вчера вечером приехал!

— Через Оршу?

— Через Оршу... Это целая история, надо вам рассказать толком... Ну, я вам скажу, было!

— Да я и сам...

— Нет, вы не можете себе представить! Это не жизнь была, а прямо ад, Платон Матвеевич! Ад!

— Платон Михайлович.

— Виноват, Платон Михайлович... Ад и кошмар!

— Слава Богу, что выбрались... Подсаживайтесь, Владимир Иванович. Давайте, кофейку выпьем, здесь прекрасный кофе.

— Кофейку? Отлично! Впрочем постойте: ведь первый час, завтракать пора?.. Послушайте, вы свободны? Давайте, позавтракаем вместе, а?

— Очень рад.

— Можно бы, правда, раньше и кофейку со сливками... Хоть я два стаканчика утром выпил... Нет, завтракать так завтракать. Где же? Здесь?

— Можно и здесь. А Впрочем, лучше я вас поведу в одно чудеснейшее место: в саду, над Днепром, и кормят отлично.

— Идем... Господи, что за благодать!

Через четверть часа они сидели на террасе клубного ресторана. Артамонов, почти не знавший Киева, восторженно изумлялся и саду, и Днепру, и ресторану, и виду на памятник святого Владимира.

— Нет, это просто нельзя описать, какой был кошмар! — повторял Владимир Иванович. Он точно не слышал, что Фомин тоже недавно приехал из Петербурга, или не мог усвоить мысли, что и на долю других людей могли выпасть такие лишения и невзгоды. — Я вам говорю: ад! Нет другого слова!

С Днепра веял теплый ароматный ветерок. Ресторан был переполнен. За соседними столиками оживленно болтали беззаботные, веселые, прилично, почти хорошо, одетые люди. Салат из огурцов и томатов ласкал глаз необыкновенной свежестью и красотой красок. Маленький запотевший графин был наполовину пуст. Фомин и Артамонов обменивались впечатлениями. «Да, он очень изменился, — думал Фомин. — Как осунулся и поседел, бедный... Неужели и я так сдал? Но я не знал, что он такой милый, приятный человек. И в тоне у него что-то новое...»

— Отлично, прекрасно кормят, — говорил Артамонов. — Спасибо, что сюда привели, Платон Михайлович, буду теперь сюда ходить. Но сад какой чудесный! Ведь я только теперь все оценил!

— Правда, здесь хорошо? Я почти каждый день здесь завтракаю.

— Вот и отлично. Около часу? По-моему, лучше бы раньше. У меня всегда был такой порядок: в двенадцать часов большую рюмку зубровки, закусочку какую-нибудь, и повторить... Но не более двух рюмок.

— Две рюмки? Ну, это для детей!

Оли заговорили о прежних петербургских и московских ресторанах. Артамонов знал толк в этом деле, и Платон Михайлович чувствовал, что ему самому, с его книжной гастрономией, не угоняться за Владимиром Ивановичем. Глаза у Артамонова блестели, но он, как показалось Фомину, и ел, и разговаривал теперь одинаково: жадно, рассеянно и немного бестолково.

— Рябчиков пражских помните, а?

— «Прага», конечно, «Прага», но все-таки, Владимир Иванович, лучше ресторана, чем старый Донон, не было в целом мире. Даже в Париже! Впрочем, во Франции лучшие рестораны были не в Париже. Вы в Бордо Chapon fin⁶³ знаете?

⁶³ Лакомый каплун (*фр.*)

— Ах, Франция! — сказал Артамонов и лицо, его изменилось. — Бедная Франция!..
— Хороши мы выходим перед союзниками, правда?
— Не будем об этом говорить, — ответил Владимир Иванович. Голос его дрогнул. Фомин смотрел на него не без удивления.

— Вы думаете, мне было легко сюда ехать? И смотреть на все это?

— На что?

— Смотреть, как немцы хозяйничают в Киеве! Но я себе сказал, что из двух зол меньшее, и мой долг...

Он быстро и сбивчиво изложил Фомину те соображения, которыми, видимо, не раз сам себя успокаивал.

— Я ведь здесь буду недолго, собираюсь на юго-восток, — сказал Артамонов, понизив голос до шепота. — Осмотрюсь немного, отдохну, кое-кого повидаяю, и дальше, за дело!.. Так вы думаете, тут возможны осложнения?

— Слухи идут упорные.

Фомин рассказал последние анекдоты об украинизации. От этого перешли к Кременецкому.

— Хорош гусь, — сказал Артамонов, кладя на тарелку еще жаркого. — Хорош гусь!

— Я Сему не защищаю, но должен сознаться, у меня самого нет твердого взгляда... Может быть, временно и нужно вести такую линию.

— Меру во всяком случае надо знать, меру... Пошлый человек, карьерист!.. Впрочем, нет, я ничего не говорю. Я теперь стараюсь никого не осуждать... Да, никого. Все мы хороши!.. Ведь точно по сигналу началось у нас великое повальное бегство: бегство от разума, от совести, от государства, от России!

— Да, разумеется, — сказал Фомин.

— Как вы думаете, вернется прежняя Россия?

— Препятствия не вернется, но кое-как, я надеюсь, жизнь наладится.

— Ах, дай-то Бог! Дай-то Бог! Знаю, что по грехам нашим все произошло! Сами, сами виноваты... Но все-таки, по милосердию Божию...

У него вдруг выступили слезы. Он вынул платок и приложил его к глазам.

— Что с вами?

— Нет, ничего, так... Извините меня...

— Нервы у нас у всех истрепались, — робко сказал Фомин. — Но все-таки...

— Да, нервы... Нервы... Пожалуйста, извините, самому совестно...

Они немного помолчали. Оживление прошло.

— Одна надежда, на милосердие Божие! — точно не сразу решившись, сказал Артамонов. Лицо его сразу изменилось. — Знаете, что нужно? Всенародное покаяние в церквах! Да, это и только это, — быстро говорил он, внимательно и вместе растерянno вглядываясь в своего собеседника. — Вот что спасет Россию, Платон Михайлович! Я теперь много обо всем этом думал... Да, все, все виноваты!

— Очень может быть, — неопределенно отвечал Фомин. Он не понимал, как всенародное покаяние может спасти Россию, и чувствовал, что здесь можно бы и пошутить: в прежнее время он непременно так и сделал бы. У него даже шевельнулась было шутка, — вроде того, что «покаяние покаянием, а рябчики рябчиками», или «кому и каяться, как не прокурорам». Однако, взглянув на лицо Владимира Ивановича, Фомин от шутки воздержался. «Немного странный, конечно, но очень милый, хороший человек, — подумал он. — Все друг друга обвиняют, а он начинает с себя. *Cela vous repose...*»⁶⁴

— Да, скверные времена, — сказал Фомин.

— Одно спасение в покаянии всем народом! Я и там буду это говорить!

— Кому?

⁶⁴ Это вас успокоит (*фр.*)

— Всем! — горячо сказал Владимир Иванович. — Всем, кто только пожелает меня слушать, — добавил он с виноватой улыбкой.

— Дай вам Бог...

Фомин посмотрел на часы.

— Господи, я опоздал!

— Это в Раду-то? Да бросьте, голубчик.

— Не могу: условился... Человек, счет.

Они еще поговорили. Прежнего радостного оживления не было, но разговор стал душевнее, в тон новых мыслей Фомина. Подали счет. Фомин уже немного морщился от цен, но Владимир Иванович только ахал: так все было здесь дешево.

— Разрешите мне заплатить, вы мой гость.

— Что вы, что вы... Ни за что! Значит, завтра придете?

— Непременно.

— Чудесно. Я так рад, что вас встретил... Вас первого знакомого в Киеве увидел... А то тоскливо все-таки одному со своими мыслями... Да, Бог даст, Бог даст, — • повторял грустно Артамонов.

VIII

В вестибюле Фомина встретила Тамара Матвеевна. Вид у нее был встревоженный. Не слушая извинений Платона Михайловича, она таинственным шепотом сообщила ему, что Семен Исидорович его ждал, но потом был вызван на частное совещание: настроение очень беспокойное. Фомин попытался изобразить на лице тревогу и живой интерес к событиям, но это у него не вышло: после приятного завтрака с водкой и ликерами он был настроен беззаботно.

— Пойдемте туда, — сказала Тамара Матвеевна. — Семен Исидорович просил подождать его там... Он сейчас освободится и все вам расскажет. Я знаю только в общих чертах...

— Да в чем дело?

— Понимаете, говорят, что немцы решили ориентироваться на хлеборобов! — прошептала Тамара Матвеевна, входя с Фоминым в небольшую, просто убранную комнату, которая могла быть приемной. В комнате больше никого не было. По-видимому, зал заседаний находился отсюда очень близко: из-за стены слышался мерный неестественный голос оратора. Разобрать его слова было трудно.

— Ну, и пусть ориентируются! — тотчас согласился Платон Михайлович, вынимая портсигар. — Можно курить? Пить мне что-то захотелось... Здесь нет буфета?

— Как вы говорите: пусть ориентируются! — возмущенно сказала Тамара Матвеевна. Фомин явно не понимал, что в случае прихода хлеборобов к власти Семен Исидорович будет очень волноваться и не получит должности вице-председателя Сената. — Ведь хлеборобы это реакционеры! Они Бог знает, что могут натворить! Говорят, они сегодня хотят двинуться сюда, на Раду! Я так беспокоюсь за Семена Исидоровича... Дорогой мой, уговорите его пока уйти домой отдохнуть! Они могут каждую минуту прийти сюда!

— Полноте, Тамара Матвеевна, никогда хлеборобы ничего такого не сделают, я ручаюсь! — убедительно сказал Фомин, хоть и сам не мог бы объяснить, почему, собственно, он ручается за хлеборобов.

— Ах, от них всего можно ожидать! — сказала горестно Тамара Матвеевна, не прощаящая хлеборобам еще и того, что Нещеретов в свое время не сделал предложения Мусе.

Дверь отворилась, и на пороге показался Семен Исидорович с тем украинским деятелем, который был у него в день приезда Фомина.

— Хіба я не знав! Це була простисинька провокація! — с силой сказал в дверях Семен Исидорович. Увидев жену с Фоминым, он улынулся и помахал рукой. Тамара Матвеевна

сразу просветлела. Украинский деятель мрачно ей поклонился и скрылся в коридоре.

— Ну, ну, что же вы решили?

— Да разумеется, все это ложная тревога, ведь я тебе говорил! — ответил Кременецкий, здороваясь. В руке у него была, немецкая газета. — Вы должны знать, Платон Михайлович, что, в связи с этим несчастным земельным декретом Эйхгорна, досужие кумушки распустили провокационные слухи о каком-то походе хлеборобов на Раду, — объяснил он Фомину, улыбаясь. В эту секунду из залы заседаний донеслись рукоплескания.

— Но что же вы выяснили? Скажи, не мучь ты меня, ради Бога!..

— Выяснили то, что это было чистейшее недоразумение. Голубович поехал объясняться к немцам. Ему поручено очень серьезно с ними поговорить, и у нас есть частные сведения, что сейчас Мумм приедет сюда извиняться...

— Что ты говоришь!

— То, что ты слышишь. И ему, и Эйхгорну еще может за это очень влететь из Берлина, — хмуро-решительно говорил Семен Исидорович. — Вы не читали, здесь напечатана речь Пайера? Он всецело стоит на нашей точке зрения. Я им только что перевел из газеты, это произвело отличное впечатление...

— Ну, слава Богу! — сказала Тамара Матвеевна. — Я уже начинала беспокоиться.

— Ты всегда беспокоишься, это твое ремесло.

В зале заседаний опять раздались шумные, долго длившиеся рукоплескания.

— Это Красный говорит... Он недурной оратор, — пояснил снисходительно Семен Исидорович.

— Нет, я так и думала, что немцы отлично понимают, как им нужна Рада, — сказала Тамара Матвеевна. — Я только боялась, что хлеборобы... Ну, слава Богу!..

— Какие тут могли быть сомнения? А вы, сударь мой, опоздали, я вас ждал не дождался, — сказал Кременецкий, снисходительной интонацией подчеркивая, что он прощает это Фомину.

— Да, извините, ради Бога! Я завтракал, и знаете, с кем? С Артамоновым.

— С Владимир Ивановичем? Так и он здесь? Жив курилка?

— Только вчера приехал.

— Прямо из Питера?.. Я не очень его люблю: пошловатый человек, — сказал Семен Исидорович. — Но все-таки я рад, что и он выбрался.

— Вы говорите, он из Питера? — спросила, тотчас насторожившись, Тамара Матвеевна. — Может быть, он что-нибудь слышал о Мусеньке?

— Откуда же он мог слышать, какая ты странная! Мы и домами не были знакомы.

— Я думала, может быть, случайно... Например, через Никонова... Если б вы знали, как я волнуюсь!

— Нет, я спрашивал, — солгал Фомин, — он ничего не знает... Отчего вы говорите, что он пошловатый человек? — спросил Платон Михайлович, уже и не помнивший, что Артамонов то же самое говорил о Кременецком. — Я с вами не согласен... И знаете, он страшно изменился. Кстати, Тамара Матвеевна, я решительно стою на своем: завтракать надо только в клубе. Закуска была под водочку — мое почтение!

— Каждый день там все-таки дороговато, и мы не любим два раза в день эти пять блюд, — начала Тамара Матвеевна. Семен Исидорович с неудовольствием на нее покосился.

— Как же вам нравится Рада? — спросил он Фомина. — Парламент, батюшка, что ни говорите!

— Я еще мало видел, но пока мне очень нравится, — вполне искренно ответил Фомин. Ему действительно все нравилось в этот день. — Так вы говорите, Мумму придется извиниться? — спросил Платон Михайлович. Он не совсем понимал, в чем Мумм должен извиниться, и ему даже было несколько жаль Мумма. — А как же земельный декрет Эйхгорна? — вспомнил он и сделал озабоченное лицо, хоть его менее всего на свете теперь интересовал и беспокоил земельный декрет Эйхгорна.

— Будет, разумеется, отменен. Вот о нем сейчас и говорит Красный... Пойдем

послушаем, он, право, хорошо говорит: без этого невыносимого провинциального краснобайства, без митинговых фраз дурного тона, — сказал Семен Исидорович.

В эту минуту в вестибюле раздался резкий, громкий, неприятно прозвучавший голос. Кто-то вскрикнул, послышались бегущие шаги. Тамара Матвеевна вздрогнула, Кременецкий и Фомин переглянулись. Дверь приемной раскрылась настежь, и в нее ввалилось, толкая друг друга, сразу человек десять из тех, что прежде толпились в вестибюле и на лестнице. Тамара Матвеевна побледнела и ахнула.

— Немцы! — растерянно проговорил один из вбежавших. — Німці!

— Какие немцы?

— Что такое?

— Немцы или хлебобобы? — прошептала Тамара Матвеевна, схватив за руку мужа.

— Немецкие войска!

— Не может быть!

— Это, верно, простое недоразумение, — начал примирительно Фомин, но он не успел развить свою мысль: за дверью послышались мерные, четкие, отбивающие удар шаги: отряд солдат быстро шел по направлению к приемной. Вбежавшие люди попятились назад. Что-то неприятно, звякнуло за дверью. На пороге появился германский офицер, за ним показались солдаты в касках.

— Руки вверх! — по-русски сказал офицер, почти, не повысив голоса. В его тоне не было ничего грозного: это было скорее деловое распоряжение, отданное неприятным тоном. Все сразу подняли руки. В правой руке Семена Исидоровича чуть дрожала немецкая газета. У Фомина папираса так и осталась в зубах. «Господи! Да это восемнадцатое брюмера!» — подумал он. Платон Михайлович растерялся, как и другие, но он чувствовал, что попал на историческую сцену, «Разгон парламента вооруженной силой! Ну да, 18-ое брюмера!.. Не оставаться же, однако, с папирасой во рту? Так и дышать трудно... Или выплюнуть ее? Тоже как-то глупо!..»

Офицер оглядел находившихся в комнате людей, затем что-то вполголоса сказал по-немецки унтер-офицеру и прошел дальше. За ним двинулись солдаты. Четкие шаги застучали снова. Унтер-офицер остался в приемной. В зале заседаний вдруг оборвался голос оратора. Шаги остановились. Донесся глухой подавленный гул, затем снова такой же возглас: «Руки вверх!» Потом настала полная тишина.

— По приказу германского командования... Рада объявляется распущенной, — по-русски, с сильным немецким акцентом, сказал офицер. При открытых дверях в приемной было слышно каждое слово. — Приказываю всем немедленно разойтись.

Унтер-офицер в приемной сделал жест, показывавший, что теперь нужно опустить руки и удалиться. Фомин вынул изо рта папирасу. «Вот тебе и 18-ое брюмера! Я совершенно не так себе представлял», — думал он, выходя из приемной вслед за Семеном Исидоровичем и Тамарой Матвеевной, вцепившейся в руку мужа и своим телом прикрывавшей его от возможных опасностей.

Они оказались на улице. Из здания Рады беспрепятственно и бесшумно выливался поток людей. На противоположной стороне улицы росла толпа зевак. Тамара Матвеевна дала волю чувствам.

— Господи! Что они делают!.. Это просто ужас! — лепетала она, не выпуская руки Семена Исидоровича, который был бледен, но спокоен. — Едем, скорее домой!.. Это безумие!

— Ну, нет, не домой! — сказал Семен Исидорович. — Надо будет сейчас же собрать где-нибудь экстренное совещание... Это так нельзя оставить!

— Не надо никакого совещания, я тебя умоляю, едем сию минуту домой! — говорила Тамара Матвеевна, задыхаясь от волнения, хотя на улице все было совершенно спокойно. — Ты еще не знаешь, что может быть!.. Может быть, сейчас начнется стрельба!

— Помилуйте, Тамара Матвеевна, какая стрельба! — говорил ласково Фомин. — Все ушли, немцы никого не арестовали и не арестуют, конечно, — поручился он и за немцев. — Я вношу конкретное предложение: идем в кофейню!.. Ужасно что-то пить хочется...

— Ах, оставьте, пожалуйста, Платон Михай... Я тебе говорю, едем домой! Я тебя умоляю! Сделай это для меня, хоть раз в жизни!.. Платон Михайлович вечером придет и все тебе расскажет.

— Да что же тут рассказывать? — бодро спрашивал Платон Михайлович, смутно чувствуя, что сам он совершенно ни при чем во всей этой истории, несмотря на поднятые руки и на папироску в зубах. Позднее Фомин с полным основанием стыдился того глупо-радостного настроения, которое им овладело: «Грубая сила лишний раз восторжествовала, что ж тут было скалить зубы? Хоть, конечно, и странный какой-то был переворот...» Но теперь на улице ему становилось все веселее.

— Ну, если что-нибудь будет...

— Да вы не огорчайтесь, Семен Исидорович, — говорил Фомин с сочувственно-убедительными интонациями. — Я уверен, что все еще может наладиться... Да, да, да... И вы тоже, Тамара Матвеевна, напрасно, право... Притом, что же вам было делать, Семен Исидорович? Не сопротивляться же было германским войскам?

— Ваш вопрос ко мне, очевидно, относиться не может, — сухо ответил Кременецкий. — Я не член Рады.

— Разумеется! — с жаром сказала Тамара Матвеевна, все ускоряя шаги. — Разумеется!

— Но если вы хотите знать мое мнение, — продолжал Семен Исидорович, также давая, наконец, волю чувству, — то я вам скажу, что это одна из самых печальных ошибок истории! Она будет и для немцев иметь неисчислимы последствия! Историк сможет только повторить: «Это было хуже, чем преступление, это была ошибка!»

— Ужасная ошибка! Просто они с ума сошли!.. Вы не знаете, где тут стоят извозчики, Платон Михайлович?

— Да пойдем пешком... Отчего это мне так пить хочется? Верно оттого, что мы за завтраком ели форшмак из селедки, конечно оттого... Отличный был форшмачок...

— Они играют с огнем, и эта их карта будет бита, — сказал Семен Исидорович. — Да, эта карта будет бита!

Они втроем сидели на террасе кофейни. Терраса была переполнена. Лакеи едва успевали разносить напитки. Оживление было очень большое. Люди с беспричинно-радостным видом передавали сенсационные новости. Семен Исидорович уже успел кое с кем поговорить по телефону. По-видимому, эти разговоры несколько изменили его мысли.

— Все-таки, дорогой Семен Исидорович, — мягким голосом говорил Фомин, — все-таки откуда взялось это сообщение, что Мумм приедет извиняться?

— Ах, да не в этом дело, — мрачно ответил Кременецкий. — А дело в том...

— Кстати, из каких он Муммов? Не из тех ли, у которых шампанское? Моя любимая марка... Виноват, я вас перебил.

— Не знаю, из каких Муммов... А дело в том, что с немцами с самого начала был взят не тот тон... Не тот тон. Стратегия была правильная, но тактики они оказались никуда негодные и дали хлебобобам себя обойти, как ребята. Не надо было сразу объявлять реакционной всю эту тягу к твердой власти, будь она гетманская или там какая-нибудь другая... Они тем самым могли только бросить промышленников в объятия худшей, настоящей реакции.

— Это была ошибка, — подтвердила Тамара Матвеевна.

— Народные массы их не поддержали, значит, остается только одно: перестроить фронт и выправить линию...

— Я думаю, ты один можешь это сделать... Не пей так много кофе, это тебе вредно! Ты

пьешь третью чашку!

— Не знаю, могу ли я теперь выправить линию. Приходится расплачиваться за чужие ошибки и бестактности! Разве я с первого дня не предсказывал все это нашим доморощенным Дантонам? Они меня не слушались и вот налицо результаты, — говорил Семен Исидорович.

— И вот результаты, — печально повторяла Тамара Матвеевна.

IX

Витя отмерил глицерин большим градуированным цилиндром, осторожно вылил в огромную банку и тщательно ее закупорил притертой стеклянной пробкой. Кислотная смесь была уже готова. Присев к столу, он еще раз в тетрадке проверил пропорции. На одну часть глицерина надо было взять три части азотной и пять частей серной кислоты. Расчет оказался правильным. Сосуд, чан, делительная воронка, колбы были вымыты и высушены, сначала спиртом, потом эфиром. Больше делать было нечего. Витя сел на табурет у стола, устало опустил голову на руки и задумался. «Когда же будет всему этому конец?» — спрашивал он себя.

Витя живо помнил то чувство ужаса и любопытства, с которым он впервые входил в эту комнату, месяца два тому назад. Он читал в «Былом», в воспоминаниях разных революционеров, о динамитных лабораториях, о конспиративных квартирах. Но все это он представлял себе совершенно иначе. Где-то на Петербургской стороне они с Брауном свернули с тротуара и вошли во двор, — самый обыкновенный двор, только очень, очень длинный. Они шли бесконечно долго. Витя старался все запомнить — и не видел ничего. У него стучало сердце, он боялся обморока, хотя никогда в жизни в обморок не падал. Окна в домах двора были везде открыты, слышались голоса, где-то смеялись, где-то играли на гармонике. «Если б они знали!» — думал Витя, представляя себе картину взрыва, страшный грохот, стены, рушащиеся, как в последнем действии «Самсона и Далилы», крики, окровавленные тела... Они поднялись по лестнице во второй этаж, Браун открыл ключом дверь. Витя собрал все силы и со спокойным видом, на цыпочках, вошел в квартиру. В большой комнате с открытыми окнами и спущенными белыми шторами чем-то слегка пахло, — Витя узнал едкий запах азотной кислоты, и почему-то порадовался, что узнал его. «Где же *это* ?» — спрашивал он себя.

— Да здесь очень уютно, — сказал он, беззаботно улыбаясь.

— Очень уютно, — подтвердил Браун, глядя на него с усмешкой.

В комнате в самом деле на вид не было ничего страшного. На большом столе стояли весы, коробки с разновесками, стеклянная посуда, разные банки и бутылки. На низком табурете в кадке с водой был укреплен большой сосуд, а над ним воронка. В углу комнаты стояло кресло, обитое веселеньким пестрым ситцем.

— Вот тут и изготавливают нитроглицерин, — объяснил Вите Браун. — Реакцию знаете? Впрочем, вы к этому отношения иметь не будете. На военных заводах изготовление нитроглицерина операция очень простая и безопасная. А при этих милых приспособлениях, если дать температуре немного подняться, то нетрудно взлететь на воздух со всем домом.

— Да, конечно, — ответил Витя и засмеялся. Он сейчас же подумал, что смеяться собственно не следовало. Браун все ему показал, объяснил, что нужно делать, затем велел повторить. Витя, однако, повторить не мог: он ничего не слышал. Браун опять усмехнулся и терпеливо объяснил все вторично. На этот раз Витя с усилием вслушался, боясь рассердить своего начальника, — он очень его боялся, — и повторил все правильно.

— Отлично, — похвалил его Браун. — Итак, вот вам ключ от квартиры. Завтра вы придете сюда уже один, в девять часов утра, и все это сделаете. Ваша работа, как видите, совершенно безопасна. *Пока* безопасна, — подчеркнул он. — Теперь вы можете идти, а я

останусь здесь. Запомните хорошо дорогу во дворе: спрашивать, разумеется, никого ни о чем не надо.

Весь этот день Витя провел дома в необычайном волнении. Вступая в организацию, он никак не ожидал, что ему придется работать в динамитной лаборатории. Витя и гордился возложенным на него делом, и испытывал мучительную тревогу, которой не с кем было поделиться. В гостиной слышались голоса. У Муси сидел Клервилль. «Если б им сказать!» — думал Витя. Внезапно ему пришло в голову, что, в случае провала организации, следствие от него легко может направиться к Мусе, к Николаю Петровичу. Эта мысль его ужаснула.: — «Что же делать? — в отчаянии спрашивал он себя. — Отказаться? Это немислимо, это был бы позор на всю жизнь! Я ведь сам искал работы... Съехать отсюда? Но куда же? Денег нет, нет бумаг... Допустим, они дадут мне и деньги, и бумагу, — как я могу съехать? Ведь это значит вызвать расспросы, переполох в доме, не пустят!.. Притом что же это изменит? Разве следствие не обнаружит, где я жил до того? А папа!.. Но как же он мог меня привлечь, зная все это? — в ужасе спрашивал себя Витя, разумея Брауна. — Да, ему не до того!.. Он сам рискует головою, и не может обо всем этом думать. Это было мое дело... Я не ребенок и должен был знать, на что иду...» Витя провел ночь почти без сна, — все боялся проспать. Он так ничего и не придумал. Мусе он объявил, что Браун устроил его на практические работы в одну лабораторию. Муся не слишком входила в занятия Вити, поверила ему без расспросов и была очень рада, что заставила его учиться.

С тех пор прошло почти два месяца. Витя ежедневно по утрам бывал в лаборатории и готовил все, что требовалось. В двенадцать часов приходил Браун и отпускал его домой. Больше Витя ничего не знал и никого не видал из членов организации. Он не так представлял себе заговоры. Работа шла гладко. К опасным операциям Витя не допускался. Ему трудно было привыкнуть к мысли, что взрывчатое вещество чудовищной силы изготавливается из веществ безобидных, и он в первый день трогал банку с глицерином с таким видом, точно с минуты на минуту ожидал взрыва, — Браун, глядя на своего помощника, не мог сдерживать улыбки. Потом Витя привык и даже кислоты переливал бойко, без воронки, так что у него на руках, несмотря на нейтрализацию аммиаком (это Витя знал еще с училища), появлялись красные пятна. К взрывчатым веществам он собственно почти не имел отношения. Браун всегда производил нитрование сам, отпустив предварительно Витю. Это немного задевало его самолюбие, однако он всякий раз вздыхал с облегчением, когда покидал страшную комнату, и даже на лестнице ускорял шаги, чтобы поскорее отойти подальше.

Витя исхудал и побледнел от вечной тревоги, от нервного напряжения. Дома все это замечали и приписывали недостаточно разнообразному питанию, — в Петербурге летом голод очень усилился. Дурной вид был почти у всех. Спал Витя очень плохо. Ему снился по ночам нитроглицерин, его преследовали кошмары. Мысль об отце и Мусе мучила Витю беспрестанно. Он сам не знал, считать ли себя героем или преступником.

Как-то раз, довольно поздно вечером, Муся с решительным видом вошла в комнату Вити. Он уже лежал в постели и читал «Vingt ans après»⁶⁵ — такие книги теперь придавали ему бодрости. В руках у Муси был поднос с двумя стаканами молока. Она поставила поднос на столик и заявила Вите, что отныне он каждый вечер будет пить молоко: так совершенно невозможно, все говорят, что у него ужасный вид. Глаша обещала доставать каждый вечер два стакана.

Витя вдруг, к удивлению Муси, потушил свет. — чтобы скрыть слезы. «Если б она знала!» — опять подумал он в отчаянии.

— Что за шутки! Зажги сейчас лампу и выпей молоко, оба стакана, слышишь? — сказала Муся.

⁶⁵ «Двадцать лет спустя» (фр.)

Витя взял ее руку и поцеловал. Это у них было не в обычае. Муся в недоумении на него смотрела. Свет из открытой двери падал на подушку. Витя отвернулся к стене. Муся нагнулась к нему и поцеловала его в лоб. Она не заметила его слез, однако ею овладела смутная тревога.

— Еще заболеешь! — сказала она. — Только этого не хватало. Ну, спокойной ночи, голубчик. Так выпей же молоко.

«Что это с ним такое в последнее время?.. Верно, все думает о Николае Петровиче... Или меня ревнует? Нет, он, кажется, уже не так в меня влюблен... Или это его растрогало, что молоко дорого стоит? Какой смешной!..» — Муся улыбнулась и с легким вздохом прошла в ванную комнату.

«Но как же на войне? — думал Витя, рассеянно вынимая разновески из углублений коробки и вкладывая их назад. — Люди уходят на войну, не считаясь с тем, есть ли у них родители, невесты, жены... Я в пятнадцать лет хотел убежать на фронт, меня не пустили, а ведь то было лучше чем это. Там по крайней мере не было слезки, ненависти, укрывательства, тайны... Но что же теперь делать?.. Разумеется, Браун не может заботиться обо всем этом. Для него Муся и папа значат не больше, чем жильцы этого дома, которые тоже без всякой вины взлетят вместе с ним на воздух, если он забудется на несколько минут и даст температуре подняться до 40 градусов... Нет, он замечательный человек... — Витя искренно восхищался хладнокровием спокойствием Брауна, его экспериментальным искусством: работа так и кипела у него в руках. — Конечно, он воспользовался минутой, привлекая меня в организацию. Он не интересовался ни моими мыслями, ни моим положением, а сыграл на самолюбии, может, даже на том, что я в тот вечер выпил коньяку, — тогда, когда мы с ней поцеловались... Нет, этого он не знал... Но он и не обязан был входить в мою душу. Мы работаем для освобождения России... Однако, кто же это мы и что, собственно, они хотят сделать. Ведь совет народных комиссаров теперь в Москве...-Все-таки странно было бы погибнуть, не зная даже того, что замышлялось организацией...»

Витя в эти два месяца, постоянно думая над делом, стал ко многому относиться критически. Их задача заключалась в том, чтобы в кратчайший срок приготовить возможно большее количество нитроглицерина. По словам Брауна, из этого нитроглицерина изготовлялся особый вид динамита, называемый взрывчатой желатиной. Витя догадывался, что Браун принимает участие и в работе по изготовлению желатины. «Не проще ли было бы, однако, готовить все в одном месте? Какой смысл ему перевозить нитроглицерин с ежеминутным риском взрыва? Или это тоже делается из предосторожности: одна лаборатория хорошо, а две лучше? Или меня не хотят знакомить с другими?.. Верно, там у них какие-нибудь юнкера и начинают снаряды? Но что же это за организация, если она не может связаться в такое время с военными кругами и достать снаряды в готовом виде? И неужели нельзя было изготовлять нитроглицерин на каком-нибудь заводе, а не здесь, при этой кадке с водой?.. Ну, хорошо, допустим, а дальше что? — мысленно спрашивал он. — Ведь из нашего нитроглицерина изготовили достаточно динамита, почему же о них ничего не слышно? И какая собственно мы организация? Та ли, которую Никонов назвал тогда Федосьевской?.. Неужели, однако, во главе организации стоит такой человек, как Федосьев, которого, я помню, все ненавидели?»

За несколько времени до того, на квартире Кременецких шел разговор о большевиках, об их неминуемом близком падении, о подпольных организациях, что-то подготавливавших по борьбе с советской властью: не то восстание, не то террористические действия. Об этих организациях тогда говорили открыто все.

— Теперь, друзья мои, — сказал Никонов, — в Петербурге заговорщик каждый третий

человек старше шестнадцати и моложе восьмидесяти лет. И удивительное дело: это, по-видимому, знают все, кроме ихней Чрезвычайной Комиссии. За что ж ей платят деньги?

Витя с несказанной радостью услышал слова Никонова: значит, и многие другие были в таком же положении, как он.

— Ну, и слава Богу, что так! — сердито ответил князь Горенский.

— Слава Богу, что есть еще люди и группы, которым дорога свобода России, — подтвердила Глафира Генриховна.

— Ужасно только много этих групп, товарищ Глафира, и удивительно они болтливые группы. Вот теперь, я слышал, на защиту свободы России поднялся сам Федосьев, — помните такого? Он как в воду канул в первые же дни светлого февраля. Оказывается, жив, красавец! Мне, по крайней мере, один юнкер — ему верно лет семнадцать — на днях, под строжайшим, разумеется, секретом, сообщил, что он входит в конспиративную Федосьевскую организацию. Ей-Богу!

— Как фамилия этого юнкера? — осведомился вскользь Горенский. Никонов с любопытством на него посмотрел.

— Так я вам и сказал! Кто вас знает, Ваше Сиятельство, может, и вы входите как раз в эту самую организацию? Еще предадите моего юнкера военно-полевому суду и приговорите его к общественному порицанию? А я потом терзайся за него угрызениями совести! Нет, ищите сами.

Вите показалось, что на лице у Горенского мелькнуло неудовольствие. «Может, правда, и князь куда-нибудь входит?.. Милый князь!» — опять с радостью подумал он.

— Да что мой юнкер! — продолжал Никонов, — разве он один? И если б только мальчишки! А то теперь все, как по модным клубам, расписались по конспиративным боевым организациям. Все сановники стали террористами. Я слышал, например, что существует какой-то правый центр... Если есть и правый, то, верно, есть и левый, правда? А может, есть и центральный центр, а? Политическая геометрия у нас всегда была со странностями. Кроме центров, есть еще разные «кресты», эти больше разноцветные: «Синий крест» или нет, кажется, «Белый» или «Розовый», не помню. Потом лиги, не забывайте о лигах... Например, «Лига личного примера»... Говорят, прекраснейшая лига, не знаю только, чего они подают пример, не слыхал. А то есть еще союзы... В «Союзе Защиты Родины и Свободы» и в «Союзе Защиты Учредительного Собрания» я сам, кажется, состоял. Честное слово, два раза был на конспиративнейших собраниях, в местах мало заметных, — в Училище Правоведения и в Городской Думе, — это чтоб лучше замести следы.

— Больше не состоите? — спросила, смеясь, Муся.

— Кажется, нет. Не то я больше не состою, не то союз больше не состоит. Уже защитили и родину, и свободу, и Учредительное собрание.

— Не понимаю, над чем вы смеетесь? — сердито пожимая плечами, сказал князь. — Русская манера смеяться над самим собою!

— Я, во-первых, нисколько не смеюсь, а, во-вторых, нельзя не смеяться, дорогой мой, потому что все нужно делать умеючи, да, князь!.. А кроме того, вы знаете мое убеждение: народ с ними. Это печально, но факт.

— Простите, это не факт, а ваше голословное утверждение. А вот выборы в Учредительное собрание это действительно факт: народ русский высказался против большевиков.

— Да мне до выборов нет никакого дела. Вчера голосовали за эсеров, а завтра, может, будут голосовать за черносотенцев.

— Помилуйте, что-нибудь одно!.. Надо же, Григорий Иванович, иметь хоть тень логики...

— Народ их ненавидит, — вмешалась Глафира Генриховна. — Если б вы знали, какие речи теперь идут в хвостах... Вчера, например, я слышу. Впереди меня стоит баба, простая баба. И вот...

Завязался обычный разговор.

Ключ заскрипел в замке. Витя вздрогнул, затем вздохнул спокойнее. «Как часы, аккуратен», — подумал он, выходя в переднюю. Браун ласково с ним поздоровался, тщательно запер за собою дверь и попробовал, хорошо ли закрыта. Затем, положив па стул светлые перчатки и соломенную шляпу, он вошел в лабораторию.

— Все приготовили?

— Кажется, все, Александр Михайлович.

— Надо не кажется, а наверное. Лед принесли? Удельный вес проверили? Кислотная смесь готова?

— Да... Вот записано...

Браун заглянул в тетрадку.

— Отлично... Никто не обратил на вас внимания, когда вы тащили лед?

— Никто, Александр Михайлович. И притом теперь так жарко, многие носят лед.

— Это верно. Ну-с, вы можете идти.

— Александр Михайлович, что ж вы меня всегда прогоняете? — сказал Витя беззаботно. — А разрешите мне остаться при нитровании.

— Нет, вы мне для этого не нужны.

— Но надо же мне хоть раз видеть, как готовится нитроглицерин?

— Совсем не надо. Самообразованием вы займетесь позднее. А если при этих штучках произойдет взрыв, — сказал Браун, показывая на кадку с водой, — то зачем же лишнему человеку погибать без всякой пользы. Добавлю, что выделяющиеся при нитровании газы очень вредны для молодого организма, как ваш.

— Позвольте вам сказать, Александр Михайлович, что я сюда пришел не для поправки организма... Согласитесь что другой риск серьезнее. Если они сюда нагрянут, то и вам и мне один конец: на веревке болтаться, — равнодушным тоном сказал Витя: «веревку» он пустил для эффекта.

Браун засмеялся.

— На веревке мы болтаться не будем. Если мы будем вести себя осторожно, то они сюда нагрянуть не могут: квартира, я знаю, законспирирована прекрасно. Я говорил вам много раз, что твердо рассчитываю на вашу осторожность. Вы юноша умный... Ну, а если нагрянут, то до верёвки, наверное, дело тоже не дойдет.

— Так до расстрела, не все ли равно?

— Не дойдет и до расстрела. В этом случае я непременно доставлю себе удовольствие: взорвусь на воздух вместе с гостями. «Умри, душа моя, с филистимлянами», — медленно сказал Браун. — Я прекрасно понимаю ваше душевное состояние, — добавил он, помолчав. — Поверьте мне, я поручил вам работу, на которой вы сейчас можете быть всего полезнее. Не скрываю, мною отчасти руководили и другие соображения. Если б я ввел вас в какую-нибудь *десятку*, — он с насмешкой подчеркнул это слово, — вы имели бы все шансы погибнуть... Теперь везде эти *десятки*, и набираются они с бору да с сосенки. Нет ничего легче, как наткнуться на предателя. Между тем так о вас знают только два человека: я и глава организации, лицо вполне надежное.

— Я очень вам благодарен, Александр Михайлович, — с большим душевным облегчением сказал Витя. — Но ведь все-таки забота о моей безопасности не главное...

— Я заботился и о себе. Поверьте, я не всякого члена организации пригласил бы сюда на квартиру. В вас я совершенно уверен... Делайте то, что я говорю. Советую вам пойти погулять на острова. И гуляйте с таким видом, точно у вас и не думают скрести на душе кошки... Да, вот что, я все забываю. Ведь я вам до сих пор не платил денег... У вас, верно, нет, отчего же вы мне не напомнили?

— Мне не надо, — сказал Витя. Деньги ему были очень нужны, но он предпочел бы работать в организации бесплатно.

— Как не надо? — сказал Браун. — Нам с вами, заговорщикам, деньги всегда

нужны. — Он вынул из бокового кармана несколько пачек ассигнаций в бумажных оклейках, бегло взглянул на них и протянул одну Вите. — Возьмите.

— Этого слишком много!

— Не знаете, сколько денег в пачке, а говорите: слишком много. Здесь всего тысяча рублей... У нас молодым людям платят пятьсот рублей в месяц, а вы у меня работаете два месяца. Смотрите, всегда носите деньги при себе. Если со мной случится несчастье, — хоть я этого и не думаю, — поступите именно так, как я вам указал, и притом не откладывая ни на минуту: тогда — бежать, бежать и бежать.

В передней раздался звонок. Оба вздрогнули. Витя побледнел. Браун удивленно поднял брови и вынул из кармана браунинг.

Он вышел на цыпочках в переднюю и, неслышно подойдя к двери, повернулся к ней боком, приложив к уху руку.

— Это я, — произнес за дверью негромкий голос.

— Фу ты, черт! — пробормотал Браун. Он спрятал револьвер и открыл дверь.

Вошел Федосьев.

Витя с изумлением на него уставился. Он тотчас догадался, что это глава организации. «Кажется, правда, Федосьев», — подумал он, вспоминая фотографию, которую когда-то видел в «Ниве» или в «Огоньке». Федосьев, здороваясь с Брауном, окинул Витю подозрительным взглядом.

— Здравствуйте, молодой человек, — сказал он.

— Вы можете идти, — обратился к Вите Браун. — Так до завтра.

— До завтра, Александр Михайлович, — сказал, заторопившись, Витя.

Х

— Уж не случилось ли что? — спросил Браун, затворив дверь за Витей и снова ее попробовав.

— Нет, ничего... Это и есть тот ваш помощник, о котором вы мне говорили?

— Ну да, кто же другой? — нетерпеливо ответил Браун. — Вы все-таки предупреждали бы меня о своих визитах, Сергей Васильевич. Я как раз ему говорил, что в случае появления непрошенных гостей непременно взорву дом.

— Хорошо сделаете, — равнодушно, ответил Федосьев. — Как бы не пришлось сделать это очень скоро... Можно сесть на этот табурет? Он не взорвется? — шутливо спросил он, садясь и с любопытством глядя по сторонам. — Собственно, почему вы так доверяете этому молодому человеку?

— Мне необходим помощник, без него все мое время уходило бы на чисто механическую работу. Надо было кому-нибудь довериться, а этот юноша вышел из среды, в которой ждать предательства гораздо труднее, чем где бы то ни было. Как я вам говорил, он сын следователя Яценко... Или вам он не внушает доверия?

— Уж очень приятное, открытое лицо. Я знаю по долгому опыту: если у человека лицо дышит внутренним благородством, если он говорит с подкупающей искренностью (Федосьев подчеркнул эти слова), то это в лучшем случае интриган, в среднем — жулик, в худшем — предатель. — Он засмеялся. — Но нет правила без исключений. Ваш-то помощник вдобавок еще совсем мальчик... Дай вам Бог не ошибиться... Плохо наше дело, Александр Михайлович, — со вздохом сказал он.

— Ведь вы говорили, ничего не случилось?

— Ничего не случилось, но я чувствую, что дело идет скверно. Начать с того, что расплодилось слишком много заговоров, и все они детские. Сами не работают, а другим только мешают. Проклятая романтика черных плащей!.. — зевнув, сказал он. — А между тем большевистская полиция делает сказочные успехи. Меня просто профессиональная зависть мучит, la jalouse de métier. Еще месяца три тому назад у них не было ровно ничего: прямо под носом можно было конспирировать. Теперь дело изменилось. Они

совершенно правильно все поставили на внутреннем освещении, на провокаторах и на предателях.

— А у вас на что ставили?

— У нас было и это, но главное было все же в наблюдении со стороны и сверху. Мы, как-никак, строились на века и потому не могли систематически, пачками, развращать людей. Они же о веках не думают, — именно это, в пределах небольшого срока, сообщает их системе силу огромную, почти непреодолимую.

— Все-таки для чего вы пожаловали сюда, Сергей Васильевич? Ведь не для социологических споров, я думаю?

— Вот для чего я пожаловал и вот что я вам скажу: англичане ведут себя как последние дураки, чтоб не сказать, Боже избави, хуже. Нам денег не дают, все хотят делать сами; мы, мол, не знаем, что нужно делать, а они знают. Вот и этот Клервилль перед вами пел Лазаря: надо, мол, посмотреть, да надо сообразить, да надо подумать, да что, да как, да зачем? А в Москве их представитель затеял глупейшую игру: готовит военный переворот; подкупает воинские части и делает все это так необыкновенно искусно, что, по моим сведениям, каждый его шаг известен Чрезвычайной Комиссии!.. Говорят, будто в их посольстве сосредоточены «все нити переворота». Уж я не знаю, что это за нити, а только эти господа чрезмерно рассчитывают на дипломатическую неприкосновенность. Боюсь, что к ним не сегодня-завтра прикоснутся... Сами, может быть, и выйдут сухи из воды, а других в этой воде потонет много.

— Так чего же вы хотите?

— Вот чего. Скажите вы, не откладывая, вашему другу Клервиллю... Ему, верно, кажется, что налет на английское посольство есть вещь столь же невозможная в мире, как захват грабителями луны или неприятельское вторжение на Юпитер. Уверьте вы его, пожалуйста, что это не совсем так. Не скрою, мне весьма безразлично, что случится со всеми этими Клервиллями... Пропади они пропадом, наши доблестные союзники! Из-за них погибла Россия! — с внезапно прорвавшейся злобой сказал Федосьев. — Но если в посольстве найдут русских, если там обнаружат эти самые «нити», то и наше дело будет сорвано и последствия могут быть ужасны... Можете ли вы объяснить ему это поубедительнее?

[Пишущему эти строки известно, что английские военные агенты предупреждались в июле и августе 1918 г., из кругов русских заговорщиков того времени, о возможности большевистского налета на британское посольство (намек на это есть и в иностранной мемуарной литературе). Предупреждения веры не встретили. Арест Локкарта и захват посольства по времени совпали с убийством Урицкого и покушением Доры Каштан. Вслед за этим начался террор и массовые расстрелы.

О найденной в британском посольстве «компрометирующей переписке» глухо сообщали в торжествующем тоне «Известия» в номере 3 сентября 1918 года. (Автор.)]

— Постараюсь.

— Пожалуйста... Теперь другое. Горе мое ваш князь Горенский! — со вздохом сказал Федосьев. — Мне сообщили, что он ведет себя крайне неосторожно. Уж я не знаю, в какую организацию он входит, но с нами вы его связали совершенно напрасно. Это на вашей совести. Я, признаюсь, и не думал, что вы будете так усердны... Какой толк от князя Горенского?

— Такой же, как от всех. Горенский связан с большой офицерской группой.

— Ох, уж эти офицерские группы.

— Однако вести войну без офицеров трудно. Я, напротив, в последнее время убедился, что самые ценные и надежные работники в России именно офицеры... Организация Горенского переправляет своих людей на юг.

— Вот бы хорошо, если б она туда переправила и его самого. На Кавказ, в Крым, к гетману, куда угодно. Я всем рад сделать этот ценный подарок. Болтлив, вспыльчив, невнимателен, все свойства для конспирации мало подходящие. Скажите ему, ради Бога,

чтобы он был осторожнее. Ведь если за ним слежка, то он наведет ее и на нас... Может быть, уже навел.

— У вас есть основания так думать?

— Оснований пока нет... Притом, что же это, наконец, такое, Александр Михайлович? — со злобой спросил Федосьев. — Что он за ерунду несет о новой войне с Германией, о новом фронте чуть ли не на Урале. Ведь это курам на смех! Какая теперь война с Германией? Какой фронт? Какой Урал? Ведь он это не союзникам рассказывает. Надоела мне эта болтовня о верности до гроба маленькой Бельгии, — не могу вам сказать, как надоела! Четыре года люди говорят одно и то же, одними и теми же словами. Меня от этих слов тоска берет, как, бывало, в глухой провинции, когда зарядит дождь.

— Мы условились с вами о высокой политике пока не говорить, — сухо сказал Браун. — Там видно будет.

— Но ведь этакой высокой политикой можно погубить все дело! Кому теперь охота воевать с Германией?

— Тогда ставьте вопрос шире: кому теперь вообще охота воевать, с кем бы то ни было и за что бы то ни было? Очень может быть, все это второй крестовый поход... Вы помните, как кончился второй крестовый поход?

— Понятия не имею... Ничем, вероятно, как и другие?

— Хуже. Уцелевшие крестоносцы приняли ислам.

— Относительно себя я спокоен.

— Я тоже.

— Как у вас идет работа?

— Хорошо. За мной дело не станет.

— За другими может стать, — сказал, зевая, Федосьев. — Устал я... Где же ваш нитроглицерин, покажите.

— Сейчас начинаю реакцию. Хотите взглянуть?

— Да, любопытно бы... Меня столько раз пытались взорвать динамитом.

— С вашей стороны просто долг вежливости ответить тем же.

Они точно осуждены были говорить друг с другом в ироническом тоне, хоть тон этот порядком надоел обоим. Раз навсегда взятая привычка была теперь сильнее их воли.

Браун перелил жидкость в воронку с краном, укрепленную над сосудом, и подбавил льда в кадку.

— Вот видите, это очень просто, — сказал он. — Здесь у меня смесь азотной и серной кислоты. При взаимодействии с глицерином образуется нитроглицерин. Реакция сопровождается разогреванием смеси, и приходится постоянно охлаждать сосуд: градусах при тридцати уже начинают появляться красные пары, а если температура поднимется выше, то взрыв почти неизбежен. Ну вот, я приступаю.

Он повернул кран воронки и пустил тоненькую слабую струю, перемешивая стеклянной палочкой жидкость в сосуде. Федосьев с любопытством молча следил за операцией.

— Образовавшийся нитроглицерин отделяют в воронке, — говорил Браун, то закрывая, то открывая кран и все время перемешивая жидкость. — Затем промывают и сушат. В чистом виде он довольно устойчив и безопасен... Вот только голова болит от его паров...

— Что же вы делаете?

— Теперь немного привык... Помогает очень крепкий кофе.

— А, это по моей части, я любитель... Помните, каким кофе я вас угощал?

— Помню. Прекрасный был кофе... — Он подлил жидкости в воронку, вынул опущенный в смесь длинный термометр и снова повернул кран. — Если б охлаждение и перемешивание можно было регулировать, опасность очень уменьшилась бы.

— А сейчас есть опасность?

— Маленькая...

— Может, лучше вас не развлекать разговорами?

— Нет, сделайте одолжение. Я слежу за реакцией внимательно.

— На недостаток самообладания вы не можете пожаловаться.

— Держу себя в руках.

— Вам, верно, часто случалось работать с опасными веществами? С ядами, например?

— Нельзя сказать, чтобы много, но случалось, — улыбаясь, ответил Браун. Он опять вынул из жидкости термометр, взглянул на него и чуть усилил струю. — Я даже специально работал по токсикологии.

— Да, вы мне говорили... Помните, тогда в связи с делом Фишера?.. А вы знаете, дочь Фишера заняла теперь у них видное положение. Товарищ Карова, ваш друг, гонимый царскими опричниками.

— Она всегда была видная.

— Теперь стала еще виднее. Вы знаете, ее назначили в Чрезвычайную Комиссию.

— Неужели? — удивленно спросил Браун, на мгновение отрывая взгляд от сосуда. — Она туда не пойдет.

— Отчего не пойти, если велит партия? Ведь она дурочка... А вот будет забавно, если она-то вас и расстреляет?

— Уж чего забавнее.

— Только вы мне до того, Александр Михайлович, расскажите историю этой вашей дружбы, — сказал Федосьев. — С ней и с ее отцом, — небрежно добавил он.

— Отчего же?.. Скажите, Сергей Васильевич... — он опять взглянул на термометр. — Ого!.. — Браун быстро закрыл кран и добавил льда в кадку. — Двадцать восемь градусов.

— Взорвемся?

— Нет, зачем же...

— Вы о чем-то спрашивали?

— Да... Я хотел спросить: у вас, верно, всегда были навязчивые идеи?

— Навязчивые идеи? Почему?

— Да так. Мне иногда кажется, что у вас должна быть склонность к навязчивым идеям, притом к весьма странным.

— Не замечал в себе... Не замечал...

— А то надо бы лечиться, это опасно... Двадцать пять градусов, теперь все в порядке.

— Превосходные у вас нервы, Александр Михайлович, — сказал, помолчав, Федосьев.

— Нервы плохие, задерживающие центры хорошие.

— Как все это, однако, странно! Все пошло шиворот навыворот. Вы работаете со мной, с матерым опричником, против революционеров.

— Что ж делать? Если революционеры оказались главными опричниками.

— Значит «освободительное движение» продолжается?

— Ну да... Это ничего, что я теперь с вами. Потом, в случае надобности, и вас можно будет взорвать.

— Разумеется. Все дело, чтоб это вошло в привычку... А я объяснял вам по-иному, мудренее. Мне казалось, что для вас эта работа — бегство.

— Какое бегство? Куда?

— Да от себя, от своих мыслей, от своей тоски.

— О Господи! — сказал, смеясь, Браун. — Как же было не погибнуть России, если даже в начальнике полиции сидел изысканный литератор.

Федосьев тоже засмеялся.

— Все-таки я надеюсь сговориться с вами и об освободительном движении в будущем. Уж будто вы такой фанатик демократии?

— Нет, не фанатик. Демократия недурной выход из нетрудных положений.

— А положение России еще очень долго будет трудным, — подхватил Федосьев. — Для вашего успокоения мы отведем демократии место в самом конце пьесы. Вроде, как у Гоголя: когда автору больше ничего не нужно, появляется ревизор. Не Хлестаков, а настоящий.

— И всех отдает под суд.

— Это неизвестно: я уверен, городничий сговорился и с настоящим ревизором. Поднес, верно, ему какого-нибудь щенка... Вот мы и демократии в конце что-нибудь поднесем: два-три портфеля, что ли... Так не забудьте же, пожалуйста, сказать Клервиллю и князьку. До свиданья, Александр Михайлович.

— До свиданья... Извините, не провожаю.

— Не взорвитесь только. Это было бы бестактно.

— Постараюсь, чтобы вас не огорчать.

— Значит, послезавтра, в шесть часов, там же.

— Послезавтра, в шесть часов, там же, — повторил Браун.

XI

«...Нитроглицерин, символ мудрости, которая раскрывает последнюю загадку и лишает значения остальные... Я пытался основать жизнь на творчестве. На этом я построил философскую систему „Ключа“. В минуты самообмана я думал, что новые ценности положат конец историческому недоразумению, затянувшемуся на тысячелетия. Теперь я занят разрушением, — им, вероятно, и кончу жизнь. Наивные люди прошлого века верили в созидательную силу разрушения. Зачем мне теперь его созидательная сила?

— Затем, что она спасет Россию. Затем, что она принесет свободу.

— Да, может быть. Я надеюсь. Я поэтому рискую головой. Однако — что это означает? Означает лишь те условия, в которых я за границей едва мог жить без всякой войны, без всякой революции. Вот что гложет меня ждать в лучшем случае: то, что было. Я говорил себе в утешение: задача нашего времени — создать основу творчества, внешнее, материальное благополучие людей. Я не понимал, что при осуществлении этой задачи погибнет то, для чего она осуществлялась. Все было обманом... Теперь я всему знаю цену. Чем же я буду жить? После мифа той свободы, после соблазнительной мистики творчества, какие еще ценности я введу в систему «Ключа»?

— Будешь жить, потому, что ты стал свободен по-другому. Новую свободу ты нашел тогда, когда, казалось тебе, ты все растерял со старой. Вслед за миром А опустел у тебя мир В. Твой опыт теперь достаточно богат. Что было суждено, ты испытал, и больше ничего не ждешь от жизни. Это и есть ключ, твой философский камень, твой *occultum secretum*. Он очищает и освобождает, — вот как эта желтая смерть!..»

Браун вздрогнул и, сорвавшись с кресла, бросился к аппарату, над которым вились красноватые пары. Он задохнулся, повернул края воронки и взглянул на термометр. Опустившись на колени перед ведром, он быстро стал бросать в кадку лед. «Сию минуту дом взлетит на воздух!.. Сию секунду!.. — успел подумать Браун, глядя расширенными глазами на стенки сосуда. — Вылить все в кадку?.. Нет, поздно!.. Бежать? Тоже поздно...»

Мелкие куски льда резали и жгли его руки, забирались в рукава, падали на пол. Браун схватил ведро и, приподнявшись, стал лить в кадку ледяную воду. Так в согнутом положении, не спуская глаз с аппарата, он стоял несколько минут. Затем поставил ведро на пол и не сразу протянул руку к термометру.

Он перевел дух. На дне пустого ведра оставались большие куски льда. Браун бросил их в кадку и еще подождал. Лицо его дергалось. «Да, пронесло!» — подумал он и, шатаясь, отошел от аппарата.

XII

С первым представлением фильма, в котором играла Сонечка, у нее была связана драма: Муся, Глаша, Витя решительно отказались пойти на это представление.

Березин теперь имел в правящих кругах очень влиятельных покровителей. Его имя не раз отмечалось в большевистской печати с похвалами таланту, с признанием заслуг. В

других газетах, еще кое-как тогда выходивших, Березина продернули с язвительной насмешкой. Это и озлобило его, и окончательно толкнуло к большевикам: он почувствовал, что зашел слишком далеко, что ему не простят, что терять ему больше нечего, и открыто порвал со старыми друзьями.

Сценарий фильма был составлен давно. Березин только поправил еще не сыгранные сцены. Кинематографом в ту пору мало интересовались в советских кругах. Однако покровители Березина признали, что в фильме хорошо разоблачено духовное убожество старых правящих классов и в надлежащем свете показана их жизнь. На первый спектакль обещал явиться важный представитель Народного Комиссариата. Ожидались речи. Билеты были именные, по приглашениям.

— Надо выбирать, Сонечка, мы или они, — твердо говорила Глаша.

— Но чем же я виновата? — вытирая слезы, спрашивала Сонечка.

— Вы ничем не виноваты, виноват только этот господин (Глафира Генриховна, вслед за Горенским, так называла теперь Березина). Скажу больше, — смягчившись, прибавила она, — вы, Сонечка, по-моему, можете идти на первое представление, так как вы играете в пьесе. Но на нас, пожалуйста, не рассчитывайте.

— Да, это верно, Сонечка, — сказала Муся, смягчая тоном смысл своих слов. Ей очень не хотелось окончательно рвать с Березиным. Она знала, однако, что теперь это дело конченное.

— Я вас понимаю, Глаша... Но клянусь вам!.. Я говорю, Мусенька, в нашей фильме ничего такого нет... Разве я стала бы?.. И неужели ты думаешь, что Сергей Сергеевич... — Сонечка совсем расплакалась.

— Да я ничего такого не думаю, я отлично понимаю, — смущенно и бестолково говорила Муся.

— Главное, дальше не идите, а то с этим господином Бог знает до чего дойдешь, — добавила Глаша. Муся с укором и раздражением на нее взглянула, хотя была с ней согласна.

Сонечка не пошла на первое представление фильма: она принесла эту жертву своим друзьям, инстинктом чувствуя, что жертва даст ей некоторые права в будущем. Березину она, краснея, сказала, что была нездорова.

— Страшная мигрень!.. Пролежала целый день в постели... Ужас, как болела голова!..

Березин снисходительно потрепал ее по щечке: во время работы над фильмом они очень сблизились. Сонечка, впрочем, с огорчением видела, что Сергей Сергеевич вообще не церемонится с подчиненными ему актерами. Березина не любили в мастерской, мелкие служащие втихомолку ругали его самыми грубыми словами.

— Знаю я эту мигрень. Милые друзья не пустили, а?

— Клянусь вам, Сергей Сергеевич...

— Не клянитесь, курочка, а скажите мадмуазель Кременецкой (Березин иронически подчеркнул эти слова, он был очень зол на Мусю), скажите вы ей, чтобы она приберегла гражданскую строгость для своего папаши. Служить искусству нельзя, да? Строить новую жизнь нельзя? А продавать Россию можно? А за копейку продаваться всяким плутократам Нещеретовым можно?.. И о господине Клервилле тоже ей не мешало бы подумать... Внушить бы ему, например, чтоб он бросил свою шпионскую работу.

— Сергей Сергеевич, что вы! Бог с вами!..

— Не кудахтайте, Сонечка, я правду говорю. Мне известно, что он шпион. Как бы только не лопнуло терпение у русского народа. Да!

После первого спектакля, который сошел очень торжественно, фильм был перенесен в районы. Глаша и Муся первые заявили Сонечке, что непременно хотят ее увидеть на экране. Обещал пойти на районный спектакль и Горенский, которого тоже умилила жертва Сонечки

(он очень ее любил, как все). Сонечка радостно благодарила друзей. Ей удалось достать пять билетов: это было нелегко, так как почти все места раздавались по рабочим организациям, клубам и просветительным кружкам. Билеты были взяты на субботнее дневное представление, начинавшееся в два часа: по вечерам выходить было опасно.

Накануне районного спектакля, утром в пятницу, 30 августа, в Петербурге был убит народный комиссар Урицкий. Известие это мгновенно облетело столицу, вызывая смятение и панику. Мрачные слухи поползли по городу. Говорили, что на улицах патрули обыскивают прохожих, что по домам идут массовые обыски, что на вокзалах давка: люди бегут куда попало.

— Теперь опять с Сонечкой будет история, — сказала Мусе Глафира Генриховна, когда первое волнение от известия несколько улеглось.

— Что еще?

— Да не идти же завтра в этот ее кинематограф!

— В самом деле, я и не подумала... Бедная Сонечка!

Мусе тоже было не до кинематографа. Она беспокоилась, впрочем, не о себе: Муся была уверена, что против нее никто ничего не может иметь; а если б к ним и нагрянули с обыском, то, как невесту английского офицера из военной миссии, ее тотчас отпустили бы на свободу: Клервилль, конечно, этого немедленно добился бы. Что-то в такой возможности — Вивиан спасет ее жизнь — даже ласкало воображение Муси. Но она волновалась из-за других, из-за Брауна, Горенского, Никонова, в особенности из-за Вити: Муся сердцем чувствовала, что с ним происходит что-то неладное. Очень беспокоило ее и то, как родители узнают о петербургских событиях.

— Воображаю ужас папы и мамы, когда они в Киеве прочтут! — сказала она Глаше. — Мама от страха за меня с ума сойдет.

— Не от страха, а от угрызений совести, что оставила тебя здесь... А Сонечке уж ты как-нибудь объясни, что теперь неудобно и даже неприлично идти на спектакль.

Объяснить это Санечке оказалось трудно.

— Ну, да, конечно, это не так интересно, — сказала она после первых же слов Муси, и слезы полились у нее из глаз.

— Сонечка, пойми же, я говорю: отложим на несколько дней.

— Нет, я прекрасно понимаю, что вам неинтересно смотреть эту фильму... И даже, может быть, неприятно: ведь я тоже большевичка, правда?

— Не говори глупостей!.. Я тебе повторяю: отложим на несколько дней, всего на несколько дней.

— Ах, оставь, пожалуйста! Вы обе меня, кажется, считаете душой... Ты отлично знаешь, чего мне стоило достать места... Разве мне опять дадут пять билетов? Никогда!.. Это ты, вероятно, думаешь, что я у них первое лицо...

— Сонечка, милая, не плачь, я тебе объясню...

— Оставь, пожалуйста, я тебя прошу. Мне только жаль, что я так хотела тебе это показать... Чем я виновата, что кого-то убили! Потом еще кого-нибудь убьют...

Она зарыдала и убежала к себе в комнату. Муся не решилась туда за ней последовать, да ее немного и раздражил детский эгоизм Сонечки.

Позднее пришли мужчины — Горенский и Витя — с запасом свежих новостей и слухов. Новости и слухи были страшные. Однако оба они были очень возбуждены грозной победой террора.

Узнав о горе Сонечки, князь решительно принял ее сторону.

— Отчего же нельзя пойти в кинематограф? — сказал он. — Если вы говорите с точки зрения безопасности, то теперь, право, везде, а в кинематографе в особенности, гораздо безопаснее, чем дома.

— Да мы совсем не в этом смысле, — сказала поспешно Глаша, — а потому, что если

случилось такое дело, то нам не до развлечений.

— Этому делу надо радоваться, а юношей этим народ русский должен гордиться.

— Я с вами согласна.

— Вот я это самое им все время доказываю, — радостно говорила Сонечка.

Князь остался ужинать. После ужина он шутливо объявил, что остался бы и ночевать, если б его пригласили. Это вызвало общую радость. Глаша побежала устраивать для Алексея Андреевича постель. Муся обещала достать пижаму из шкапа Семена Исидоровича. Витя усиленно предлагал свою комнату.

— Зачем в вашу комнату? Ни за что!

— Мы вас устроим в спальней папы...

— И в спальню Семена Сидоровича тоже не хочу, зачем нарушать порядок? Вот здесь в столовой поставим какой-нибудь диван, если есть свободный... Нет, правда, я не очень вас всех стесню?

— Страшно всех стесните! Как вам не совестно?

— Сегодня верно половина Петербурга ночует у другой половины.

— И так приятно теперь быть вместе... Значит, завтра все вместе и пойдем в кинематограф? — сказала Сонечка.

— Нет, я завтра рано утром должен буду уйти: дела.

— Какие это теперь могут быть у вас дела, Алексей Андреевич? — спросила вскользь Муся. И она, и Глаша выжидательно смотрели с минуту на князя. — Где же мы встретимся? В зале?

— Да, в зале. И заранее прошу меня извинить: я, может быть, уйду до конца спектакля.

— Ах, нет! Моя последняя сцена перед самым концом... Впрочем, это, конечно, неважно.

— Напротив, Сонечка, это очень важно. В таком случае я останусь до конца, — сказал, смеясь, князь, — но уж вас домой проводить никак не смогу.

— Что за церемонии, ведь это днем... Нас проводит Витя.

— Я тоже не уверен, что буду свободен, — сказал Витя. — Мне нужно в лабораторию.

— Ты уж молчи, — набросилась на него Муся, — надоела мне твоя лаборатория! Я ее выдумала, я с ней и покончу... На мальчике лица нет.

— Меня давно интересует: блондинка или брюнетка эта лаборатория? — саркастически осведомилась Глафира Генриховна. Все засмеялись, польщенный Витя тоже.

— Алексей Андреевич, дорогой, милый, — сказала Сонечка, с нежностью глядя Горенского по руке, — значит, я вам сейчас дам ваш билет?... Да?... Вот он... И помните, начало ровно в два, лучше даже прийти раньше, а то бывает, что там захватывают все места.

— Жаль, что нельзя было достать шестой билет для Григория Ивановича, — сказала Муся.

— Ну, с Никоновым идти туда было бы опасно, — ответила Глаша. — Ведь там такая публика, а он шальной, со всеми спорит и всюду лезет на скандал... Между нами, Григорий Иванович теперь пьет немного больше, чем ему следовало бы. Уж не знаю, где он достает водку или денатурат, но я очень боюсь, как бы он не спился.

— Типун тебе на язык! — сказала Муся.

— Мне и самой жаль, я его очень люблю...

— Как вы думаете, Алексей Андреевич, — спросил Витя, — не может ли это событие отразиться на положении заключенных?

— Убийство Урицкого? Разумеется, еще как может, — рассеянно сказал князь, не заметив беспокойного взгляда Муси. — Впрочем, я не думаю, чтоб очень отразилось, — спохватился он, увидев изменившееся лицо Вити. — Их ведь должны интересовать не заключенные, а те, которые гуляют на свободе... Вот мы, грешные...

— Поэтому теперь обязанность каждого вести себя очень осторожно, — сказала как бы невзначай Муся. — Обязанность не только перед самим собой, но и перед другими.

— А вы, князь, должны быть особенно осторожны, из-за вашего титула, —

подтвердила Глафира Генриховна. — Право, вам лучше бы все эти дни ночевать у нас. Ведь мы вне подозрений...

— Конечно, Алексей Андреевич.

— Поверьте, вы нас ничуть не стесните... Кстати, когда вы завтра уходите из дому? В восемь? Отлично, чай для вас будет готов.

— Что вы, помилуйте! Никакого чаю мне не нужно.

— Да все равно, я и сама встаю в это время. Или, может быть, вы пьете кофе? У нас и кофе есть.

— У нас все есть.

— Выпьете кофе, закусите и пойдете по вашим делам. А вечером опять, милости просим, к нам.

XIII

На следующее утро настроение стало еще гораздо тревожнее. Из Москвы пришло известие о покушении на Ленина. Говорили, что он умирает. На Мусю это событие произвело сильное впечатление, в особенности потому, что на жизнь вождя большевиков покушалась женщина.

Идейная женщина да еще революционерка, это, собственно, было самое скучное и неэлегантное, что только могла себе представить Муся. У них в кружке слова эти даже мысленно заключались в кавычки. *Политической дамой* еще кое-как можно было быть: тоже представлялось скучноватым, — как *bas bleu*⁶⁶ — но *салон* многое выкупал, особенно если в нем бывали очень видные люди. Московское событие ударило Мусю по нервам: все сразу представилось ей в ином свете. Женщина эта (ее имени еще никто не знал) шла на страшную смерть наверняка. Покушение было произведено на большевистском митинге, — при таких условиях не могло быть и одного шанса из тысячи спастись бегством. У террористки были все основания предполагать, что разъяренная толпа тут же разорвет ее в клочья. В противном случае ее ждала неминуемая казнь, — быть может, и пытка, о которой со вчерашнего дня ползли по городу глухие зловещие слухи. «Какие же нервы должны быть у этой женщины и как она могла пойти на такое дело!» — содрогаясь думала Муся.

В доме все были напуганы. Князь ушел из дому с утра, еще до того, как они узнали о покушении. У Вити лицо стало бледно-зеленое, хоть глаза его сияли торжеством, точно он сам убил Ленина. Сонечка имела вид виноватый — из-за кинематографа. Глаша была очень встревожена и расстроена.

— Надо быть сумасшедшим, чтобы сегодня идти в какой-то идиотский кинематограф! — в сердцах сказала она. — Да нас и избить там могут.

— Что вы, Глаша, — робко возразила Сонечка, — как они догадаются, кто мы такие?

— Ах, я не стану спорить с вами, Сонечка! Право, было бы гораздо лучше, если бы вы просто меня слушались. Обо мне все можно сказать, но, слава Богу, глупой меня еще никто не считал, — заявила убежденно Глафира Генриховна.

«Удивительно, что это всегда говорят неумные люди», — подумала Муся.

— Скорее всего и спектакли будут сегодня отменены, если его убили, — сказала она нерешительно.

— Однако мы условились с князем, что встретимся с ним в кинематографе, — заметил Витя. — Нельзя же его подводить в самом деле...

Этот довод был решающим. Кроме того нервы у всех были так напряжены, что оставаться дома все равно было бы трудно.

— Теперь они совершенно ошалеют, — сказала Муся. — По-моему, теперь...

Послышался звонок. Все встрепенулись.

⁶⁶ синий чулок (фр.)

— Вероятно, это Маруся, — вполголоса сказала Глафира Генриховна, — она должна была сегодня утром принести белье.

Витя отворил дверь. Маруся вдвинула большую корзину, затем вошла в переднюю сама. Ей тоже было известно о покушении, но ни она, ни господа не начинали об этом разговора! каждая сторона находилась в неизвестности насчет того, как относится к событию другая.

Глафира Генриховна по записочке принимала белье, которое вынимала из корзины Маруся.

— Дела какие пошли! — наконец, не вытерпев, сказала Маруся, с любопытством глядя на барышень. — Что, слышали?

— Да... Слышали, — сдержанно ответила Глаша. — Одна, две, три... Витиных носков были четыре пары, четвертой нет...

— Как же нет? Вон, под носовыми платками.

— Ах, да, четыре...

— Пора бы Виктору Николаевичу новые купить, а то совсем продранные... Что делается, а?

— Купишь теперь! — сказала Глаша.

Витя смущенно заметил, что давно собирается купить все новое.

— О папаше ничего не слышно?

— Ничего.

— Господи! Все сидит да сидит, бедный, — сказала Маруся и неожиданно вынула из кармана небольшой сверток. — Вот, будете им посылать опять провизию, так и от меня пошлите... Шоколад это, я у анархистов-индивидуалистов получила, — добавила Маруся, наконец почти заучившая трудное название организации, в которой состоял ее друг матрос.

Все были тронуты. Витя горячо поблагодарил Марусю.

— Дела какие пошли, прямо беда! — конфузливо говорила она.

— Так что же в городе о делах говорят? — решила спросить Муся. Глафира Генриховна сердито на нее посмотрела. Конечно, Маруся была очень хорошая женщина, но в такое время и с ней не следовало вести откровенные разговоры.

— Муся, твои панталоны и combinaisons⁶⁷ тоже бы надо поштопать, — в наказание — при Вите — сказала Глаша. Наказание, однако, не подействовало на Мусю.

— Что же говорят в городе? — твердо повторила она свой вопрос.

— У Европейской гостиницы облава идет, — страшным шепотом сказала Маруся. Разговор о событиях завязался. Однако политическое настроение Маруси выяснить с точностью не удалось. Она также говорила сдержанно, хоть ей, видимо, очень хотелось знать настроение барышень. Впечатление было такое, что убийству Урицкого она сочувствует, а убийству Ленина не сочувствует.

— Это сказался «национальный момент», — после ухода Маруси, смеясь, сказала друзьям Муся.

— Не думаю... Скорее то, что на Ленина покушалась женщина, — ответила Глаша. — Не женское, мол, дело.

— Ни то, ни другое... Вы забываете, что все-таки Ленин не шеф Чрезвычайной Комиссии.

— В такой анализ, Витенька, они входить не могут... Так как же: значит, идем в кинематограф?

— Что же теперь делать, если условились с князем. Я завтрак подам ровно в двенадцать.

После завтрака, одевшись возможно хуже (это теперь всем было и не очень трудно), они вышли на улицу, обмениваясь вполголоса впечатлениями. Им показалось, что

⁶⁷ комбинация (фр.)

мотоциклетки носятся по городу чаще и быстрее, чем прежде, что лица у редких прохожих очень тревожные и напряженные.

— Чувствуют неладное, — беззаботным тоном сказал Витя. — Подходит их игра к концу.

— Тссс! — прошептала Глаша, зверски глядя на Витю и показывая движением головы, что сзади кто-то идет. Прохожий их обогнал, испуганно взглянул сбоку и, видимо успокоенный, побежал дальше.

— Как же можно говорить о таких вещах на улице! — набросилась Глафира Генриховна на Витю, когда прохожий ушел далеко вперед. — Вы, Витя, кажется, совсем с ума сошли! Нас могли тут же схватить!

— Да он больше всего боялся, как бы мы его тут же не схватили.

— Вы еще смеете шутить!.. Почему вы могли знать, кто за нами идет?

— Все хорошо, что хорошо кончается, — примирительно сказала Муся.

Они подходили к кинематографу. Вестибюль был освещен, к великому облегчению Сонечки: значит, спектакля не отменили. Кинематограф был новый и роскошный, — так перед войной, по самому последнему слову техники, строились богатые кинематографы и банкирские дома: здание напоминало отчасти дворец дождей, отчасти берлинский универсальный магазин. В вестибюле на стенах висели портреты Ленина, Троцкого, Макса Линдера и Франчески Бертини. Посредине вестибюля еще уцелел чудом остаток бобрика, с неровно обрезанными краями. Он был засыпан семечками. Муся подумала, что в этих семечках есть что-то вызывающее, — все петербургские остряки потешались над семечками, и они точно говорили: «да, мы семечки! И да здравствует революция!»

В кинематографе настроение было гораздо менее тревожное, чем на улице, — это вошедшие тотчас почувствовали. Зал был почти полон, стоял веселый гул. Преобладала рабочая молодежь, очевидно пришедшая по даровым билетам.

Муся остановилась в проходе, отыскивая взглядом свободные места. Четырех мест рядом не было нигде.

— Ну, так вы здесь сядьте, а я пройду вон туда. Я даже предпочитаю поближе к сцене, — сказала Глаша. Муся подтолкнула Сонечку в бок. Глафира Генриховна облюбовала два места рядом, довольно далеко от них, и, усевшись, тотчас положила сумочку на стул около себя. Места Муси, Сонечки и Вити были в одном ряду, но отделенные одно от другого; между ними устроилась компания молодых рабочих. Увидев Мусю и Сонечку, один из них, белокурый, с веселой улыбкой на благодушном лице, что-то шепнул соседу. Оба засмеялись. Витя нахмурился. Сонечка рассталась с Мусей, очень огорченная: так все удовольствие пропадало, если сидеть не рядом и не обмениваться непосредственными впечатлениями. Белокурый рабочий посмотрел на Сонечку, встал и, бросив докуренную папироску, галантно предложил барышням сесть рядом. Компания, фыркая, пересела, освободив место для Сонечки, которая рассыпалась в выражениях благодарности. Вите пришлось сесть отдельно, по другую сторону компании.

— Не стоит благодарить, барышня, — сказал рабочий, — вам друг с дружкой веселее, мы тоже понимаем.

— Какой любезный пролетарий! Это ты имеешь такой успех, — шепнула на ухо Сонечке Муся, тревога которой тотчас совершенно рассеялась.

— Почему я? Ты, конечно... Я тебе говорила, что здесь все будет совершенно спокойно.

— Может, они еще не знают об убийстве Ленина... Князя, конечно, еще нет. Он, как всегда, последний.

— Разумеется! Вот и останется без места, — огорченно сказала Сонечка, — ведь я говорила, что нужно прийти возможно раньше.

— Нет, без места он не останется. Разве ты не видишь, что Глаша обо всем подумала?

— Ах, да! — Сонечка весело засмеялась. — Я уверена, что Глаша скоро будет княгиней! Как ты к этому относишься?

— «Пусть называется», — сказала Муся с почти искренним равнодушием. — Слава Богу, наконец, явился и он.

В дверях показалась высокая фигура князя. Он окинул зал взглядом и, разыскав друзей, приветливо помахал рукой Мусе и Сонечке, затем направился к Глафире Генриховне, которая, привстав, ожесточенно показывала ему рукой на стул с сумочкой.

— Нет, и он не последний, вот еще какой-то тип, — сказала Сонечка. Действительно, вслед за Горенским, в дверях зала появился худой, плохо одетый человек с лицом лимонного цвета. Он быстро огляделся в зале. В ту же секунду свет погас, пронесся радостный гул, и тощая пианистка заиграла «На сопках Маньчжурии».

— Теперь держись, мы тебя раскритикуем, — сказала шепотом Муся.

— Я еще не скоро, — прошептала с волнением Сонечка.

— Ты понимаешь, пролетарии сейчас тебя узнают на экране.

— Что ты говоришь!.. Я и не подумала... Нет, никогда не узнают... Им в голову не придет...

Развалившись в покойном кресле, граф Карл фон-Цингроде подливал себе ликера из бутылки, стоявшей рядом с ним на столике. У ног графа на бархатной подушке сидела его любовница, с которой он обращался холодно и презрительно. Березин ничего не пожалел для обличения графа Карла. Но рабочим, сидевшим рядом с Сонечкой, по-видимому, очень нравилась его жизнь. По крайней мере они все время сочувственно гоготали, обмениваясь вполголоса довольно неожиданными замечаниями. Напротив, тот хороший бедный человек, которого любила Сонечка и которого преследовал граф Карл, явно не вызывал сочувствия. «Эх, раззява», — говорил белокурый рабочий. — «Шляпа», — подтверждал другой. Граф выиграл груды золота в клубе и оттуда в роскошной коляске отправился в охотничий замок на свидание с другой своей любовницей. — «Ну, и живут, собаки!» — с сочувственной завистью сказал сосед Сонечки. — «Так его!.. Вот так, так!» — радостно откликнулся белокурый рабочий, когда граф ударил хлыстом провинившегося лакея. Сцена появления Сонечки приближалась. Ее волнение все росло.

— Еще три... нет, четыре номера, когда не я, а потом я, — замирая, шептала Сонечка. — Правда, она хорошо играет?..

— Так себе... Некрасивая.

— Ты находишь? По-моему, ничего, только нос длинный... Это она едет на бал...

— Какая же дама перед войной могла быть на балу без перчаток?.. Эх, вы! Неужели длинных перчаток не могли достать?

— Я не знала... Ну, вот сейчас, во втором номере была я... Только, ради Бога, Мусенька, не смейся!

Муся ахнула, увидев Сонечку на экране.

— Господи, какая ты смешная!

— Смешная? Почему смешная? — тревожным шепотом спрашивала Сонечка, вглядываясь в полумраке в лицо Муси.

— То есть не смешная, ты прелесть!

— Нет, ты правду говоришь? Ты это искренно?

— Прямо прелесть... Нет, как она на него смотрит, бесстыдница! За такой взгляд сейчас же тебя в угол!

— Ах, с этой сценой вышла целая история, я тебе потом расскажу... Теперь один номер не я... А потом я гуляю в саду с собакой и думаю о нем... Вот... Ну, что? Как?

— Чудно!.. И собачка чудная.

— Ты говори не о собачке, а обо мне.

— Я тебе говорю: прелесть! Глазенапы такие строишь!

— Четверть часа подводила... Но ты искренно? Поклянись моей жизнью, что тебе нравится!

— Клянусь! — подняв руку, сказала Муся. На нее оглянулись спереди соседи.
— Что ты делаешь?.. Спасибо, Мусенька, ты ангел... Ну, слава Богу, теперь опять долго не я...

Граф Карл фон-Цингроде сыпал деньгами, кутил и совершал поступки один предосудительнее другого. Но дурная жизнь господствующих классов положительно не вызывала возмущения у соседей Сонечки: они гоготали все веселее и сочувственнее, особенно в любовных сценах, когда граф сажал к себе на колени новую любовницу. — «Тебе бы, Федька, такую, а?.. Почище твоей лохматенькой будет», — говорил белокурый рабочий.

— Сейчас важная сцена... Они его захлороформируют, — шептала Сонечка, расширяя в темноте глаза. — Ты понимаешь, у него двойная жизнь!

— Я так и догадывалась, что граф нехороший человек.

— Пожалуйста, не издевайся... Вот из-за этой сцены в студии вышел тот скандал, помнишь, я вам рассказывала?

— Помню, — подтверждала Муся, хоть ровно ничего не помнила. Сонечка, уже всецело проникнутая корпоративным духом, постоянно рассказывала о каких-то историях в студии.

— Ну, вот теперь смотри, сейчас моя главная сцена... Номера тридцать пятый, тридцать шестой и тридцать седьмой...

Главная сцена тоже очень понравилась Мусе. Чтобы вышло правдоподобнее, она сделала и критические замечания, но такие, которые никак не могли задеть Сонечку. На минуту в зале зажегся свет. Горенский и Глаша, повернувшись в креслах, телеграфировали Сонечке знаки полного одобрения. Князь беззвучно похлопал в ладоши и послал ей воздушный поцелуй. Витя, сидевший близко, успел даже пробраться к ним и сказал Сонечке, что она играет восхитительно.

— Знаю я тебя! Еще правду ли ты говоришь? Тебе в самом деле так понравилось?

— Лопни мои глаза! Отсохни у меня руки и ноги! — подражая Никонову, сказал Витя. Рабочие шептались, оглядываясь на Сонечку. Свет опять погас. Витя вернулся на свое место.

— Я тебе говорила, что пролетарии тебя узнают, — шепнула Муся. — Вот это и есть слава.

— Ах, перестань издеваться! — сказала счастливая Сонечка и поцеловала Мусю. — Я что? Я ничего...

Она уселась в кресле поудобнее: ее сцен больше не было, и теперь она могла спокойно смотреть фильм, который, впрочем, подходил к концу. Для графа Карла приближалась расплата за грехи. Честный молодой человек торжествовал. Однако его торжество не встречало у публики восторга. Бедняки, поднятые на восстание молодым человеком, увели связанного графа Карла (у Беневоленского сценарий кончался не так, но Березин изменил развязку). «Так ему и надо», — сказал без одушевления сосед Сонечки. Веселый рабочий ничего не ответил. По-видимому, бедняки публику не интересовали, — она бедняков знала лучше, чем автор сценария.

XIV

Свет снова зажегся, поднялся гул, все повалили к выходу. Князь и Глафира Генриховна очень хвалили Сонечку. Глаша на этот раз была с ней так мила и нежна, что Муся немного насторожилась. «Уж не произошло ли что у них с Алексеем Андреевичем?» — подумала она, внимательно вглядываясь в Глашу и князя: ей показалось, что лицо у Глафиры Генриховны в самом деле счастливое и возбужденное, почти как у Сонечки.

Князь тотчас простился с дамами.

— Я предупреждал, что должен буду уйти. Уж вы меня извините, Витя вас проводит.

«И у него как будто вид растерянный, верно в самом деле произошло объяснение», —

подумала Муся, подавляя в себе легкое неприятное чувство. — «Нет, мне все равно, я за нее рада», — ответила она. — «А что-то есть в нем vieux jeu⁶⁸ и скучноватое: старик Тургенев, целующий руку Полины Виардо... Надо сказать Глаше, это она Полина Виардо... Впрочем, не надо...»

— Да, Витя нас проводит, — сказала она, глядя на князя со спокойной и ласковой улыбкой. — До свиданья, Алексей Андреевич. Итак, помните, что вы у нас ночуете.

— Спасибо... Если смогу, приду.

— Нет, не если сможете, а наверное.

— Спасибо... О московском деле слышали?

— Слышали, — нехотя ответила Муся. — Тем более нужно, чтоб вы пришли ночевать. И нам будет спокойнее.

— Ну, хорошо... Тогда до скорого свиданья. Витя, передаю вам дам.

— Виноват, я тоже предупредил, что буду занят, — говорил Витя. Князь простился и своей быстрой походкой направился дальше по улице. Муся и Глаша смотрели ему вслед. Худой человек, которого Сонечка назвала «каким-то типом», отделился от афиши и пошел за Горенским. Что-то неприятное еле мелькнуло в сознании Муси, но она не успела подумать, что такое. Глаша быстро и возбужденно говорила Вите:

— Не хотите? Ну и не надо... Как-нибудь обойдемся без вас!.. Как-нибудь обойдемся без вас, мы трое, правда, Сонечка? И вот, на зло вам, мы с Мусей и Сонечкой сейчас идем кутить.

— Это куда?

— В первый раз слышим.

— Я вас веду в кондитерскую, где подают настоящий шоколад и пирожные.

— Глаша, вы получили из Америки наследство? Сознайтесь!

— Да уж наследство или не наследство, а только я вас обеих веду в такое место, где дают настоящий шоколад и настоящие пирожные. Трубочки с желтым кремом, сама видела... Что, Витенька, может, вы бы нас проводили?

— Рад бы в рай, да грехи не пускают, — ответил со вздохом Витя. — «Всего», — насмешливо произнес он советское прощанье.

— Витя, а то пойдем с нами, — сияя счастливой улыбкой, говорила Сонечка. Но Витя остался тверд.

— Не позднее семи часов изволь быть дома, слышишь? — сказала Муся.

— Слушаю-с.

— Куда же мы теперь? — спросила Муся Глашу. — Ты в самом деле нас ведешь в кондитерскую?

— Царское слово обратно не берется!

— Ни царское, ни княжеское.

Глаша засмеялась. «Значит, правда, — подумала Муся. — Что ж, и слава Богу». Она вдруг повеселела.

Кондитерская была недалеко от кинематографа. Это была длинная узкая комната, разбитая перегородками на уютные отделения. Впереди у стены находился буфет с самоваром, с тарелками бутербродов и пирожных. За буфетом сидела высокая дама, — по словам Глаши, не то графиня, не то баронесса. Две барышни, разговаривавшие с хозяйкой, встали с дивана при входе гостей. Больше в кондитерской никого не было. Муся, Глаша и Сонечка конфузливо прошли по комнате и заняли последнее отделение, самое далекое от буфета. Глаша заказала шоколад, затем повела подруг к буфету выбирать пирожные и заставила их взять из-под сетки самые дорогие (цены везде были написаны).

— Еще возьмите, вот эти с кремом, должно быть, вкусные, — говорила она, искоса с любопытством поглядывая на печально улыбающуюся даму. Сонечка конфузилась, зная, что

⁶⁸ устарелое (фр.)

у Глаши денег очень мало. Они вернулись в свое отделение; барышня скоро принесла им туда шоколад и пирожные. Шоколад, по словам Глаши, был «так себе, на воде», но пирожные свежие и довольно вкусные. Они мгновенно съели все и, по настоянию Глаши, заказали еще три.

— Мерси, страшно вкусно, но что это вы так кутите, Глаша? — спрашивала Сонечка, с наслаждением уплетая пирожное.

Муся смотрела на Глафиру Генриховну с той же улыбкой.

— Вот что, надо будет и для Вити захватить две трубочки, — не отвечая на вопрос, объявила Глаша, — хоть он нас и бросил. Что поделаешь, лаборатория.

— Вы знаете, друзья мои, не нравится мне ваш Витька, — сказала Муся. — Что-то с ним такое происходит... А что, не могу понять.

— Верно, — подтвердила Глаша. — Я тоже замечаю.

— И я замечаю, — сказала, вытирая губы, Сонечка: ей теперь казалось, будто она тоже замечала что-то неладное за Витей. — Что же вы думаете?

— У мальчиков это бывает, — заметила Глаша, — может, ничего такого и нет.

— Помимо всего прочего, — сказала Муся, — помимо всего прочего, ведь и ответственность за него падает теперь на меня.

— Ну вот, почему же на тебя? — в один голос опросили Глаша и Сонечка.

— Да вы сами знаете... У него никого нет. Мать умерла, отец в крепости, и еще теперь неизвестно, выйдет ли он оттуда живым...

Голос Муси вдруг дрогнул. Она вынула из сумки платок и приложила к глазам. Сонечка очень расстроилась. Глаша принялась утешать Мусю.

— Ничего страшного пока нет... И даже не пока, а вообще нет. Николая Петровича, наверное, скоро выпустят...

— Нет, боюсь, не выпустят, — сказала Муся. — Я чувствую...

— Да что ты несешь! Ерунду ты чувствуешь! Мало ли людей арестовывали, а потом выпускали. Это у нас у всех нервы расшатались за время революции.

— Ты думаешь? — сказала Муся. Она спрятала платок в сумку. — Я, напротив, все удивляюсь, как мало я переменилась за это время. Разве чуть лучше стала, — уже спокойно добавила она.

— А я не стала ни лучше, ни хуже, — подхватила Сонечка. — Совсем как была, так и осталась... Ведь в самом деле это странно! Такие важные события, а люди не переменились.

— Многие переменились, — сказала Глаша. Она чуть было не сослалась на Березина, но спохватилась вовремя. — Многие сильно переменились. Да вот и Витя, вы же сами говорите.

— В таком возрасте он и без всякой революции должен был перемениться за это время... Ты знаешь, — с улыбкой сказала Муся, обращаясь к Глафире Генриховне. — Сонечка, не слушай... Я уверена, что он недавно стал мужчиной. И знаешь, *qui a d'#233;ni#233; le jeune homme?*⁶⁹ Догадайся.

— Понятия не имею.

— *Je te le donne en mille*⁷⁰, — почему-то по-французски продолжала Муся. — Вот догадайся.

— Да почему я могу знать? И, признаться, меня это не так интересует... Может быть, госпожа Фишер?

Муся была изумлена.

— Как ты догадалась?

— Вот тебе и «*je te le donne en mille*», — сказала, засмеявшись, Глафира Генриховна. —

⁶⁹ Кто лишил невинности молодого человека? (фр.)

⁷⁰ Я могу назвать тысячу (фр.)

Что же тут удивительного?

— Не может быть!.. Вы ошибаетесь! — широко раскрыв глаза, говорила Сонечка.

— Я не ручаюсь, конечно, он мне не говорил, но почему-то я убеждена. Как странно: Витя и эта авантюристка, которую допрашивал его отец!

— Вполне возможно. Она тогда позвала Витю к себе, помнишь, он еще хвастал. А таким нравятся мальчишки... Только ведь теперь ее нет в Петербурге? Значит, не в ней сила.

— Уже я не знаю, в чем сила... Сонечка, перестань ахать... Вообще это не для тебя предназначалось.

— Но ведь Витя влюблен в тебя! — проговорила Сонечка.

Муся засмеялась, совершенно забыв о том, что сама взяла с Сонечки клятву никому об этом не говорить.

— Значит, моих чар оказалось недостаточно.

Они заговорили о Клервилле. Муся просветлела, и разговор стал необыкновенно приятный, — так дружно и откровенно они никогда в жизни не разговаривали. Муся рассказала о своем романе с Вивианом, об их первом объяснении в ночь поездки на острова. Все сходились на том, что красивее и обаятельнее человека, чем Клервилль, нельзя себе представить. Затем Сонечка, набравшись храбрости, заговорила о своей любви, и Глаша не только не ругала Березина, но даже признала его большие достоинства. «Его личного *charm'a* ⁷¹ я никогда не отрицала, — оправдываясь перед Сонечкой, говорила она. — И притом большой талант, с этим кто же спорит?..» О себе Глаша ничего не рассказала, но дала понять, что и в ее жизни готовится очень важная перемена. Муся с улыбкой на нее смотрела, и по этой улыбке Глаша едва ли не впервые в жизни почувствовала, что *все-таки* Муся ее любит и что *все-таки* у нее не было до сих пор более близкого друга. Они неясно и восторженно говорили о своем будущем.

— Какая жалость, что ты после войны уедешь в Лондон, — чуть не со слезами говорила Сонечка, схватив Мусю за руки. — Нет, я не хочу, чтобы ты уезжала из Петербурга... Знаешь, пусть его назначат сюда послом!.. Или нет, не смейтесь, как это? Военным атташе...

— Вы обе к нам будете приезжать в Англию... С мужьями и надолго. Вивиан сказал мне, что у нас будет целый дом. Это в Англии, кажется, у всех.

— Ну, вот еще, — говорила задумчиво Сонечка, представляя себе, как она приедет в Лондон с Березиным. Глафира Генриховна улыбалась, думая приблизительно о том же: «Князь и княгиня Горенские...»

— Надо еще Вивиана спросить, может, ему не очень понравится такое обилие гостей.

— Что ты, он вас обеих искренно любит... Затем, подумайте, ведь хотя бы из-за папы и мамы я буду приезжать в Петербург мало, если один раз в год, скорее два раза... Нет, наша жизнь будет и дальше идти вместе...

Так они разговаривали долго. Высокая дама прошла без дела по кондитерской, поглядывая на их столик. Но им все не хотелось уходить. Наконец, Глафира Генриховна подозвала барышню и расплатилась.

— Как ты думаешь, на чай оставить? — тихо спросила она, когда барышня пошла за сдачей.

— Оставь, но скажи, что это для бедных.

Они встали. Сонечка не вытерпела и еще раз поцеловала Мусю, затем Глафиру Генриховну.

— Спасибо, Глашенька, милая, что вы нас сюда привели!.. Мне никогда в жизни не было так хорошо, как сегодня. Спасибо страшное! За все! — восторженно говорила она, точно Глаша и Муся сегодня разрешили ей любить Березина.

— А ведь, правда, было чудесно... Чаше бы... — сказала Муся, и осталось неясно:

⁷¹ обаяние (*фр.*)

чаще бы сюда ходить или чаще бы так разговаривать.

— Я тоже очень рада... Мадмуазель, к вам, верно, иногда приходят... приходят неимущие... Разрешите вот это для них оставить. — Глаша очень покраснела, что с ней случилось редко. Прислуживавшая барышня тоже смутилась.

— Благодарю вас, — тихо сказала барышня.

Они поспешно вышли. Улица была совершенно пуста.

— Бедненькая, жалко их, — вздохнув, заметила Сонечка.

— Всех жалко.

— Как князь сказал? — озабоченно спросила Глафира Генриховна. — Он к обеду придет или после обеда? Если к обеду, надо бы кое-что прикупить.

— Не помню, как он сказал.

— Купим, так и быть, наудачу. Хлеба нет ни кусочка.

Они свернули на другую улицу, где, по словам Глаши, в лавке продавали колбасу и консервы.

— Супа сегодня не будет, так закуску подадим: колбасу, селедку и, может, найдем что-нибудь еще, — говорила Глаша, сразу погружившись в хозяйственные соображения. Мусю и особенно Сонечку это немного покорило после их разговора. Они шли некоторое время молча.

— Я о той женщине думаю, — сказала вдруг Муся. — Которая в него стреляла...

— Ах, какой ужас! — содрогаясь, откликнулась Сонечка. — Неужели ее казнят?.. И этот несчастный юноша! Боже, какой ужас!

— Я думаю... — сказала Глафира Генриховна и не закончила. С соседней улицы по мостовой быстрым шагом вышел большой отряд солдат. Впереди шли люди в кожаных куртках. Один из них окинул взглядом дам, которые так и похолодели. Страшны были не солдаты, а то, что шли они так быстро, как никогда не идут в городе войска. Лица у солдат были нахмуренные и злые.

XV

Расставшись с дамами, Горенский по Мойке направился к Марсову полю. Он был взволнован своим разговором с Глафирой Генриховной и немного им недоволен: теперь он не имел права устраивать свои личные дела.

До назначенного свидания еще оставалось с полчаса. После душного кинематографа у князя болела голова. Он зашел в Летний Сад, где все было с детских лет так ему знакомо: памятник, ваза, статуи с отбитыми носами. Теперь вид запущенного сада вызывал в нем сладко-тоскливое настроение.

У Петровского дома князь остановился, снял соломенную шляпу и вытер голову платком. Почувствовав усталость, он подошел к скамейке, сел и задумался — о Глаше, о своих делах. «Отчего бы это я так устал?» — подумал Горенский, припоминая свой день. Утром было свиданье с офицерами, вновь завербованными для поездки на юг. Князь передал им деньги и сказал напутственное слово, которое они выслушали, по-видимому, без особого сочувствия. Выражение лиц офицеров, как казалось Горенскому, означало: «Да, теперь и ты говоришь хорошие слова, но надо было обо всем этом подумать раньше...» Князь знал, что он мог сказать в защиту своей прежней роли; знал и то, что можно было сказать против прежней позиции лагеря, к которому, очевидно, принадлежали офицеры. Тем не менее выражение их лиц было ему неприятно, и он несколько скомкал свое напутственное слово.

После свиданья с офицерами была еще *явка*, — теперь опять вошли в употребление слова, которых Горенский не слышал со студенческих времен. В свою университетскую пору он ни в *явках*, ни в *массовках* участия не принимал; но товарищи его в них участвовали и рассказывали о них с видом таинственным и важным. В случае *провала* молодые революционеры подвергались тогда карам: их исключали из университета, высылали из Петербурга, сажали в тюрьму. Теперь провал означал другое. «В организации Полянского на

прошлой неделе расстреляли всех. У Бонашевского, кажется, тоже... И не то еще пойдет», — устало подумал князь.

На явке он обменялся сведениями с агентом, приехавшим из Москвы, где дела шли превосходно: переворота можно было ждать недели через две, — латышская часть была готова. «Да, все обещает нам успех, а все-таки не надо было именно теперь говорить. Я теперь себе не принадлежу... Не надо было также принимать приглашение Муси: для них я слишком опасный гость... Если схватят, то меня расстреляют, а им не избежать серьезных неприятностей», — подумал он и тотчас отогнал от себя эти мысли: Горенский не верил, что его могут арестовать; не верил в глубине души и в то, что его расстреляют, если схватят. «Да, Полянского расстреляли, но человека, как никак известного всей России, они казнить не решатся...» В воображении князя неожиданно встал суд над ним. Он представил себе речь, которую произнес бы на суде. Невольно речь эта у него складывалась в старые привычные формы: после таких речей судьям в прежнее время становилось очень не по себе, а на следующий день речи цитировались в восторженных статьях газет. «Нет, провала быть не может, — подумал Горенский, вспоминая тех людей, с которыми он вел дела в последнее время: ни один из них не мог быть предателем. — Так, хорошо, через две недели переворот, а что же дальше?»

Князь давно принял решение — тотчас после переворота отправиться на фронт. Война с Германией должна возобновиться. «Не все ли равно, где будет боевая линия: у Пскова, у Москвы, на Урале, на Дону? Лишь бы отвлечь на нас значительные силы немцев. Их дела на Западном фронте явно нехороши и, если придется послать в Россию десяток-другой дивизий, это может иметь для войны решающее значение... И честь наша, национальная честь России, будет нами спасена», — думал князь. Это было у него на первом месте: мысль о России имела для Горенского неизмеримо больше значения, чем все другое, чем все личное. Тем не менее иногда князю приходили мысли и о собственном его будущем. Как деятельный участник заговора, как участник последней борьбы на фронте, он мог претендовать на многое, имел на это и политические, и моральные права. Горенский не мечтал о диктатуре, хоть иногда допускал, что при некоторых обстоятельствах диктатура может быть ему предложена. Он охотнее принял бы пост в какой-нибудь директории или в коалиционном правительстве. «В конечном счете победа демократии несомненна. А там будет видно... И для мирных переговоров тоже понадобятся люди».

Князю представилась европейская конференция, где он, от имени России, должен будет решать судьбы мира, вместе с Клемансо, с Ллойд-Джорджем, с немецкими государственными людьми. Горенский тотчас отогнал от себя эти мысли, как слишком личные и честолюбивые, и снова, мучительно-нервно зевая, стал перебирать в уме подробности своего обмена мнений с агентом московской организации. «Во всяком случае в течение двух недель дело решится, и слава Богу, иначе нервы сдадут», — подумал он, взглянув на часы. Теперь уже можно было идти на свидание. Князь поднялся и направился к выходу.

Худой человек с лицом лимонного цвета встал со скамейки позади и пошел за князем, быстро его нагоняя. Горенский оглянулся, посмотрел на этого человека и слегка побледнел. «Может быть, вздор, — подумал он. — Во всяком случае надо идти дальше, не оглядываясь». Они подходили к воротам сада. Худой человек вынул свисток и свистнул.

Стоявшие за воротами люди из Чрезвычайной Комиссии мгновенно окружили князя.

— Гражданин Горенский, вы арестованы, — любезно улыбаясь, сказал один из них.

XVI

Маруся по субботам относилась белье всем своим клиентам. Вернувшись от барышень Кременецких, она позавтракала, отдохнула, затем отправилась в тот особняк, в котором помещалась организация ее друга.

Анархисты были далеко не в милости у властей, но эта организация каким-то образом

уцелела и после весенних арестов, и после польского восстания левых социалистов-революционеров. Ее не выселили из давно захваченного ею особняка. Только оружия у анархистов было совсем мало, — прежде особняк напоминал крепость.

Друга Маруси не было дома, но ее уже знали в особняке и свободно пропустили в комнату первого этажа, которая называлась Кропоткинской. «Эх, что с домом сделали!» — думала Маруся, поднимаясь по лестнице, выстланной черным сукном. В Кропоткинской комнате на рожке лампы висел черный флаг. Бархатный ковер был засыпан пеплом, окурками, жестянками от консервов. В углу высокой кучей валялись книжки без переплета. Накурено в комнате было так, что оставаться в ней казалось в первую минуту невозможным. В этой комнате жил клиент Маруси, щуплый человек средних лет, с бледно-серым лицом, с жидкой бородкою, с пенсне, плохо державшимся на носу. В Марусе этот странно говоривший человек всегда возбуждал неудержимое веселье. Так и теперь, только его увидев, она сразу прыснула со смеху и закрылась рукавом, поставив корзинку на кресло. Анархист нисколько не обиделся.

— Здравствуй, женщина, — сказал он.

— Здравьте... Белье вам принесла, — трясаясь от смеха, сказала Маруся.

— Это хорошо. Твой свободный труд, дитя мое, заслуживает уважения, — сказал анархист, наклонившись над корзиной. Его пенсне упало на ковер, он замигал, с трудом разыскал пенсне, чуть не раздавив его ногою, поднял и снова надел. — Никифора сейчас нет, но вечером вы сойдетесь и будете свободно отдаваться утехам любви. Живите в согласии с законами природы... Где же кальсоны?

— Вот... — почти сквозь слезы произнесла Маруся.

— Я вижу одну штуку... Где другие?

— Да всего одна штука и была... Шесть галстухов дали на глажку, шесть воротничков, рубахи две и кальсоны одни... Этого не троньте, это не ваше!

— Что такое мое? Что такое не мое? — спросил анархист. — Все общее, женщина, и все ничье, неужели ты еще этого не усвоила? Мне нужны эти вещи, и я их беру, — сказал он без особенной, впрочем, решительности в тоне, и, поверх пенсне, взглянул красноватыми глазками на Марусю, с которой сразу соскочила смешливость.

— Еще что выдумаете! — грозно, повышенным голосом, сказала она. — Это капитана белье, а не ваше. У вас такого белья отродясь не бывало.

— Ну, не надо, — миролюбиво сказал анархист. — Но все же постарайся, женщина, побороть в себе собственнические инстинкты.

— Дадите стирать на неделю? Нет?... Так денег пожалуйста... Вот записочка, — сказала Маруся, протягивая анархисту счет. Она, впрочем, знала, что это совершенно бесполезный поступок. Анархист поправил пенсне и заглянул в бумажку.

— Кажется, галстухов я дал восемь, — сказал он, опять без уверенности в тоне.

— Шесть, — сурово ответила Маруся.

— Шесть так шесть, — тотчас согласился анархист. — Денег, женщина, у меня нет. Притом, что такое пустые денежные знаки? Возьми лучше бюст нашего прежнего учителя Петра Кропоткина, — предложил он. — Или литературу? Хочешь «Черное Знамя»?

— Если денег нет, то вот что мне дайте, — сказала Маруся, не отвечая на пустяки и показывая на шелковую штору окна, которую она давно облюбовала. Маруся не продала ни одной вещи из квартиры Николая Петровича, хоть легко могла распродать решительно все. Но здесь церемониться было бы грешно. Из шторы она рассчитывала сделать платье.

Анархист с полной готовностью согласился отдать Марусе штору и даже сам встал было на кресло, чтобы ее отцепить. Шелк треснул под его башмаками, кресло пошатнулось, с ручки свалилась аккуратно сложенная кучка пепла. Анархист слетел, сделал несколько неверных шажков и, потеряв пенсне, уцепился за Марусю. Она, фыркнув, поддержала анархиста.

— Эх, кресло даром испортили, — с сожалением сказала Маруся. Она взобралась на подоконник и отцепила штору. Анархист с удовлетворением следил за ее работой. Пока

Маруся укладывала штору под белье, он опять советовал ей преодолеть собственнические инстинкты и жить согласно с природой. Маруся фыркала, впрочем смутно чувствуя, что анархист нарочно валяет дурака.

Выйдя на улицу, Маруся невольно оглянулась, — нет ли городского? — вздохнула и пошла дальше, к английскому посольству.

В посольстве ее тоже знали. Маруся поднялась по лестнице и отнесла корзину в те комнаты, где теперь помещался барышник жених и его друзья. Горничная, говорившая по-русски, приняла по счету белье и пошла за деньгами. Маруся, огорченная тем, что не удалось на этот раз повидать ни жениха барышни, ни его друга, осталась в небольшой комнате первого этажа. Маруся всегда с удовольствием бывала в посольстве, — как-то раз ей удалось даже повидать парадные залы; роскошь их необычайно ее поразила. Но в этой комнате ничего такого не было — она была вроде кабинета Николая Петровича, даже попроще. На стене висел портрет, вид которого немного испугал Марусю: «Царь покойный? нет, будто и не царь», — подумала она. Маруся сочувствовала революции, однако недавно при известии об убийстве царя долго плакала.

Горничная не возвращалась. Маруся подошла к окну — и испугалась. По площади, с ружьями наперевес, прямо на посольство, очень быстро шел отряд солдат. Часть отряда скрылась за углом, выйдя на набережную, другая кордоном окружала здание с площади. За отрядом видна была толпа. «Господи, что же это! Сюда идут, что ли?» — подумала Маруся. Ей захотелось поскорее уйти из этого дома. Она растерянно взяла пустую, легкую корзину, затем вспомнила, что денег еще не заплатили, поставила корзину на стол и подошла к двери.

— Деньги бы мне получить, — негромко сказала Маруся.

В коридоре никого не было. Снизу вдруг донесся шум, — как будто там скандалили. Любопытство превозмогло все в Марусе. Она быстро, почему-то на цыпочках, пошла по коридору, в сторону парадной лестницы, оставив на столе пустую корзину.

В посольстве в последний день месяца выдавали жалованье служащим консульства и офицерам военных миссий. В канцелярии было довольно много людей. Как везде в день получки жалованья, настроение было веселое. Шутили и не получавшие денег люди, в большинстве английские журналисты, зашедшие в посольство за новостями. Один из двух железных шкафов канцелярии был открыт настежь. Кассир, почтенный человек в очень высоком двойном воротнике, стоял у шкафа и выдавал деньги, отмечая выдачу на ведомости.

Кроме денег и способов их траты, предметом полушутливой, полусерьезной беседы было случившееся в эту ночь событие: исчезновение консула Вудгауза. Вице-консул говорил, что мистера Вудгауза задержали на улице большевики. Но молодые люди делали вид, что относятся к этому объяснению скептически. Да им и в самом деле с трудом верилось, что кто бы то ни было и где бы то ни было может арестовать великобританского консула.

— Может быть, мистер Вудгауз просто пошел погулять? Петербург — прекрасный город, — весело говорил капитан Кромби. Забавность этому предположению придавало именно его совершенное неправдоподобие.

— Он мог встретить знакомого и заговориться с ним, — в тон своему другу отвечал Клервилль.

— Или знакомую.

Кассир с легкой улыбкой слушал молодых людей, отсчитывая белые ассигнации.

— Вам какую часть русскими деньгами? — спросил он Клервилля.

— Не более двадцати фунтов. Лучше даже пятнадцать.

Кассир взялся за карандашик и принялся вычислять.

— В самом деле на большевиков валят теперь все. Это несправедливо, — уже серьезно

сказал английский журналист, не сочувствующий большевикам, но отдававший им должное.

Кроми холодно на него взглянул.

— Несправедливо? — переспросил он.

— Да, многое несправедливо, — ответил журналист. — Большевики осуществляют то, о чем мечтали Оуэн, Моррис, Рескин и многие другие великие умы. И осуществляют это с энергией необыкновенной. Это мужественные люди, — решительно добавил он.

И Кроми, и Клервилль одновременно подумали, что в вопросе о мужестве штатский журналист недостаточно авторитетный судья.

— Вам, капитан, как прикажете? — спросил кассир. Кроми отошел к кассе.

— Господа, когда кончится война? — спросил уныло журналист, самой интонацией подчеркивая полную безнадежность вопроса.

— Через три года, — ответил Кроми, кладя деньги в карман.

Кассир вздохнул.

— Вашей жене приятно было бы слышать, — сказал он. — Или вашей невесте, майор.

Клервилль засмеялся.

— Франсис шутит, — сказал он. — Дела на Западном фронте складываются все лучше. Кроми, впрочем, все равно. Он и после войны выдумает что-нибудь необыкновенное. Если есть человек, не созданный для того, чтобы жить в Кенсингтоне, посещать скачки и играть в бридж, то это именно он.

— Это верно, — сказал капитан Кроми. — У меня совершенно другие планы. Скорее всего я после войны приму участие в полярной экспедиции.

Он с большой живостью принялся излагать свои проекты. Они были разные, но все отличались тем, что для осуществления их требовались нечеловеческая энергия и фантастическое счастье. Кассир, положив карандаш, с восхищением слушал капитана. Другие тоже заслушались. Капитан говорил очень хорошо и просто. У другого человека такие планы могли бы показаться хвастовством. Но в устах Кроми они хвастовством не казались.

— Я знаю, капитан, что вы человек необыкновенный, — любезно сказал журналист, желавший загладить неприятное впечатление от своего отзыва о большевиках. — Лучшее доказательство вот это, — добавил он, показывая взглядом на длинный ряд орденов, украшавший грудь Кроми. — Но все-таки для одной человеческой жизни того, о чем вы говорите, слишком много. Надо бы пять или шесть.

— Я сделаю все то, о чем говорю, — повторил капитан. И всем, журналисту, кассиру, служащим консульства, невольно показалось, что он действительно это сделает.

— Кстати о ваших орденах, капитан, — сказал один из служащих. — Этот на красной ленте я знаю, это наш D.S.O.⁷² Белый рядом с ним русский Георгий, вы его получили за потопление гуннского крейсера. Но другие?

Журналист, не давая капитану ответить, принялся объяснять служащему:

— На шее это русская Анна, справа от Георгия Владимир... Капитан на своей подводной лодке прорвался в Балтийское море, наделав тысячу неприятностей гуннам.

Все штатские англичане, даже левый журналист, называли немцев гуннами. Только Кроми и Клервилль говорили «немцы».

— А медали?

— Медалей и я не знаю.

— Это медаль китайского похода 1900 года, — сказал Кроми и, в ответ на общее удивление, разъяснил: — Я мальчиком принимал участие в экспедиции Сеймура.

— А это, — добавил Клервилль, — это медаль за спасение погибающих. Он вытащил кого-то из воды...

Все смотрели с ласковым любопытством на Кроми. «Вот какие у нас люди», — с

⁷² «За служебное отличие» (англ.)

гордостью думал кассир. Служащие консульства заговорили о войне. Дела на западе шли прекрасно.

— Если удастся восстановить русский фронт, гуннам конец.

— Как же это может удалиться?

— Переворот...

— Русский народ слишком пассивен для переворота. Притом русские любят деспотическую власть...

— В сущности большевики унаследовали традиции царизма.

— У нас все это было бы, конечно, невозможно.

— Вспомните русское ничего... В душе каждого славянина есть мистическое начало, которое и сказало теперь с такой силой у большевиков. В них есть много общего с героями Толстого...

— Скорее Достоевского... Вспомните Грушеньку из этих «Братьев»... Я забыл их фамилию, проклятые русские имена! Она сожгла в печке десять тысяч фунтов.

— Неужели сожгла в печке? Собственно зачем?

— Мистическое начало.

— Или босяки Горького... Это фанатики.

— Но ведь Горький смертельный враг большевиков. Мне на днях перевели одну статью из его газеты... По-моему, его босяки скорее анархисты.

— Это одно и то же... Я, впрочем, не читал босяков. Но я знаю все это по одной очень интересной статье в Times Literary Supplement.⁷³

— Господа, вы мне мешаете считать. Я чуть не сделал ошибки...

— Пожалуйста, ошибитесь в мою пользу: это было бы очень кстати.

— Он, когда ошибается, то в пользу казны.

— Он, верно, думает, что казна нам платит слишком много.

— Я ухожу... Вы остаетесь в консульстве? — спросил своего друга Клервилль.

— Я тоже скоро уйду, но у меня деловое свидание.

Они простились и вышли из канцелярии. После их ухода оживленный разговор о войне и о России продолжался. Кассир выплачивал жалованье, складывал расписки и отмечал крестами в общей ведомости тех, кто уже получил деньги.

— Вам как? — спросил он подошедшего к кассе служащего.

— ...Все-таки очень интересна эта восточная мистика, — говорил журналист. — Вы верно сказали о Толстом, но, по-моему...

Со стороны лестницы послышались повышенные голоса. Разговор в канцелярии оборвался. Все с недоумением уставились в сторону двери: так в этом здании никто никогда не разговаривал. Голоса все росли и приближались. Кассир с изумленно-вопросительным выражением на лице положил карандаш на ведомость. Из второй комнаты канцелярии вице-консул высунул голову с высоко поднятыми бровями.

— В чем дело? — недовольным тоном спросил он. Никто не успел ответить. Дверь с шумом распахнулась, и в комнату ворвалось несколько человек. У них в руках были револьверы. Кассир попятился назад и захлопнул дверцы железного шкафа.

— Руки вверх! — прокричал визгливо первый комиссар.

Все, застыв от изумления и неожиданности, выпученными глазами смотрели на вбежавших людей.

— Руки вверх! — прокричал комиссар еще громче и визгливее. Один из служащих инстинктивным движением поднял руки. Мгновенно другие сделали то же самое. Пачка ассигнаций выпала из поднятой руки кассира. Он как-то дернулся, чтоб ее поднять, и не поднял. С полминуты все молчали в оцепенении.

Вдруг за дверью, где-то совсем близко, гулко и четко грянул выстрел, за ним другой.

⁷³ Литературное приложение к «Таймс» (англ.)

Раздался отчаянный крик. Затем загремела пальба.

Маруся на цыпочках пробралась по коридору, приоткрыла дверь и ахнула. «Наши, большевички!» — подумала она с испугом и с радостью.

Вестибюль был полон солдат. Они неловко топтались на месте, напуганные роскошью посольства. Штатский человек, распорядившийся в вестибюле, что-то грозно говорил швейцару, который, вытянувшись, растерянно на него глядел. Здоровенный разведчик в матросской форме, с красным свежим шрамом на лице, упершись руками в бока, радостно смотрел на швейцара.

— Вы, товарищ, будете отправлены на Гороховую, там разберут... Товарищ Лисон, арестуйте его.

— Беспременно арестуем, дядя Полисенко, — отвечал человек в матросской форме, добавив несколько крепких слов. Он был навеселе. — Нарядили-то человека как, а? Вот дурак!.. Ну и дурак!..

— Прислужники империалистов, — проворчал третий комиссар. — Добрались, наконец, до них...

— Я и говорю, дурак, товарищ Шенкман. Паразит!

Полисенко и Шенкман шептались с озабоченным видом.

— В мандате сказано: арестовать всех без исключения.

— И отлично...

— Ну и дурак! ну и империалист! — говорил весело Лисон, хотя вокруг стоявшего истуканом швейцара, ливрея которого, видимо, очень его забавляла. Он даже поскреб черным ногтем позумент ливреи. В это время сверху донесся визгливый крик: «Руки вверх!»

— Так его... — радостно сказал Лисон. Крик повторился. — Так их!..

— Товарищи, нижний этаж занят, теперь идем наверх, — взволнованно распорядился Полисенко и направился к лестнице в сопровождении Шенкмана. Солдаты нерешительно тронулись за ними. Маруся несколько разочарованно смотрела из двери: скандал от нее удалялся, и был он не такой, какого она ждала.

Вдруг на площадке лестницы откуда-то сбоку появилась высокая фигура. Маруся узнала своего капитана. Лицо его было бледно. Сердце у Маруси внезапно забилось сильнее. Капитан, чуть наклонив голову, странно-пристально смотрел на поднимавшихся людей. Полисенко остановился, встретившись с ним взглядом. Передний солдат попятился назад. Лисон, оставив швейцара, медленно направился к лестнице, как-то подобравшись всем телом и слегка вдвинув голову в плечи. Настала мертвая тишина.

— Кто... такое?.. Что... нужно? — спросил капитан. Он говорил медленно, с трудом подыскивая русские слова, не повышая голоса, очень спокойно и холодно.

— А ты сам кто такое?.. — спросил Лисон.

— Мы имеем мандат на обыск в британском посольстве, — сказал Полисенко. Он тотчас пожалел, что остановился и вступил в объяснения, и направился дальше. Капитан чуть передвинулся на площадке, загоразивая дорогу.

— Нет... мандат... в британски посольство, — ледяным голосом произнес он, медленно кивая отрицательно головой. Глаза его были неподвижны и страшны. У Маруси кровь все отливала от лица. Полисенко снова остановился и, побледнев, оглянулся на товарищей. Солдаты, тяжело дыша, надвигались. Один из них коротким шажком поднялся ступенькой выше. То же самое мгновенно сделали другие.

— Ах, ты с... с...! А ну-ка, пропусти меня, дядя Полисенко, я ему набью морду, — негромко сказал Лисон и, отставив назад локти, наклонив голову набок, двинулся вперед. Капитан, столь же странно-пристально на него глядя, опустил руку в карман и неторопливо вынул револьвер — совершенно так, как если бы доставал из кармана портсигар или спички. Маруся негромко вскрикнула, отскочила от двери и снова высунула голову, едва дыша. Полисенко и Шенкман отшатнулись в сторону. Лисон изогнулся и с чудовищной бранью

бросился на капитана. В ту же секунду грянул выстрел. Разведчик раскрыл рот, поднял руки, застыл на секунду и тяжело грохнулся назад на ступеньки лестницы, убитый наповал.

— Товарищи! Что же это! — отчаянным голосом вскрикнул комиссар Шенкман. Капитан Кромби повернулся к нему, чуть прищурив глаз, прицелился и выстрелил. Шенкман ахнул, схватился за грудь и упал, обливаясь кровью.

— Товарищи! — дико закричал Полисенко. — Товарищи!..

Передний солдат с перекосившимся лицом бросился вверх по лестнице. За ним тяжело рванулись другие.

...Уткнувшись головой в подушку, Маруся больше получаса пролежала на каком-то диване. Она рыдала, не переставая.

Солдат вошел в гостиную и, недоумевая, уставился на Марусю.

— Мадам... Здесь нельзя... Надо туды идти, — медленно, стараясь быть понятным, сказал он.

Маруся привстала с дивана и вытерла слезы.

— Да вы кто? Англичанка? — спросил, изумленно глядя на нее, солдат.

— Русская я... Прачка, — сказала Маруся.

Солдат постоял, вздохнул и пошел звать начальство. Через минуту в гостиную вошел, в сопровождении того же солдата, человек в черной куртке.

— Вы кто такая? — строго спросил он Марусю.

— Русская... Трудящая... — тихо ответила она.

— По-английски говорите? — спросил человек, но, посмотрев на Марусю, устыдился своего вопроса. — Вы прачка посольства?.. Бумаги есть?

Маруся показала бумагу. Комиссар внимательно прочел, затем сделал внушение Марусе.

— Теперь вы сами видите, гражданка, к чему приводит услужение империалистам. Вы будете после общей проверки отпущены на свободу, но вперед советую вам быть осторожнее... Отведите ее, товарищ, в приемную.

Солдат повел Марусю по залам. Везде все было разгромлено. На полу валялись осколки стекла, поломанная мебель, кучи бумаг. Проходя мимо одной из комнат, Маруся увидела в ней арестованных англичан. Сидевшая на стуле дама с повязкой Красного Креста плакала, судорожно трясясь всем телом, держа перед собой в вытянутых руках густо окровавленный платок. Маруся опять заплакала навзрыд.

Отпустили ее еще не скоро. Хотя ей и было сказано, что она свободна, стоявший у дверей вестибюля часовой никого не пропускал. «Подождешь», — с тупым упрямством говорил он всем. Маруся подняла с пола опрокинутый стул и села. Через некоторое время в вестибюле, по лестнице, на площадке забежали люди. Затем сверху повели арестованных англичан. Их было человек тридцать. Они шли по четыре в ряд, окруженные конвоем. Дверь посольства открылась настежь. С набережной донесся радостный гул, крики, затем звуки музыки. Часовой оставил свой пост и побежал вниз. Маруся выскочила за ним в вестибюль, оттуда на улицу. Контроля больше не было.

На Неве прямо против посольства, наведя на него пушки и пулеметы, стоял миноносец. На борту выстроившийся оркестр играл «Интернационал». Вся набережная была залита народом. Какой-то оратор, взобравшись на скамейку, кричал, размахивая куском синей материи с вышитыми белыми и красными крестами. Толпа, не слушая, радостно-тревожно гоготала. Перед скамейкой люди в черных куртках сваливали что-то в кучу: бумаги, картины, портреты в рамах. Марусе показалось, что тут был и тот портрет, который она видела час тому назад в небольшой приемной посольства.

— Этот символ, товарищи... — надрываясь, кричал оратор, стараясь перекрыть музыку.

— Так его!.. Здорово!..

— Этот позорный символ империализма!..

— Не слышать!.. Ори громче!..

Оратор со злобой повернулся к Неве и отчаянно замахал рукой в сторону миноносца. Матросы захохотали. Оркестр перестал играть.

— Этот символ, товарищи, советский пролетариат его растопчет ногами! — прокричал оратор. Бросив британский флаг, он соскочил со скамейки на кучу и странно на ней затанцевал. Толпа гоготала все веселее.

— Так их!..

— Пляши, пляши!..

— Империалисты проклятые!..

В верхнем этаже посольства открылось настежь огромное окно. В окне показался человек в черной куртке, за ним другой, третий, — они что-то, видимо, готовили. Стало тише. Люди в черных куртках скрылись, затем появились снова, таща что-то тяжелое. Они перекинули ношу через подоконник и отпустили. Что-то мягко стукнулось о стену, слегка закачалось и повисло. Гул ужаса пронесся по толпе. Из окна вниз головой висело мертвое тело, со странно опущенными, точно вывернутыми, руками, привязанное за ноги к чему-то в комнате. Лицо убитого капитана было окровавлено и изуродовано.

Внизу настала тишина. Затем оркестр заиграл «Интернационал».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Муся отворила дверь на звонок. Вошел Браун. Она почти не удивилась, точно именно его и ждала.

— Ничего не случилось? — задала обычный вопрос Муся. Так в то время все в Петербурге встречали приходивших людей. Каждый гость казался вестником несчастья и чаще всего им оказывался. Не дожидаясь ответа, Муся добавила: — Повесьте шляпу... Сюда, пожалуйста.

Они вошли в будуар. Во всей квартире слегка пахло лекарствами.

— Нет, ничего не случилось, — садясь, ответил Браун, хоть она и не повторила вопроса. — А у вас что? Уезжаете? — спросил он, окидывая взглядом будуар. На ковре, на креслах и пуфах Тамары Матвеевны лежали чемоданы, коробки, несесеры. — Очень хорошо делаете.

— Да, мы уезжаем, — ответила со вздохом Муся. — Вчера получили все бумаги, я, признаться, и не ожидала. У них ведь теперь полный хаос, верно, перед своим концом они совершенно потеряли голову: большинство англичан сидит в тюрьмах, а мистеру Клервиллю беспрепятственно выдали пропуск для отъезда. И мне тоже... Он достал такую бумагу...

— Какую бумагу?

— О том, что мы будто бы муж и жена, — сказала Муся, вспыхнув. — Мы и в самом деле тотчас обвенчаемся, как только приедем в Финляндию.

— Поздравляю вас.

Муся удивленно на него взглянула: это поздравление — в такое время — показалось ей неприятным, почти бестактным. «Но что же он мог сказать другое?..»

— Помог голландский посланник, — продолжала она, переводя разговор. — Как странно, не правда ли? Голландия защищает в России англичан!.. Вы знаете, мистер Клервилль... — Ей вдруг показалось глупым, что она называет жениха мистером Клервиллем. — Вивиян ушел из посольства за четверть часа до налета. Иначе он тоже сидел бы теперь в тюрьме... Если б не случилось хуже, как с тем несчастным.

— Вы очень хорошо делаете, что уезжаете. Советую не откладывать: голландский посланник не всемогущ, а у них все меняется каждый день. Когда вы едете?

— Думаем, завтра, — ответила смущенно Муся.

— А другие члены коммуны? — слегка улыбаясь, спросил Браун. Его улыбка тотчас

объяснила Мусе, отчего она смутилась.

— Другие остаются... Сонечка плачет целый день, но об отъезде слышать не хочет. Да и в самом деле, куда она поедет?.. О, дело не в том, что у нее нет средств! — поспешно сказала Муся, вертя на пальце узкое кольцо. — Мы предлагали ей денег, предлагали жить у нас. Ведь все-таки этот ужас долго длиться не может. Ну, еще три месяца, и они падут. Должны пасть, не правда ли?

— Не знаю, — сказал он. — Вы куда поедете? В Англию?

— Вивиан до конца войны человек подневольный, он сам не знает, куда его пошлют. А я поеду в Лондон... Я просила и умоляла Сонечку ехать со мной! Не хочет ни за что! Нет, дело, конечно, не в деньгах. Но вы сами понимаете: Сонечка, это петербургское дитя, вне Петербурга! Кроме того, у нее здесь есть и магнит... — Муся улыбнулась и тотчас стерла улыбку, как неподобающую в таких обстоятельствах.

— А Глафира Генриховна?

— Ведь она больна, — сказала со вздохом Муся. — Вы не можете себе представить, как это событие на ней отразилось!

— Какое событие?

— Арест Горенского, разумеется!.. Я не буду от вас скрывать: между ней и нашим бедным князем был роман! Извините это глупое слово, ну, не знаю, как сказать... Да я и сама хорошо не знаю, что именно у них было. По-видимому, он ей сделал предложение... И представьте, в тот самый день, когда его схватили. — Голос Муси дрогнул. — Он в этот день должен был у нас обедать, не пришел. Ночевать тоже не пришел. На следующее утро она бросилась с Никоновым искать, металась по всему Петербургу, обивала пороги. Нельзя описать, какую энергию она проявила! И только то удалось узнать, что его арестовали! За что, почему, не говорят. Я уверена, он ни в чем не повинен, во всяком случае ничего серьезного. Однако вы понимаете, что значит теперь арест... Вчера Глаша свалилась! Сильный жар, и кровь пошла горлом... Доктор, правда, успокаивает, но не очень... Вы догадываетесь, каково мне теперь уезжать!

Муся вынула платок и вытерла слезы.

— С ней остаются Сонечка, Витя, а из старших Никонов, он к нам переезжает... Что же мне делать, Александр Михайлович, если Вивиану приказано выехать?

— Разумеется, вы должны ехать с ним.

— Ведь, правда, должна?.. Но так это тяжело и больно!

Она помолчала, ожидая, что Браун теперь скажет, зачем пришел.

— Как по-вашему, что может быть с бедным Алексеем Андреевичем?

— Думаю, что он погиб, — ответил кратко Браун.

Муся с ужасом на него уставилась.

— Как погиб? Вы думаете, его могут... расстрелять?

— Если уже не расстреляли.

Она заплакала. Весь город говорил о начавшемся терроре, но ей не верилось, что князь может быть расстрелян.

— Извините меня...

Браун встал, прошелся по комнате и снова сел. Он, видимо, со скукой ждал, чтобы Муся перестала плакать.

— Александр Михайлович, может быть, вам что-нибудь известно и вы не договариваете?

— Нет, я ничего не знаю.

— Наверное? Дайте честное слово.

— Даю вам слово. Я знаю только, что в городе ежедневно расстреливают людей сотнями. Думаю, что все арестованные, — люди обреченные.

— Боже мой!.. Неужели ничего нельзя сделать?.. — вытирая слезы, спросила Муся.

— Ничего нельзя сделать.

— Найти какой-нибудь ход?.. Александр Михайлович?.. Ведь надо же...

— Я никакого хода не знаю.

— Но ведь есть и среди них порядочные люди!.. Александр Михайлович, мне Фомин в свое время говорил, что к князю очень хорошо относится Карова, знаете? Они вместе служили... Он говорил мне, что вы с ней хорошо знакомы? Теперь она в этой Чрезвычайной Комиссии... Как вы думаете?

— Я о ней думал. Но она ничего не сделает. Попробуйте... Предупреждаю только, одна ссылка на меня погубит того, кто сошлется.

— Вот как?.. — Несмотря на свое волнение, Муся с любопытством взглянула на Брауна. — Значит, неверно, что она порядочный человек? Если вообще среди них есть порядочные...

— Послушайте, — сказал нехотя Браун. — Бывает так, знаешь человека годами и думаешь, что хорошо его знаешь: хороший, порядочный, благодушный человек. А вот, в один прекрасный день, разговариваешь с ним — и вдруг, по оброненному замечанию, по брошенному взгляду, по легкому смешку, видишь, сколько в нем мелкого, злобного, низкого... Вот так было у меня и с Каровой. Да, если хотите, она по природе недурной человек. Но это до первого прорыва другого мира. Жизнь была с ней неласкова. Она за это теперь платит, сама того не зная, сама собой любуясь.

— Я все-таки пошлю к ней Никонова.

— Это связано для него с риском.

— Григорий Иванович совершенно бесстрашный человек. Он ходит по их учреждениям и всячески их в глаза ругает... Прямо сумасшедший!.. Если б вы знали, как он себя вел в эти дни, как он работал для князя, для Глаши, которую он, кстати сказать, всегда терпеть не мог! Я только теперь оценила по-настоящему Никонова.

— Боюсь, что его попытка будет безнадежна.

— Все-таки я надеюсь, что вы ошибаетесь, когда так ужасно говорите о князе... Но если!.. Боже мой, с ней что тогда будет?

— С кем? — рассеянно спросил Браун.

— С Глашей, разумеется, — ответила Муся с некоторым раздражением. Невнимание задевало ее и теперь.

— Да, ее очень жаль... Они будут и дальше жить на этой квартире?

— Все четверо, с Никоновым. Я им все оставляю, и квартиру, и деньги.

— Сколько? — спросил Браун простым тоном, точно не находил ничего неуместного в своем вопросе.

— Я не знаю, сколько, — ответила Муся. — Все, что у меня есть. Правда, у нас осталось не так много. Папа должен был нам переводить из Киева, но...

— Сколько же у вас есть денег? — повторил вопрос Браун. Муся, невольно подчиняясь его тону, назвала приблизительную цифру: она сама плохо знала, сколько еще оставалось в тайниках.

— Я им с радостью оставила бы и свои драгоценности, но они стоят недорого, а теперь в Петербурге вообще ничего не стоят, — сказала Муся. — У Глаши тоже что-то есть: жемчуг, серьги... У Сонечки и у Вити нет ничего, однако Сонечка уже немного зарабатывает в кинематографе, и ей обещают прибавку. А из Англии я смогу им присылать. Ведь оттуда верно удастся?.. Во всяком случае на первое время они трое обеспечены.

— Вы говорите, трое, — сказал, помолчав, Браун. — Виктор Николаевич дома?

— Витя? Нет, я его послала к доктору, в аптеку, еще куда-то. Он так убит тем, что я уезжаю, — вставила Муся, и опять лицо ее осветилось той из ее прежних улыбок, которую она себе бессознательно запретила. — Но что вы хотели сказать?

— Я хотел вам сказать, что Вите тоже необходимо уехать и притом возможно скорее... Должен вам сообщить, Марья Семеновна, он состоял в одной организации, которая теперь выслежена и разгромлена.

— Не может быть! — сказала, бледнея, Муся. — Не может быть!

— Да... Я не думаю, чтобы Чрезвычайная Комиссия знала об его участии в этой

организации. Я даже уверен, что там о нем ничего не знают. Слежки за ним не было, иначе его давно схватили бы. Никто из арестованных до сих пор людей об его участии не имел понятия, так что непосредственной опасности нет. Но все-таки... Могли выяснить, что Горенский бывал у вас. Да вот, вы говорите, Глафира Генриховна открыто о нем хлопотала. Если Витю начнут допрашивать, он, по юности и неопытности, может наговорить лишнего. Тогда он погиб.

— Господи!..

— Я именно для этого к вам зашел. Повторяю, ему необходимо уехать возможно скорее и лучше всего за границу. На юг отсюда теперь пробраться гораздо труднее.

— Что вы говорите! Боже мой!

Браун, щурясь, смотрел на Мусю.

— Надо уехать за границу, — повторил он.

— Но как же это сделать?.. Бежать нелегально? Ведь это безумие! Я с ума сойду! — сказала Муся, совсем так, как говорила Тамара Матвеевна.

— Есть возможность уехать за границу легально, — ответил Браун. Он вынул из бокового кармана большой желтый запечатанный конверт. — Здесь немецкий паспорт. Главе организации удалось достать немецкие паспорта для нескольких лиц. С пропуском, со всем, что нужно. Приметы вставлены, по моим указаниям, точно. Этот паспорт может считаться вполне надежным документом. Ваш юноша вдобавок прилично говорит по-немецки. Он должен, разумеется, старательно изучить свой новый документ.

Муся смотрела на Брауна выпученными глазами. «Значит, и он принимал участие в организации! — подумала она, только теперь это сообразив. — Ну да, иначе откуда он мог бы знать? Наверное он-то и ввел князя и Витю... Какая низость! — чуть не сказала она вслух. — Мальчика повести на такое дело!..»

— Витя отсюда не уедет! Он не захочет оставить отца в крепости.

— Какая польза отцу Вити от его пребывания в Петербурге?

— Никакой, разумеется, но...

— Убедите его уехать. Вы, кажется, имеете влияние на молодого человека... Сказать правду, я думаю, что его отца уже нет в живых. Я знаю достоверно, что заключенных расстреливают ежедневно партиями, по алфавиту. Хорошо, если начали с буквы а, тогда до него далеко. Но могли начать и с последней буквы. Во всяком случае дойдут очень скоро.

Он сказал это просто и жестко. Муся молча с ужасом на него смотрела.

— Придумайте что-нибудь. Скажите, что из-за границы можно будет посылать продовольствие в крепость, что за границей можно будет найти связи. Я думаю, его обмануть нетрудно.

— Я постараюсь. Да, конечно, ему надо бежать... Но это так неожиданно...

— Если он останется здесь, то, вероятно, погибнет и притом без всякой пользы. С этим же паспортом он почти наверное проедет благополучно: на Финляндском вокзале контроля никакого, а в Белоострове пока не очень подозрительны... Кстати, ему необходимы финляндские деньги: русских не принимают даже на вокзале. В конверте, который я вам дал, кроме паспорта и пропуска от Смольного, есть три тысячи финских марок. Это то, что организация может ему дать. А дальше, мой совет ему: из Финляндии кружным путем ехать на юг России. Там он, как смелый юноша, может пригодиться.

— Ну, это мы посмотрим, — сердито сказала Муся. «Здесь чуть не довел мальчишку до расстрела и еще куда-то посылает его воевать!.. Никуда я Витю не пущу, лишь бы через границу проехал. Уж если так, то со мной и будет жить, пока Вивиан не вернется»... этот новый план не был неприятен Мусе, он только появился слишком внезапно. У нее шевельнулась мысль, что, быть может, Вивиан будет не очень доволен. «Все равно, там увидим...»

— Но если его не пропустят и арестуют на границе?

Браун развел руками.

— Все может быть, — сказал он. — Однако риск невелик. Во всяком случае оставаться в Петербурге гораздо опаснее... Вы едете завтра? Виктору Николаевичу я советовал бы тоже уехать не мешкая. Как вы едете: через Финляндию или морем?

— Мы едем в Финляндию. Вероятно, там пробудем некоторое время.

— Вот и отлично, значит там и встретитесь с Витей. Я думаю, вам удастся его убедить, — с улыбкой добавил Браун.

— Все это так ужасно! Так для меня неожиданно! Да... А вы? Вы что предполагаете делать?

— Я тоже, вероятно, уеду, — кратко ответил Браун, прекращая сухой интонацией дальнейшие вопросы. — Пожалуйста, передайте от меня Вите следующее: чтобы он, во-первых, ни в каком случае меня не искал, во-вторых, чтобы и не заглядывал туда, куда ходил до сих пор.

— Это куда?

— Туда, куда ходил до сих пор, — повторил так же Браун.

Муся испуганно на него смотрела. Ее раздражение исчезло, тон Брауна внушал ей непривычную робость. «Как он, однако, осунулся... Верно, он и сам сейчас подвергается большой опасности, — подумала она, — Боже мой, когда конец? Когда конец?..»

— Туда, куда ходил до сих пор, — покорно повторила она. — Я скажу, но...

Браун встал, не дослушав.

— Прощайте. И не сердитесь на меня. У всех есть родные и близкие, — сказал он, отвечая на ее невысказанный укор. — Желаю вам счастья.

Муся тоже встала, взглянула на него, затем опустила глаза. Она была очень взволнована.

— Пойдите... Я хотела вас спросить... Сама не знаю, что... Вы не хотите ли повидать Глафиру Генриховну? Надо бы и с ней посоветоваться...

— Что ж ее беспокоит? Ведь она лежит? Передайте ей мой искренний привет и пожелания скорейшего выздоровления, — сказал Браун.

Эти сухие слова ее резнули. «Пожелания скорейшего выздоровления», точно письмо заканчивает! Какой он странный!..»

— С вами когда теперь увидимся, Александр Михайлович?.. Где?..

Он нахмурился и поцеловал ей руку. С минуту они молча смотрели друг на друга. «Он все понимает... Гораздо больше, чем мне казалось», — подумала Муся. У нее вдруг опять подступили к горлу рыдания.

— Ну, прощайте... Извините, что взволновал вас.

— До свиданья, Александр Михайлович, — сказала Муся. — Дай Бог... Дай Бог, чтобы...

Она заплакала.

II

Ильич лежит в Москве, тяжело раненный при исполнении революционного долга, лишь по чистой случайности не убитый преступной женщиной, изменившей рабочему классу. Здесь в Петербурге предательски убит товарищ Урицкий. Банкиры Антанты покрыли всю пролетарскую страну густой цепью военных заговоров. Перед советской властью стоит альтернатива: погибнуть или бороться изо всей силы, никого не щадя и не останавливаясь ни перед чем. Классовое сопротивление буржуазии может быть сломлено лишь классовым насилием пролетариата, которое не может не отлиться в форму террора. Не понимать этого, сравнивать пролетарский террор с террором буржуазным или царистским, могут только люди, не имеющие представления о марксистской идеологии и о диалектике истории. С железной руки надо снять бархатную перчатку. Лицемерные принципы гуманной демократии должны быть принесены в жертву принципам классовой революции. Вдобавок

рабочие массы настойчиво требуют от партии решимости и воли. Если они их не увидят, они сами возьмутся за дело и затопят страну потоками крови врагов.

Эту схему обсуждать уже давно не приходилось, — она была одобрена партией. Однако Ксения Карловна иногда мысленно восстанавливала весь круг мыслей: схема и успокаивала ее, и ласкала в ней своей стройностью чувство красоты.

Карова мужественно-стыдливо говорила ближайшим партийным друзьям, что свою новую должность она приняла «не без тяжелой внутренней борьбы». И в самом деле, когда Ксении Карловне неожиданно предложили занять важный пост в Чрезвычайной Комиссии, она немного смутилась и попросила несколько часов на размышление. Размышлять ей в сущности было не о чем: за Карову, как почти за всех ее партийных товарищей, неизменно размышляла двадцатилетняя груда брошюр. Смутным, почти бессознательным воспоминанием о чем-то в этой груде была и самая просьба о нескольких часах на размышление. И когда вожди проникновенно говорили Каровой, что, предлагая ей боевой пост, особенно ответственный при создавшейся конъюнктуре, партия требует от нее жертвы, — это также было из брошюрной груды.

Прежде, работая в Коллегии по охране памятников искусства, Ксения Карловна руководилась другой схемой, тоже одобренной партией: пролетариат должен обогатить свою сокровищницу лучшим из того, что создало искусство буржуазного класса. Новая схема была менее привлекательна, но гораздо более драматична; Ксения Карловна очень любила драму. После нескольких часов размышлений, выйдя победительницей из внутренней борьбы, Карова заявила вождям, что видит в сделанном ей предложении доказательство высшего партийного доверия и не считает себя в праве отказаться. Об этом говорили в ответственных кругах, — Ксения Карловна знала, что говорят о ней с восхищением.

Между Каровой и ее единомышленниками непрерывно шел духовный ток, отчасти и составлявший грозную силу партии. То, что понимал Ленин, понимали все его ученики, от светочей теории до рядовых работников, — разве только ученики понимали это с небольшим опозданием, которое весьма способствовало культу учителя. На верхах партии, собственно, не очень интересовались вопросом, почему Карова согласилась пойти в Чрезвычайную Комиссию. Однако там немедленно выделился подновленный образ Каровой. Прежде всего этот образ выделился в ее собственном сознании и облекся в форму партийного некролога. В уме Ксении Карловны замелькали обрывки фраз, доставлявшие ей и моральное, и психологическое, и в особенности эстетическое удовлетворение: «...Но под этой суровой личиной скрывалось нежное любящее сердце»... «В этом хрупком теле шил мощный дух борца за лучшее будущее»... «Внешняя суровость в отношении врагов пролетариата была лишь самоотверженно принятой маской, прикрывавшей у Каровой доброту, застенчивость, тончайшую духовную стыдливость...» Разумеется, никто из партийных товарищей не сочинял некролога Ксении Карловне; но соединявший их всех умственный ток был столь силен, что, если б любому из них действительно пришлось писать ее некролог, то он у всех непременно вылился бы именно в эти выражения.

Ксения Карловна не выполняла в Чрезвычайной Комиссии обязанностей следователя и почти не встречалась ни с теми людьми, которых казнили, ни с их близкими, — только изредка, мельком, их видала. В первое время она о прошедших мимо нее людях вспоминала с тяжелым чувством. Однако логические доводы и некрологические фразы ее немедленно успокаивали. Помогала также шведская гимнастика. Стальной стиль партии не очень позволял коммунистам делиться внутренними переживаниями друг с другом. Но испытанные работники, стоявшие выше подозрений в сентиментальности, иногда внутренними переживаниями делились, — на вечеринках или в другой благоприятной обстановке. Карова тогда со вздохом говорила, что работать «тяжело, ох как тяжело!» Одному из товарищей, написавшему брошюру о материалистической этике пролетариата, Ксения Карловна даже как-то со стыдливой искренностью *призналась*, что ее мучат

кошмары: «мальчики кровавые в глазах». Стыдливая искренность и повышенная требовательность к себе составляли признанную особенность Каровой, — собеседник, тотчас оценивший красоту ее слов, с чувством пожал ей руку и напомнил о любви к дальнему и о железных человеколюбцах французского террора. Ксения Карловна, впрочем, не совсем лгала, — некоторую тяжесть она и в самом деле испытывала, но и кошмары, и кровавые мальчики к ней перешли из той же двадцатилетней груды, в которую материал поступал из самых разных источников. В действительности Карова была от природы совершенно лишена дара воображения и решительно ничего представить себе не могла.

Работа ее имела преимущественно письменный характер; Ксения Карловна читала, обсуждала и подписывала бумаги с ровными большими полями, с аккуратно отбитыми, пристойными, привычными фразами. Пишущие машины очень облегчали работу. Слова: «слушали», «постановили», «к высшей мере наказания», отбивались ровно и четко, что в разрядку, что в особую строку, всегда на надлежащем месте, на равном расстоянии, по одному вертикальному уровню. В первый раз подписаться под такой бумагой было нелегко, потом стало привычнее и проще. А теперь трудно было уследить даже за тем, чтобы по каждому делу была составлена бумага, чтобы не перепутали фамилий и имен. За этим Карова следила очень строго.

Лишь в самые редкие минуты она точно просыпалась от сна: это и в самом деле обычно бывало ночью. В ту пору внезапно откуда-то выскользнуло и разнеслось по России слово «чекист»; официально полагалось говорить: «разведчик», — это название было хорошее, военное, что всегда очень ценилось в партии. В новом же слове был чрезвычайно неприятный оттенок: нечто порочное и хихикающее. Впервые при Ксении Карловне произнес, с кривой усмешечкой, это слово один из ее сотрудников; оно сразу ей не понравилось. Ночью Карова внезапно проснулась, со словом «чекистка» в мозгу, и без всякой причины, ровно ничего себе не представляя, затряслась, как в лихорадке. Ксения Карловна скоро собой овладела: и глупые слова, и клеветнические выпады контрреволюционеров не могли иметь никакого значения. Однако то же самое с ней произошло еще раза два. Потом прошло и это. Она переменила обстановку и переселилась из «Паласа» на Гороховую, — на переезды уходило драгоценное время. О Каровой в партийных кругах говорили: «работает, как угорелая, восемнадцать часов в сутки»; то же самое говорили о многих других видных работниках, — почему-то всегда указывали именно «восемнадцать часов». Это было сильным преувеличением, но действительно Ксения Карловна почти все вечера проводила на Гороховой за работой.

В ее отделе тишина нарушалась сравнительно редко. Работа имела большей частью спокойный будничный характер. Никаких садистов, кокаинистов, сумасшедших Карова в Чрезвычайной Комиссии не встречала. Водку пили очень многие, достать ее там было легко; но и водку пили не до полного опьянения (этого главное начальство не потерпело бы). В общем дух был напряженной деловитости, *стальной* или *железной*, как везде в партии, — только с более выраженной беспокойной усмешечкой, с легким подмигиваньем друг другу, приблизительно означавшим: в случае чего всем все равно болтаться на веревочке. Ксении Карловне очень не нравилось, что среди сослуживцев и подчиненных были наглые люди, были взяточники, были бывшие охранники. В одном из своих докладов она прямо писала: «наряду с испытанными и драгоценными элементами в органы В.Ч.К., к сожалению, по отсутствию кадров, проникли элементы патологические, делающие возможными нежелательные и компрометирующие партию эксцессы». Но на верхах, как оказалось, это знали, — сам Ильич со смешком признавал, что тут ничего не поделаешь: нужны, нужны и такие, потом и до них доберемся.

Так и в эту сентябрьскую ночь, читая бумагу за подписью комиссара Железнова о новых лицах, к которым должна быть применена высшая мера наказания, Карова невольно подумала, что Железнов человек ненадежный, что он в партии всего лишь с прошлого года. В эти дни, после раскрытия английской организации в Москве, после налета на посольство, настроение на Гороховой было особенное, одновременно торжествующее и растерянное; и

стальной характер работы, и усмешечка с подмигиванием обозначились еще сильнее.

Приехавший из Москвы комиссар тревожно-весело рассказывал, как попался на удочку английский полномочный представитель. Ксения Карловна, прислушиваясь к рассказу, бегло читала доклад Железнова. Фамилия Яценко в бумаге что-то ей напоминала, но задуматься было некогда, и рассказ ее развлекал.

— У артисточки все и нашли... Вот тебе и Художественный Театр!..

— Так разве она жила на Хлебном?

— Да нет же, в Хлебном это Локерт жил, или как его там? А Константин в Шереметьевском.

— Где это Хлебный? Кажется, на Поварской? Хорошие места...

— Это что англичане! Далеко англичане! А вот не нравится мне, товарищи, что и германский представитель присоединился к протесту дипломатического корпуса против террора.

— Ну и пусть присоединяется. Не очень мы испугались!

— Собака лает, ветер носит...

— Так-то оно так, и в нашей конечной победе не может быть сомнений, однако товарищ Ленин прямо говорит, что империалисты всех стран могут расчудесно между собой сговориться...

— Понятное дело, как до кармана дойдет... На это тоже не надо закрывать глаза, товарищи.

«В самом деле, — подумала Ксения Карловна. — Нет, теперь не время миндальничать, когда Ильич лежит с пулей в груди, а агенты мировой буржуазии сговариваются на наш счет...» — Она бегло дочитала бумагу до конца, сверила номера с главной книгой, вздохнула и сбоку на полях сделала пометку «К. Кар.», с особым штрихом, который от «р» снизу вверх, справа налево, красиво огибал букву К.

III

Револьвер, приобретенный Витей в самом начале революции, мирно пролежал полтора года в спальной Натальи Михайловны. После первых мартовских дней родители отняли его у Вити, ссылаясь на то, что народ уже одержал полную победу. Витя возражал: быть может, еще придется отстаивать завоевания революции с оружием в руках. Но возражал он сбивчиво, без достаточного напора; револьвер был отобран и помещен в большой шкаф Натальи Михайловны, как в наиболее укрепленное место квартиры. Железного шкафа у Николая Петровича не было. Не было никогда в доме и оружия. Николай Петрович, правда, говорил, что в молодости охотился и что хорошо было бы как-нибудь привезти в Петербург прекрасную двустволку бельгийской работы, в свое время им оставленную на хуторе у приятеля. Однако Наталья Михайловна, не любившая огнестрельного оружия, относилась к рассказам мужа и к двустволке неодобрительно-скептически: «Знаем мы вас, охотников! Ладно, поохотился и будет, обойдемся без твоей двустволки»...

Со времени ареста Николая Петровича Витя ни разу не заглядывал на квартиру родителей. В пору своей работы в лаборатории он подумывал о револьвере. Но Браун решительно запретил ему носить оружие.

— Если так вас арестуют, можно будет выпутаться из беды. А найдут оружие — тогда конец.

Довод был сильный, Витя все же согласился с ним неохотно. Он знал вдобавок, что сам Александр Михайлович никогда не расстанется с браунингом. Теперь, уезжая, Витя твердо решил захватить с собой револьвер, который при переходе границы очень мог пригодиться. Поэзию оружия Витя по своей юности чувствовал с особенной силой.

В квартире Николая Петровича давно распоряжалась Маруся, все ключи находились у нее. Говорить ей о револьвере было неудобно; Витя решил прибегнуть к хитрости. Дня через два после отъезда Клервилля и Муси он позвонил по телефону Марусе; сказал, что

постельного белья у него осталось немного, надо бы взять еще из шкапа. Маруся очень это одобрила.

— Хотите, я вам в субботу принесу? И простыни, и наволочки... Все цело, как при маме покойнице. Нитки ни одной не пропало.

— Нет, спасибо, я сам зайду... Да вот сегодня в пять часов.

К удивлению Муси, Витя легко согласился уехать за границу и почти без спора принял ее доводы, когда узнал, что на его отъезде настаивает Александр Михайлович и что сам он тоже уезжает.

— Со мной и от отца готов уехать, — потом, как бы раздраженно, говорила Муся Сонечке. — И, разумеется, он на седьмом небе оттого, что мы все узнали об его славной революционной деятельности!

Муся произнесла эти слова с насмешкой, но в душе она гордилась смелостью Вити. Сонечка тоже была поражена.

— Нашел, чем хвастать, мальчишка: экого дурака в сущности сваял!.. Все они его за нос водили.

— А тебе, неприятно, что он тоже едет за границу? — робко спросила Сонечка, вытирая слезы (она плакала теперь постоянно). — Тебе неприятно из-за Вивиана?

— Какие глупости! Я, напротив, страшно рада, что хоть он вырвется отсюда. Лишь бы благополучно проскочил. Но за вас двоих мне теперь так больно!.. Так больно, Сонечка!..

— Что с нами может случиться, Мусенька?.. Притом ведь доктор сказал, что Глаша скоро встанет.

— Да, сказал, иначе я не уехала бы. Но все-таки... Ты помнишь мои инструкции?.. Повтори.

Сонечка плакала все сильнее, смеялась, опять плакала и повторяла инструкции, которые оставляла Муся в предвиденьи разных случайностей.

Маруся торжественно вела Витю по комнатам. Она, видимо, очень гордилась тем, что ничего из вещей не продала. Квартира была та, да не та. В кабинете на ящиках стола виднелись сургучные печати. Везде, уже с передней, пахло бельем и утюгами. Этот запах бедности неприятно поразил Витю, хоть ему было и не до того.

— Скучно вам теперь? — сочувственно улыбаясь, спрашивала Маруся.

— Скучно...

— Ну, ничего.

— Ну, ничего, Бог даст, опять свидетесь... Вот когда кончится война.

«Не когда кончится война, а через неделю», — подумал Витя. День его отъезда и даже час встречи в Гельсингфорсе были заранее назначены и окончательно закреплены шепотом при отходе поезда, на Финляндском вокзале (Мусю и Клервилля провожали все, даже Маруся).

— Бог даст, когда-нибудь, — беззаботно ответил Витя.

Маруся подала ему связку ключей и несколько исписанных листков бумаги.

— По записке все и проверьте: это белье, это посуда... Вот чашку одну я разбила, из тех белых...

— Да бросьте, Маруся, как вам не стыдно!.. Стану я проверять, точно я вас не знаю.

— Уж знаете или не знаете, а вы проверьте, — говорила грубовато-фамильярным тоном Маруся, очень польщенная его словами. — А потом чаю выпьете, я самовар поставила.

— Спасибо, чаю выпью с удовольствием.

— Сахар есть, сейчас принесу. Мне у нотариуса восемь кусков должны, еще вчера хотели отдать... От маминого шкафа этот ключ.

— Да, я знаю...

Витя родился и прожил всю жизнь в этой квартире. Николай Петрович снял ее тотчас после свадьбы и не хотел съезжать, хотя увеличились и семья, и жалованье. Наталья Михайловна не раз заговаривала о том, что квартира тесновата, всего пять комнат, что улица плохая, и парадный ход бедный; но и она не очень настаивала на перемене, так как была суеверна: здесь они жили очень счастливо, а еще Бог ведает, как было бы в другом доме? Рассказы о квартире, о первых днях на ней, о покупке мебели, об его рождении Витя помнил с ранних детских лет. У родителей лица принимали особенное нежное выражение, когда они об этом вспоминали. «Может, папа и мама здесь бы и весь век прожили, если б не революция...» Мысль о том, что можно прожить весь век на одной квартире, прежде привела бы в ужас Витю. Теперь она его умиляла.

Он вошел в спальную и открыл шкаф, с которым у него связывались воспоминания раннего детства. Из шкапа повеяло знакомым запахом старого дерева и душистого мыла. Витя вздохнул. Длинный ящик с мягкой ситцевой крышкой стоял на своем месте так же, как и коробочка с дорогими запонками Николая Петровича, надевавшимися только в исключительных случаях. «Тут бедная мама хранила свои сбережения, тут же и бонбоньерка была, что тогда к именинам принес Владимир Иванович... Вот она внизу, бонбоньерка... Я бегал к маме за конфетами пока не вышли все...» Револьвер лежал на самом верху шкапа, прикрытый для верности мохнатыми полотенцами. Николай Петрович в свое время по требованию жены его разрядил; патроны, которых Наталья Михайловна боялась меньше, были положены в пустую баночку от кольдокрема. Витя осторожно попробовал, уже не забыл ли, как заряжают. Относительно предохранителя он не был уверен: не то надо поднять стерженек, не то опустить. Зарядив револьвер, он повертел приятно потрескивавший барабан, полюбовался появлявшимися на стальном фоне желтыми ободками патронов, затем сунул револьвер в карман и подумал, что если сейчас на улице обыщут, то *крышка*.

Отводя подозрение Маруси, он взял из шкапа несколько полотенец, платков, наволочек и неумело завязал их в простыню... «Разве и запонки тоже взять? Еще обыск будет... Нет, не надо. Лучше только их положить сюда». Он приподнял мягкую крышку коробки и, вместо перчаток, увидел большую, перевязанную ленточками, пачку писем, писанных столь знакомой ему рукою. Первым движением Витя смущенно закрыл коробку. «Однако уж это никак здесь нельзя оставлять. Запечатаю и передам папе, если увидимся... *Когда увидимся*», — вздрогнув, поправил себя он и бережно спрятал в боковой карман письма, затем запер шкаф и вышел в свою комнату.

Здесь было всего больше перемен. По-видимому, в этой комнате устроилась теперь Маруся. На письменном столе стояли утюги. Постель была покрыта не прежним синим стеганым одеялом, а другим. В углу висели платья. Только полки с книгами были такие же, как прежде. Витя подошел к ним. По этим полкам легко было проследить его биографию. На самый низ были давно положены истрепанные книги, скрываемые от глаз товарищей: уютные томики «Bibliothèque rose»⁷⁴, английские школьные повести, Буссенар, «Грозная Туча», «Князь Иллико», «Сын Гетмана». Большую часть полок занимали «полные собрания сочинений», — Наталья Михайловна всегда ворчала, что не нужно тратить столько денег на переплеты и что отлично можно переплестать в одну книгу не два, а три тома. На показной полке стояли «История философии» Виндельбанда, предел премудрости русских гимназистов, Иванов-Разумник и Анатолий Франс, Дрэпер и Сологуб, разные альманахи и «Вестник Знания». Над полками, к стене булавами была приколотая фотография молодцеватого матроса, друга Маруси, — это было Вите неприятно. «Да, надо взять книжку на дорогу», — подумал он. Книги верхней полки его не соблазнили; русских классиков он знал наизусть. Витя нагнулся и взял наудачу книгу снизу. На красном потертом и выцветшем с верхнего края переплете, на фоне московских церквей, был изображен опиравшийся на

⁷⁴ «Розовая библиотека» (фр.) — серия детских книг, выходившая во Франции.

бердыш мрачный бородатый стрелец. Витя с улыбкой перелистал книгу. Боярин Кирилло Полуэктович пришел за царской невестой, которая волновалась и не хотела следовать за боярином: «Ой, немоготу... Тягота на мне больно великая... Плечи давит... Ноги вяжет... К земле так и клонит, ровно веригами гнетет, матушка родимая...» Но матушка ничего не желала знать: «Али ты спятила, государыня-царица, моя доченька... И молчи, нишкни... Што за речи пустяшные... Значитца, так надоть... Ну, на меня обоприся, не молода, а выдержу... И не досадуй ты, не зли ты меня, слышь, Наталья... Царицушка, моя дочушка, шагай, шагай, порожек тут...» Люди усадили Наталью в каптанку царскую, которая здесь же была изображена на глянцевитом вкладном листе. На передней лошади, раздирая ей рот удилами чуть не до ушей, сидел воинственный стрелец, которому в свое время Витя удлинил красными чернилами бороду. Витя засмеялся и вздохнул. Теперь и ему надо было уезжать, правда не в каптанке и не верхом на резвом коне.

— Что же вы? Чай подан в кабинете, — сказала, появившись на пороге, Маруся. — Я теперь у вас устроилась, а то у меня очень темно. Постельное белье свое взяла... Идите же чай пить.

Она чувствовала себя хозяйкой квартиры, а его как бы гостем, которого надо угощать и занимать. Витя перешел в кабинет. Увидев завязанный им сверток с бельем, Маруся захохотала.

— Вот так завернул! — сказала она. — Все сейчас же вывалится... Дайте, я сделаю, где уж вам!.. А вы чай пейте, пока горячий.

— Спасибо.

— Что ж так мало белья взяли? Дайте ключ, я еще прибавлю.

— Нет, не надо, я скоро опять зайду... В другой раз.

«Проверять хочет почаще... В маменьку пошел», — подумала Маруся. Она, впрочем, нисколько не обиделась: Маруся относилась к Вите с материнским чувством.

— В другой раз само собой... Все будет цело, будьте спокойны, — многозначительно заметила она, показывая, что разгадала его тайное намеренье. — И ключ можете у себя оставить...

— Да нет же!.. Вы, Маруся, не стесняйтесь: если вам нужно, продавайте. Ведь я понимаю, что и вам теперь трудно жить... Папа, я уверен, ничего не скажет.

— Ну вот, продавайте! Какие глупости! — с возмущением ответила Маруся, недоверчиво и насмешливо глядя на Витю. По ее мнению, и сам он не имел права распоряжаться оставшимся на квартире имуществом.

— Я вам разрешаю, — повторил Витя. При всем своем демократизме он был задет ее словами: «Какие глупости!» Маруся тотчас это заметила, — сама чувствовала, что не позволила бы себе так выразиться прежде, даже тогда, когда Витя был еще значительно моложе.

— Как же это: продавать! — сказала она. — И Николаю Петровичу понадобится, да и вы не всегда будете жить у барышень... Папу, верно, скоро выпустят, — добавила она совершенно таким тоном, каким говорят старикам на их золотой свадьбе: «Ну, мы еще и на вашей бриллиантовой попляшем». Не получив ответа, Маруся тяжело вздохнула.

— Дайте мне белье, я все сложу. Веревочка у вас где-то должна быть... Сахару я не положила, сами возьмите.

Она вышла. Витя взял из стоявшей на подносе старинной серебряной сахарницы маленький кусок сахару (если б он не взял, Маруся обиделась бы) и сел на диван, все время чувствуя в правом кармане что-то новое, тяжелое и страшное. «А то положить сюда?.. Так выхватить будет легче. Только бы не прорвал подкладку...» Опять немного полюбовавшись револьвером, Витя положил его во внутренний карман пиджака, отхлебнул глоток чаю и поставил стакан на табурет. Все, подстаканник, поднос, сахарница, было так ему знакомо, и все теперь его умиляло. «Да, у них была настоящая жизнь, органическая», — подумал о родителях Витя. Слово было книжное, но он ясно чувствовал, что такое органическая жизнь. В это понятие входили и сахарница, и подстаканник, и письма, перевязанные шелковой

ленточкой, и шкаф с запахом старинной шкатулки, и его собственные книги с картинками, и блины на Масленицу, и общие поездки в Музыкальную Драмму, в Александрийский театр, и вся эта небогатая, милая и уютная квартира, освещенная даже теперь прошедшей в ней жизнью хорошей, образованной русской семьи. Витя смутно, инстинктом, чувствовал, что у него, у его сверстников уже не будет этой органической жизни. «В столовой прачешная, — что сказала бы мама! Папа в крепости, а я сам не Витя Яценко! Вот кто я...» Он вынул из внутреннего кармана свой фальшивый паспорт, раскрыл и в сотый раз представил себе предстоящий переход границы в Белоострове. «Bitte»⁷⁵, — с чистейшим немецким акцентом хладнокровно сказал он советскому разведчику. Однако и тут в кабинете, очень далеко от Белоострова, при этом «Bitte» у Вити мурашки пробежали по спине. К первой странице новенького, пахнувшего клеем паспорта был неровно прикреплен зажимом пропуск из Смольного Института. «Интересно, как они достали пропуск? Смотреть гадко... Не странно ли, что я бегу с немецким паспортом!.. После всего», — подумал Витя, разумея свою четырехлетнюю патриотическую ненависть к Германии. «Да, паспорт знаю назубок... „Familiennamе“... „Vorname“... „Ständiger Wohnsitz mit Adresse“... „Beruf“...⁷⁶ Все-таки досадно, что написали гимназист, могли написать студент». «Danke sehr»⁷⁷, — вслух сказал Витя, получая паспорт от одураченного разведчика. «Немцы говорят так нараспев: „Danke sehr, danke schön“... Нет, это кажется, больше кельнеры... Надо просто флегматично бросить „danke“. А если у них возникнут подозрения? Если спросят? — „Wie meinen Sie? Ich verstehe nicht russisch“...⁷⁸ И тогда уже готовиться, следить за каждым движением... Предположим самое худшее, сразу распознают, что он тогда может сказать? Благоволите следовать за нами...» Или, если нарвешься на грубиянов: «Знаем мы тебя, какой ты немец! Ты матерой русский контрреволюционер!» — «Ах, знаете? Ну, тем лучше, получайте... Раз-два!..» — Витя выхватил из кармана револьвер и направил его на шкаф с книгами. — «Предохранитель, разумеется, перед Белоостровом переведу... Двух-трех могу ухлопать... Последний выстрел себе в лоб... Или лучше в рот? Но так, чтоб сразу смерть: нельзя им отдаться живым... Официального сообщения, верно, не будет, но из газетной хроники они все узнают: „Кровавое дело в Белоострове... Отчаянное сопротивление переодетого видного контрреволюционера...“ „Впрочем, довольно ребячиться!“ — с сожалением подумал Витя.

Он спрятал снова револьвер, паспорт, взял стакан с мокрого блюдечка и поставил его на газетный лист, которым был накрыт табурет. На запыленном листе образовался не сомкнувшийся в круг ободок. Помешивая ложечкой в стакане, Витя рассеянно прочел справа от ободка:

«По требованию гласного Левина, предложение о том, чтобы вся дума пошла в Зимний Дворец, подвергнуто было поименному голосованию. Все без исключения гласные, фамилии которых назывались, отвечали: „Да, иду умирать“ и т. п.».

IV

Николай Петрович в недоумении остановился на пороге. В комнате, в которую его ввели латыши-разведчики, было темно. Только одна маленькая матовая лампочка горела у

⁷⁵ Пожалуйста (нем.)

⁷⁶ Фамилия... имя... адрес постоянного места жительства... профессия... (нем.)

⁷⁷ Большое спасибо (нем.)

⁷⁸ Что вы имеете в виду? Я не понимаю по-русски (нем.)

короткой стены, слабо освещая стул и небольшую часть пола. На другом, неосвещенном конце длинной комнаты с трудом можно было разглядеть стол. Яценко не столько увидел, сколько почувствовал, что за столом сидит человек. «Верно это он и есть, Железнов», — подумал Николай Петрович, беспокойно оглядываясь на выходивших из комнаты разведчиков. Дверь за ними закрылась. Стало еще темнее. «Ну, что ж, мне совершенно все равно, — подумал Яценко. — Один конец, и слава Богу...»

Николай Петрович действительно в последнее время думал, что жизнь его пришла к концу. Из Трубецкого бастиона каждую ночь, около трех часов, уводили людей на расстрел. До наступления террора Яценко никак не предполагал, что его могут расстрелять; он и самый арест свой приписывал непонятному недоразумению. Перспектива близкой смерти надвинулась на Николая Петровича внезапно и вначале именно своей внезапностью его потрясла. Особенно страшна была вторая ночь: в первую — он еще неясно понимал, что такое происходит в крепости. Потом стало легче. «Да, я внутренне был вполне подготовлен», — думал с удовлетворением и гордостью Яценко. Все же в пятом часу, с рассветом, когда становилось ясно, что, если и расстреляют, то уж никак не в эту ночь, Николай Петрович испытывал необыкновенное облегчение, которого он стыдился: «Вот и подготовлен!.. Слабое животное человек...» На самом деле он все-таки не верил, что его казнят, — юрист в нем сидел твердо. Яценко знал из исторических книг, что в пору революций людей часто казнили без всякой вины; но отнести к себе такую возможность ему было трудно. Никаких приготовлений он не делал, чувствуя, что готовиться по-настоящему можно только в самую последнюю минуту, когда ни сомнений, ни надежды больше не останется. Николай Петрович заставлял себя заполнять день так же, как прежде, однако, шахматные партии у него не выходили. Читал он теперь только философские и религиозные книги, а в них самые важные, трагические главы. Это чтение его успокаивало; но иногда, в худшие минуты, ему казалось, что успокоение от книг было не настоящим, искусственным, порою чисто словесным. Так, ненадолго доставила ему утешение мысль греческого мудреца: «Пока ты существуешь, нет смерти; когда приходит смерть, ты больше не существуешь; значит бояться тебе нечего». Потом Николай Петрович подумал, что мысль — эффектная и фальшивая. «Все равно, как я твердо знаю, что Ахиллес догонит черепаху, чтобы они там ни говорили. Вот здесь, в камере, и я существую, и смерть существует рядом со мной... Нет, не так успокаивают куранты...»

Часто думал Яценко и о том, что он обязан соблюсти до конца достоинство, — обязан и перед собой, и перед памятью Наташи, и перед Витей, хоть Витя, верно, никогда о том не узнает. Он чувствовал ответственность и перед всей своей прошлой деятельностью, перед русским государством, перед тем ведомством, в котором прошла вся его жизнь: несмотря на свои новые мысли, Николай Петрович свою службу вспоминал с гордостью.

На допрос его позвали в первом часу ночи. Для расстрела час был слишком ранний, и Яценко поверил, что зовут именно на допрос. «Наконец-то хватились!» — с радостным и тревожным чувством думал он, следуя за латышами в канцелярию крепости.

— Садитесь, пожалуйста, — негромко сказал сидевший за столом человек. Яценко вздрогнул. Он сел на стул под матовой лампой.

«Ни к чему все это, старые фокусы, знаю», — подумал Николай Петрович. Он знал, особенно в провинции, следователей, которые при допросе устраивались так, что на допрашиваемых падал свет, а допрашивающий оставался в тени, — и очень верили в этот школьно-романтический прием. «Все-таки у Скобцова в Саратове не было в камере так темно. Этот, вероятно, еще мальчишка... Да мне совершенно все равно. Неужели, однако, так и разговаривать с разных концов комнаты?.. — Глаза Николая Петровича немного привыкли к темноте, но разглядеть комиссара он не мог. — Нет, не мальчишка, кажется,

длинная борода... Хорошо, дальше что?» — спросил он себя с неловким чувством, — так непривычно было сидеть у стены на стуле, без стола. Не зная, что делать с руками, он положил их на колени и немного наклонился вперед.

— Ваша фамилия? — спросил комиссар.

— Яценко, — ответил Николай Петрович, не сразу соразмерив звук голоса с непривычно большим расстоянием от собеседника.

— Имя-отчество?

— Николай Петрович.

— Николай Петрович Яценко, — повторил голос в темноте. Николай Петрович вдруг почувствовал легкое сердцебиение. — Вы были действительным статским советником в пору царизма? — поспешно спросил комиссар и, не дожидаясь ответа, добавил: — Что вы можете сказать по делу, по которому вы обвиняетесь?.. Предупреждаю, что на уличающие вас вопросы вы можете не отвечать.

Сердце у Николая Петровича как будто без причины забилося еще сильнее. — «Не случился бы нервный припадок!.. Надо ответить... Что ж это, он пародирует наш суд?.. Пускай, мне все равно. Только бы сердце успокоилось... Что такое он спросил?» — Яценко воспроизвел в памяти звук заданного ему вопроса: «...по делу, по которому вы обвиняетесь...»

— Мне неизвестно, по какому делу я обвиняюсь, — ответил он.

— Вот как?.. Ничего неизвестно?

— Ничего.

— Ничего... Так-с...

Комиссар помолчал.

— Вы привлекаетесь к ответственности по делу о контрреволюционной Федосьевской организации, — сказал он наконец.

— Виноват, какой организации?

— Федосьевской... Федосьевской контрреволюционной организации, — повторил комиссар.

— Я о такой организации сейчас в первый раз в жизни слышу.

— В первый раз в жизни слышите?

— Да, в первый раз от вас слышу.

— Ах, от меня в первый раз слышите? Может быть, от других слыхали прежде?

«Ну да, шулер! — подумал Яценко. — Или он издевается? И тон как будто издевательский... Конечно, мне все равно... Как колотится, однако, сердце... Не упасть бы в обморок...»

— Нет, и от других никогда не слыхал, — равнодушным тоном ответил он, справившись с дыханием.

— И от других никогда не слыхали?.. Так-с...

— Не слыхал.

— А о господине Сергее Федосееве вы слышали? — спросил, опять помолчав, комиссар.

— О том, который при старом строе ведал политической полицией?

— О нем самом.

— Да, о нем слышал.

— О нем слышали... Может, и лично знали?

— Да, знал и лично.

— Его знали и лично... Так-с... Когда вы его видели в последний раз?

— Давно... Года полтора-два тому назад.

— Ах, года полтора-два тому назад? Стало быть, еще при царизме?

— Да, при старом строе.

— С тех пор ни разу не видали?

— Нет, с тех пор ни разу не видал.

— Так-с... На какой почве состоялось ваше знакомство?

— У нас раз возникли деловые служебные отношения, — ответил, с трудом дыша, Яценко. Непонятная тревога росла у него с каждой минутой. «Надо отвечать коротко... Так легче...»

— Деловые служебные отношения? Письменные?

— Как?.. Нет, устные.

— Только устные?

— Да, только устные.

— Федосьев никогда вам не писал?

— Никогда...

— Ни разу?

— Ни разу... Дайте, однако, вспомнить... Нет, ни разу.

— В этом уверены?

— Совершенно уверен.

— Нам, напротив, известно, что он вам писал, гражданин Яценко.

— Вы ошибаетесь.

— Вспомните... Постарайтесь вспомнить...

— Я твердо помню: Федосьев никогда мне не писал.

— Так-с... Где находится ваш служебный архив?

— В ту пору, когда я был следователем по важнейшим делам, мой архив находился в здании суда на Литейном (Николай Петрович передохнул после длинного предложения). И лотом вместе с этим зданием сгорел... После февральской революции я получил другое назначение, и с тех пор мои бумаги...

— Тогда сгорел весь ваш архив? — перебил его комиссар.

— Да, тот архив весь.

— Разве вы никогда не уносили служебных бумаг из здания суда?

— Иногда уносил ненадолго на дом для работы... Но затем немедленно возвращал назад.

— Всегда и все?

— Разумеется, всегда и все, — повторил Яценко. «Что за странный допрос! Что ему нужно?..»

— В вашей частной квартире действительно при обыске никаких служебных бумаг найдено не было, — несколько более мягким тоном сказал комиссар. — Но, вероятно, вы хранили их еще и в другом месте?

— Где же еще? Хранил в своем кабинете в здании суда... Там все и сгорело.

— Так что и переписка ваша с Федосьевым сгорела во время пожара?

— Я вам сказал и повторяю, что у меня... никакой переписки с Федосьевым не было... Впрочем, погодите: один раз я ему действительно писал.

— Ах, один раз писали? — резко сказал комиссар. — Но вы только что утверждали, что не писали никогда, ни разу, что вы твердо это помните!

— Я утверждал, и продолжаю утверждать, что он мне никогда, ни разу не писал... Но я ему раз действительно писал по одному делу, которое...

— Где же находится это ваше письмо? — еще резче перебил его комиссар.

— Должно быть, в архиве Федосьева.

— А где находится архив Федосьева?

— Этого я не знаю.

— Как не знаете? По той должности, которую вы занимали до октября, вы не можете этого не знать!

— Совершенно не знаю... Мне не было никакого дела ни до Федосьева, ни до его архива. Вероятно, его архив находится там, где был его кабинет... Или, может быть, его куда-нибудь оттуда перевезли... Ведь всем этим занялись историки. А часть полицейских бумаг, помнится, была уничтожена... в первые дни революции... Тогда много документов

должно было погибнуть. Так, по крайней мере, говорили. Во всяком случае я ничего об этом не знаю... И никакого отношения к этому я не имел.

— Вы однако же хотите меня уверить в том, что вы после революции не поддерживали никаких отношений с Федосьевым?

— Не знаю, удастся ли мне вас уверить... но это именно так: я никаких отношений с ним не поддерживал... Да ведь он и исчез из Петрограда в первые же дни революции.

— Нам доподлинно известно, что он находится в Петрограде.

— Возможно... Об этом я ничего знать не могу... Хотя бы потому, что давно сижу в крепости.

— Хотя бы потому? Значит, вы признаете, что до вашего ареста вы поддерживали отношения с Федосьевым?

— Послушайте, — сказал, бледнея, Яценко (сердце у него колотилось страшно). — Так совершенно бесполезно допрашивать... Я сам был всю жизнь следователем... И если вы думаете, что меня можно поймать... при помощи таких приемов... вы ошибаетесь... Я вам говорю, что...

— Мои приемы стоят ваших, гражданин Яценко! — сказал, поднимая голос, комиссар. Николай Петрович замер.

— Я вам говорю, что ни разу... не видал после революции Федосьева, — едва выговорил он. — Хотите верьте этому, хотите нет... Ни о какой организации я... понятия не имею!.. И если...

— Но вы сами признали, что работали при царизме совместно с Федосьевым! Этого достаточно!

— Достаточно... для чего?

— Достаточно для того, чтобы привлечь вас к ответу перед революцией, господин Яценко!

— Так и говорите!.. Тогда, по крайней мере, не выдумывайте... контрреволюционных организаций!..

— Но вы состояли и состоите в Федосьевской организации!

— Нет, не состоял и не состою!.. Если вообще такая организация существует...

— Вы говорите неправду, господин Яценко! — привстав из-за стола, вскрикнул изменившимся голосом комиссар. В комнате резко прозвучал звонок.

Николай Петрович открыл рот, тоже привстал и вдруг откинулся на спинку стула. «Ну да, это он!..»

— Вы Загряцкий! — сказал, задыхаясь, Николай Петрович.

— Отведите его! — прокричал вошедшим разведчикам комиссар.

V

В стеклянном кубе у входа плавали золотые рыбки, но их и разглядеть было трудно в грязной мутной воде. Чахлая пальма у машины шевелила запыленными пальцами, когда мимо нее проходили люди. Это был собственно не ресторан и не трактир, и не кабачок. Больше всего заведение походило на декорацию портового притона в передовом театре, где руководит постановками режиссер, умеющий создавать настроение. Видало оно всякие виды и, быть может, помнило времена, когда за границу ездили морем и Петербург был настоящим портом. В последние годы перед войной опытные люди, не любившие вокзальных буфетов, поздно ночью приезжали сюда запивать кахетинским вином шашлык или селянку. Владелец, весело-глупый человек, встречал дикими возгласами завсегдатаев и яростно кричал половым: «Рабы, режьте лучшего козленка!.. Рабы, тащите жареных павлинов!..»... Из кухни торжественно выходил человек с кинжалом у пояса, принимал заказы и, мрачно-сочувственно улыбаясь, кивал головой в ответ на указания тех гостей, которые имели личные взгляды на шашлык, а селянку называли «селяночкой», потирая руки и улыбаясь светлой улыбкой. Хозяин приносил старательно запыленные бутылки, пил с

гостями и с хохотом рассказывал общеизвестные анекдоты, выдавая их за истории, случившиеся с ним или с одним его приятелем. Заведение очень опустилось с войною. Умер хозяин, ушел воинственный человек, которого завсегда и, с непонятной гордостью, называли осетином. Революция совсем подорвала дело. Гастрономы приуныли и перестали приезжать, последнего полового рассчитал новый владелец, публика стала много хуже, — разве изредка забредет наблюдать *нравы ночного притона* компания литераторов или какой-нибудь молодой провинциальный турист, втайне воображающий себя Фаустом. Пришли в упадок шашлык и селянка, но кахетинское вино подавалось по-прежнему, — говорили, что новый хозяин имеет связи.

Пахло рыбой, капустой, табаком и керосином. Окна передней комнаты были плотно завешены. Публики было немного, — из-за событий в городе или оттого, что весь вечер шел проливной дождь. Застрявшая компания матросов невесело пила и, зевая, играла в карты. На них подозрительно поглядывал хозяин, грузный рябой и косой человек в высоких шершавых сапогах, как нельзя более подходивший наружностью к декорации портового притона. Он не был уверен, что ему заплатят. Матросы уже понемногу теряли положение знати нового строя, однако ссориться с ними не приходилось.

Женщина в платке, следившая за игрой, встала и допила вино в стаканах, стоявших перед ней и перед ее соседом. Матрос выругался крепко, но без оживления.

— Много лакаешь!..

— Двенадцатый час... Спать хочу, — сказала женщина.

— Куда ж в такую погоду?... Сейчас пойдем.

— Отчего мотора не взяли? Я говорила...

— Потом будете языком чесать, — сердито сказал другой игрок. — Я говорю: ва!

— Ишь, задастся! Если ва, то деньги на бочку.

Женщина изобразила презрительную улыбку на помятом, крашеном, еще красивом лице.

— Скучно мне с вами... Граммофон бы пустить, песню какую-нибудь, — сказала она, натягивая продранные перчатки, видимо, главную свою гордость.

— Не время теперь песни играть, — угрюмо отозвался хозяин. Матрос к нему повернулся.

— А для буржуев было время? — грозно спросил он.

— Ладно, пустим, — равнодушным тоном ответил хозяин и вышел во вторую комнату, где стоял граммофон.

За столом гость в дорожном плаще что-то писал при свете керосиновой лампы. Перед ним стояла пустая бутылка. Больше в комнате никого не было.

— Дождь идет? — спросил Браун, отрываясь от тетради.

— Идет, — ответил хозяин с виноватым вздохом.

— Дайте, пожалуйста, еще бутылку.

— Карданаха прикажете?

— Да, карданаха.

— Сейчас принесу... Вас граммофон не беспокоит? — понижая голос, спросил хозяин. — Матросня требует...

— Не беспокоит.

Хозяин поставил пластинку. Женщина из двери с любопытством на них смотрела. Браун встретился с ней глазами. Извилистая трубка мембраны впиалась в пластинку и завертелась. Женский голос завыл: «Прощайте, други, я уезжаю...»

— Закусить ничего не желаете?

— А что у вас есть?

— Горячего ночью ничего нет. Есть колбаса.

— И хлеб?

— Хлеба, извиняюсь, нет.

— Что ж, дайте.

— Сию минуту.

Хозяин вышел и в дверях столкнулся с женщиной.

— Это кто? Буржуй? — радостным, истосковавшимся шепотом спросила она.

— А я почему знаю? Мы паспортов не требуем. Только бы платили, не то, чтобы жулье какое-нибудь.

Женщина оглянулась на игроков и вошла во вторую комнату.

— Мусье, угостите девочку вином, — привычным тоном, как автомат, произнесла она классическую фразу, которую по лени никогда не меняла. Браун оглядел ее с ног до головы. Она почувствовала, что дело может выйти, и нацепила привычную вызывающую улыбку, хоть гость показался ей неприятным. «Ах, ша-рабан мой, амери-канка... — запела она вполголоса, вторя граммофону. Хозяин вошел с откупоренной бутылкой и скользнул по ним опытным внимательным взглядом. — ...А я девчонка, ды хулиганка!...»

— Закуску сию минуту подам. И сухари нашлись.

— Спасибо.

— Матросы сейчас уходят, — многозначительно сказал хозяин и отошел к граммофону. — «...Ды болит мое сердце, ды болит пе-чонка...» — пела женщина, поплясывая на месте и глядя на Брауна. Граммофон захрипел. Хозяин поднял трубку, приблизившуюся к красному кружку. — «...Ах, что поделал со мной мальчонка!...»

— Ты с ними уходи и назад возвращайся, — прошептал хозяин.

«...Единственно для пользы дела имею честь представить товарищам членам коллегии В.Ч.К., что наружное наблюдение за арестованным 31-го числа августа месяца контрреволюционером б. князем Алексеем Андреевичем Горенским было с самого начала поставлено неудовлетворительно и поверхностно как вследствие недостаточного числа предоставленных в распоряжение отдела разведчиков, так и в силу их полного незнакомства с делом, требующим опыта, размышления и навыка. О вышесказанном я неоднократно имел честь докладывать товарищам членам коллегии В.Ч.К., в частности в моих письменных донесениях за №№ 1 и 7...»

«Этот фрукт хочет нас учить, — морщась, подумала Ксения Карловна. — Достаточно того, что его самого пока терпят...»

«При надлежащей постановке дела и при наличии опытных наблюдателей обязательно должны быть замечаемы все связи и знакомства лица, принятого в наблюдение (первоначально было написано „принято в мушку“, но потом вместо „мушки“ поставлено слово „наблюдение“). Это требование позволяю себе назвать азбукой разведочного дела. Между тем обращаю внимание товарищей членов коллегии В.Ч.К. на то обстоятельство, что контрреволюционер б. князь Горенский был отмечен Инфагом наружному наблюдению еще 25-го числа августа месяца. Однако товарищ разведчик наружного наблюдения, принявший б. князя Горенского, потерял связь с принятым и не сумел даже выяснить, где именно б. князь Горенский провел последние ночи и с кем он встречался, что само по себе достаточно свидетельствует о явно ненормальной и дефективной постановке всей службы наружного наблюдения в Аго...»

«К сожалению, в этом он прав... На Аго надо будет обратить особое внимание», — подумала Ксения Карловна и сделала пометку: NB.

«...В силу доверия, оказанного мне товарищами членами коллегии В.Ч.К., считаю себя обязанным обратить их внимание на этот прискорбный факт. Наружному наблюдению удалось, правда, установить, что 30-го числа августа месяца в семь часов вечера принятый в наблюдение б. князь Горенский встретился на Каменноостровском проспекте в доме № 74 с лицом, в котором, путем сопоставления некоторых имеющихся у Инфага данных, удалось с большой вероятностью признать известного товарищам членам коллегии В.Ч.К. по моему предыдущему докладу за № 16 контрреволюционера Александра Михайловича Брауна...»

Бумага задрожала в руках Ксении Карловны.

«Однако, в результате той же неопытности товарищей разведчиков наружного наблюдения и их полного незнакомства с делом, означенное лицо не было тотчас принято в наблюдение, а самое сообщение было мне сделано с опозданием непозволительным и недопустимым, каковое обстоятельство еще раз свидетельствует о той же дефективной неналаженности службы наружного наблюдения в Аго. Немедленно принятые меры уже не могли привести к цели, так как означенное лицо, проявляющее не в пример более осторожности и осмотрительности в действиях, чем б. князь Горенский, в указанном выше доме более не появлялось. Свои предположения о роли контрреволюционера Александра Брауна я имел честь изложить на устном докладе от 26-го числа августа месяца члену коллегии В. Ч. К. товарищу Каровой и получил предписание выяснить общую картину дела, воздерживаясь от преждевременного ареста означенного лица, если бы к такому аресту представился случай.

Не позволяя себе входить в обсуждение видов и намерений коллегии В.Ч.К., считаю себя обязанным указать, что в настоящее время общая картина дела может уже считаться выясненной, главным образом на основании внутреннего освещения в так называемой второй десятке Федосьевской организации. Преступное контрреволюционное сообщество, во главе которого стоял б. действительный статский советник Сергей Васильевич Федосьев, готовило центральный террористический акт, известный товарищам членам коллегии В.Ч.К. по моему докладу за № 16. Есть все основания предполагать, что контрреволюционер Александр Браун, химик по профессии, ведал в злоумышленной организации делом изготовления взрывчатых веществ. Однако внутреннее освещение, исходящее из второй десятки, а равно и из других источников, известных товарищам членам коллегии В.Ч.К., пока не дало, к сожалению, возможности установить, где, как и при чьем участии производилось это изготовление.

В силу арестов, произведенных 31-го числа августа месяца и 1-го и 2-го числа сего сентября месяца, злоумышленная организация может считаться вполне освещенной и в значительной мере ликвидированной. Арестованные по этому делу, согласно распоряжения, переданы в ведение товарища Железнова. Позволяю себе надеяться, что коллегия В.Ч.К. оценит труд лиц, этому со всем служебным рвением способствовавших, как равно и общую активность отдела.

Как известно коллегии В.Ч.К., несмотря на все усилия отдела, наиболее опасные деятели преступного сообщества до сих пор не арестованы и об их планах и местопребывании внутреннее освещение никаких сведений или хотя бы наводящих указаний дать не могло. Вполне вероятно, что злоумышленники попытаются в ближайшие дни скрыться за границу или на юг России, находящийся во власти контрреволюции. Почитаю долгом в самом спешном порядке обратить внимание коллегии В.Ч.К. на полную неудовлетворительность постановки наблюдения и контроля на пограничных пунктах, как сухопутных, так в особенности морских. При надлежащей энергии, распорядительности и быстроте действий попытки бегства могут быть, однако, еще пресечены, и в этом случае были бы все основания надеяться на арест злоумышленников в самом ближайшем будущем. В связи с указанным выше устным распоряжением, объявленным мне 26-го числа августа месяца членом коллегии В.Ч.К. товарищем Каровой, и признавая картину дела в настоящее время совершенно установленной, имею честь покорнейше просить коллегия В.Ч.К. о безотлагательном разрешении отделу, в порядке собственной инициативы, не теряя ни минуты времени и не сносясь для каждого отдельного действия с коллегией В.Ч.К., принять все меры к скорейшему задержанию скрывшихся руководителей преступной организации. Одновременно, считаясь также с вполне реальной возможностью вооруженного сопротивления с их стороны, настоятельным образом прошу о немедленном предоставлении в распоряжение отдела нового контингента разведчиков, причем повторно и единственно для пользы дела ходатайствую о разрешении мне выбирать сотрудников самостоятельно, из лиц мне известных, не считаясь с их прошлой службой. Долгом чести почитаю заверить товарищей членов коллегии В.Ч.К., что новые завербованные мною

разведчики, в сознании печальных ошибок своего прошлого и счастливые доверием, оказанным им правительством рабочих, крестьян и солдат, с удвоенной энергией, не за страх, а за совесть, будут служить на знакомом им поприще делу строительства великого пролетарского государства».

Лицо Ксении Карловны было смертельно бледно. Минут десять она сидела за столом, то перепечатывая доклад, то откладывая его в сторону. Затем ее глаза наполнились слезами. Она поспешно взяла бумагу, сунула ее в боковой ящик и, захлопнув ящик, два раза повернула ключ в замке.

Пахнуло сырым ветром. Боковая дверь открылась. Вошел Федосьев. У него в руке был небольшой электрический фонарь. Он остановился на пороге, окинул взглядом комнату и сел, расстегнув пальто.

— Выспались? — спросил Браун.

— Не то чтобы выспался, а часика три подремал, — ответил, зевая, Федосьев. Он потушил фонарь и сунул его в карман. — А вы неужто так и не ложились?

— Негде было.

— Как негде? Вам хозяин предлагал вторую постель... Скверные, однако, у него постели.

— Да, меня они не соблазнили.

— Все же лучше было поспать, чем так сидеть всю ночь, только нервы расстраивать.

— Да и вы рано встали.

— Еще часа полтора ждать. Приехать надо к самому отходу парохода, так выгоднее. Конечно, можно было бы полежать еще немного... Нравятся вам мои мохнатые усы?

— Ничего. Немцы теперь больше бритые.

— Всякие бывают, я под кайзера... Все-таки, врать не стану: спалось не очень хорошо, — сказал Федосьев, потягиваясь и улыбаясь. — А вы винцо пили?

— Пил. Недурное вино.

— По-видимому: две бутылки выпили. Второй стакан вы для меня припасли?

— Для вас.

— Но ни единой капли мне не оставили... Смотрите, Александр Михайлович, все будет на пристани зависеть от вас и от вашего самообладания.

— Надеюсь, вы окажетесь достойным партнером.

— С той оговоркой, что немецким языком я владею плохо. Вы, наверное, лучше сойдете за немца.

— Говорите наудачу «Jawohl»⁷⁹ или «Ach, so!»⁸⁰ — это всегда можно.

— Буду по возможности помалкивать. Во всяком случае я очень рад, что вы согласились бежать вместе со мной. По правилам конспирации нам следовало бы разделиться.

— Напротив, им в голову не придет, что мы с вами можем путешествовать вместе.

Федосьев засмеялся.

— О, вы психолог! Как же выходит по психологии: проскочим мы или нет?

— Не знаю. Но я стою на своем: проще нам было уехать по железной дороге. Паспорта надежные.

— Нет, уж в этом вы на меня положитесь: по моим сведениям, надзор на пограничных вокзалах много серьезнее, чем на пристани. Этому вашему юному помощнику можно по железной дороге, но не нам с вами. Уж меня-то и в Белоострове, и в Орше хорошо знают в лицо. Там гримом не отделаешься, да и грим у нас с вами неважный.

— Тогда и на пристани арестуют, — сказал Браун. Он рассеянно взялся за бутылку и

⁷⁹ Конечно (нем.)

⁸⁰ Ах, так! (нем.)

тотчас поставил ее на стол: в ней в самом деле не было ни капли.

— Все возможно. Игра: пан или пропал. Вы не игрок?

— Я? О нет.

— А я почему-то думал, что вы игрок... Хозяин пошел спать?

— Да, как только матросы ушли, пошел спать. Сказал, что в четыре часа лошадь будет подана... Он из ваших бывших, этот Спарафучиле?

— Из них самых. Всем мне обязан.

— Это, конечно, ценная гарантия! А помните, вы меня попрекали тем, что я доверяю молодому Яценко?

— Мой расчет надежнее. Вы ставили на честность, а я на страх. Какой ему смысл меня предавать? Ведь я тогда могу кое-что рассказать и о нем.

— За такой подарок, как вы, ему все простят.

— Может, простят, а может, и не простят. Здесь же дело простое, выгодное: и меня сплавил за границу, и деньги с нас получил. У него, правда, наружность прямо для корчмы из «Риголетто», но человек он простой, милый и радушный, как очень многие жуликоватые люди... Риск, бесспорно, есть, однако что же мне было делать? Я теперь нигде не нашел бы убежища, в гостиницах постоянные облавы, квартира моя выслежена.

— Та, адрес которой вы, по вашим словам, сообщали только самым надежным?

— Да, та самая, — с досадой ответил Федосьев. — Знаете, если мне еще иногда хочется прийти к власти, то преимущественно для того, чтобы кое-кого вывести на чистую воду.

— И повесить.

— Разумеется, и повесить.

— А дело наше, правду сказать, кончилось довольно бесславно. По каким причинам, Сергей Васильевич? Задумано все было хорошо, люди были неробкие, неглупые, опытные. Почему все так провалилось?

— Провалилось по случайности. Вследствие недостатка средств, вследствие глупости союзников, вследствие болтливости рядовых юнцов, вследствие неосторожности вашего Горенского. Более глубоких причин не ищите: их нет.

— С такими причинами нельзя показаться на глаза историку-социологу.

— А черт с ним, с историком-социологом! Я правду говорю, — сказал Федосьев. Он взглянул на часы. — Господи! Еще только четверть третьего.

— А вдруг есть и более глубокие причины?

Федосьев опять широко зевнул и потянулся.

— Спать хочется, — сказал он. — Спорить можно будет на пароходе, если, Бог даст, проскользнем... Тогда всему подведем итоги. Я напишу мемуары, а вы «Ключ». Закончите его каким-нибудь таким философским эффектом, вот как поэты самый эффектный стихок всегда приберегают под конец стихотворения... Ужасно спать хочу... Так какая же глубокая причина?

«Ну, теперь все кончено, — подумал Яценко, оставшись один в камере, — ясно, сегодня и расстреляют, чтобы я никому не мог о нем рассказать!..»

Он подошел к умывальнику и стал умываться: у него осталось от допроса ощущение — точно от прикосновения к кому грязи. Руки у Николая Петровича тряслись, сердце колотилось. «Боюсь?.. Да, конечно, боюсь... Но все же не так страшно, как думают, как описано... Где это описано?.. У Гюго?.. Или у Достоевского?.. Да, у Достоевского... — Ему тотчас показалось диким, что на краю могилы он вспоминает о каких-то романах. — Да, это очень странно... Даже, пожалуй, смешно... Книжная натура... Русский интеллигент... — Огрызок мыла в руках Николая Петровича трясся все сильнее. — И то, что я об этом говорю „русский интеллигент“, это еще более смешно и книжно... Не надо думать о пустяках, когда жить осталось несколько часов... Может быть, даже несколько минут?.. Нет, больше: уведут в четвертом часу... Когда меня к нему потребовали, было двадцать минут второго. А теперь?..» Николай Петрович хотел было вынуть часы, но не мог прикоснуться к ним мокрыми руками. «Больше незачем беречь часы... Да, я сейчас вытру... О чем же теперь

думать? Чистое белье надеть? Сегодня все надел... Помолиться? Это в самую последнюю минуту... Что же?.. Да, надо торопиться, надо торопиться», — бессмысленно повторил он вслух, вытирая руки чистым краем полотенца. «Вот, так... Двадцать минут третьего. Значит, еще есть время, много времени!.. Да, часы я оставлю Вите... Несчастный Витя! Написать ему надо... Разумеется!..» — вспомнил Николай Петрович.

Он сел на кровать, взял лист бумаги с доски, служившей ему столом, и быстро, трясущейся рукой, написал: «Милый, ненаглядный мой Витя, когда ты прочтешь эти строки, меня уже не будет в...» И тотчас он подумал, что и эти слова — выдуманные, чужие, ненужные. «Так всегда пишут осужденные или самоубийцы... И „когда ты прочтешь“, и „ненаглядный“... Так и умираем во власти чужих слов... Так и я прожил всю жизнь, — только в последний год и жил своим умом... Да, все прогадал, все присмотрел!.. Что же я могу сказать Вите? Последний завет? Учить его, как жить? Если я сам так удачно прожил свой век!.. Притом опасно в такие дни напоминать им о Вите. И не доставят они ни письма, ни часов. Нет, не надо, ничего не надо...» Николай Петрович разорвал лист на мелкие клочья и почему-то сунул их под подушку. — «Что же нужно сделать? Разве о нем написать правду: кто он такой. Кому написать? Ему ведь и бумаги передадут, он только будет смеяться... Он для этого и меня вызывал, чтоб посмеяться... Все мои тогдашние слова повторял, — думал, вздрагивая, Николай Петрович. — Но я допрашивал честно: я думал, что он убил Фишера... А он прекрасно знает, что я ни в чем не виноват... Конечно, месть, гнусная месть подлеца... Рассчитывал, что я его не узнаю? Да, я не сразу его узнал и мог не узнать совсем в темноте, он отрастил бороду... Теперь он уже ничем и не рисковал: отсюда меня поведут прямо на расстрел... Или застучать в дверь, потребовать, чтоб тотчас повели к коменданту для важного сообщения? Так он и встанет ночью!.. Да и тот, конечно, отдал распоряжения... Теперь понятно, почему меня столько времени держали в одиночке, почему никого ко мне не пускали. Он ждал своей минуты и дождался: теперь риска почти нет... Если бы он боялся, он не вызвал бы меня на допрос, мог ведь обойтись и без допроса. Или если б вызвал, то не стал бы повторять мои слова... А прямо себя назвать все-таки не решился: в подлой душонке страх боролся со злобой... И насчет Федосьева он хотел узнать: не осталось ли писем? Если б я сдержался и не назвал его по имени, было бы, конечно, то же самое...»

Яценко лег на постель и закрыл глаза. Зубы у него стучали. «Нет, в последние минуты, на краю могилы, не надо и думать о таком человеке... Пусть живет, мне все равно... Да, теперь совершенно все равно... Лампа режет глаза... О чем же я не успел подумать?.. Руки трясутся, ногам холодно, но это нервное: нет, я не боюсь... Все это выдуманно: и кричать не хочется от ужаса, и на стену не хочется лезть. Хочется, чтобы скорее все кончилось — и только...» Он передвинулся на постели и накрылся одеялом. «Снять воротничок? Нет, сейчас придут... Почему же надо в воротничке? Да, на краю могилы», — сказал он и вдруг совершенно отчетливо представил себе могилу, ее край, окровавленную землю, червей. «Вероятно, здесь же где-нибудь у стены и расстреляют... Лишь бы сразу, наповал... И главное, чтоб не зарыли еще живого... — Николай Петрович задохнулся от ужаса. — Едва ли: они из нагана стреляют в затылок, верно и череп разлетается... У Вити тоже был револьвер. Теперь лежит в Наташином шкапу... А может быть, все-таки написать Вите?.. Нет, не надо... Не передадут, не передадут», — проговорил вслух Яценко. Он быстро приподнялся, затем снова лег и закрыл одеялом и голову. «Да, какой подлец! Какие подлецы!»

Николай Петрович вдруг вспомнил свой давний разговор с Федосьевым, выражение лица, интонацию Федосьева, когда тот говорил: «Дайте им власть, и перед ними опричина царя Ивана Васильевича покажется пустой забавой...» — «Да, он был прав, но прав в плоском понимании жизни. А в другом понимании прав я... А этот доктор Браун, он при чем еще тут был? Он убил Фишера... Или не убивал его, все равно... Все это — в плоском понимании жизни... Но что же в этом, не в плоском? До чего я возвысился за час до смерти? Не возвысился ни до чего... Нет, нечего сказать и Вите... Витя узнает не скоро... В один год потерять отца и мать!.. Кременецкие его не оставят, дай им Бог счастья!.. А, может,

когда-нибудь, как-нибудь до него дойдет... Для него я обязан крепиться...»

Дрожь у него ослабела, плечи свело, колени, ступни ног одеревенели. Стало теплее. «Так хорошо... Так бы лежать долго, долго... Да, что же будет там?.. Если правда, сегодня увижу Наташу... Нет, не может этого быть! Не надо думать об этом... Скоро, скоро все буду знать...»

Он лежал неподвижно несколько минут, вдавив в шершавую простыню пальцы рук. Вдруг нервный удар потряс его. «Что ж это? Неужели жить осталось полчаса?» — подумал, задыхаясь, Николай Петрович, точно лишь теперь он впервые понял, что настал конец. Он сбросил с себя одеяло и сел, глядя перед собой неподвижным взглядом. «Сейчас расстреляют... За что? Почему? Потому, что Загряцкий оказался у них следователем... Но ведь и еще десятки людей будут сегодня расстреляны!.. Я не один... Не за что цепляться! Нет, не за что, не так она хороша, жизнь... Только бы не опоздать, не пропустить! Вспомнить то, о чем надо подумать... — Николай Петрович напрягал все усилия, но ничего вспомнить не мог. — Нет, если не писать Вите, то и нет ничего такого... Ничего я не забыл... Жизнь, жизнь надо удержать в памяти! Все, все...» — думал Яценко, переводя взгляд с одного предмета на другой. Так он во время своих путешествий старался запечатлеть в памяти знаменитые здания или особенности пейзажа, окидывая их в момент отъезда последним взглядом. «Что же запечатлеть-то?.. Вот эту камеру... Сырое пятно на стене... Это окно... Кажется, чуть-чуть светлеет... Это лежит „Круг чтения“... Заглянуть в последний раз?.. Может, с ним будет легче? Нет, не надо...»

Легкий шум был еще очень далеко. Однако Николай Петрович тотчас понял, что это идут за ним. Сердце у него остановилось. «Вот, вот когда нужно самообладание... Да, это сюда... Ну, вот и конец... Раньше даже, чем я думал... Только бы справиться с дыханием...» Шум приближался. «Сейчас они на углу коридора... Повернули... Так и есть...»

Дверь открылась, и в камеру вошло несколько человек. В их появлении не было решительно ничего трагического или торжественного. У одного из них был в руке фонарь. Оружия не было ни у кого. Вид вошедших людей был совершенно будничным, скучающим; у некоторых лица были сонные. Человек с фонарем кратко предложил Николаю Петровичу следовать за ними и, сказав, равнодушно на него посмотрел, как бы спрашивал: «Этот что еще будет выделять?»

— Я давно готов, — ответил Николай Петрович. Он справился с дыханием, голос у него не дрогнул, и слова эти были сказаны спокойно, именно так, как он хотел. Его спокойствие не произвело никакого впечатления на вошедших людей, как нисколько на них не подействовало бы, если б Яценко забился в истерику. У них уже не было не только человеческих чувств, но и желания играть в человеческие чувства.

Они вышли из Трубецкого бастиона и быстрым шагом направились куда-то в сторону. «Как странно, что дождь, такой тихий, тихий дождь... И как все просто!.. Вот и смерть... Витя сейчас спит... Несчастный Витя!.. Да, скорей все запомнить о земной жизни», — подумал Николай Петрович. Но и запомнить было нечего.

Вдали чернели тени. Где-то сверкнул красный огонек. Яценко почувствовал, что он спокойнее, чем был у себя в камере. Он пытался даже сообразить, где будет происходить расстрел. Ориентироваться в темноте было очень трудно. Николаю Петровичу казалось, что они идут к реке. «Почему же они без оружия? В карманах, что ли, наганы? При свете фонаря расстреливать не могут. Значит, там будет свет... Ничего не видно... Хороший какой дождь... Вот сейчас и дождя не будет... Где же другие?.. Неужели сегодня я один!.. Еще запомнить небо», — вспомнил Николай Петрович. Небо было черное и суровое. «Может быть, сейчас сзади выстрелят в затылок?» — подумал он и, вздрогнув, поспешно оглянулся. Шедший сзади человек как будто дремал на ходу, заложив руки в рукава и вдавив шею. «Зароют, верно, тут же... Жидкая грязь, поглубже бы... Ведь сейчас должны быть ворота?..» Капля дождя упала ему на шею и поползла за воротник. Они очутились перед стеной. Стало совсем темно. «Кажется, своды... Значит, выходим!.. Что такое!..» Капля проникла под рубашку, Николай Петрович, морщась, выгнул спину. Вдруг спереди заблестели огни. Он

увидел перед собой Неву. Внизу, у ярко горевшего фонаря, чуть покачивалась на воде лодка. Вдали чернела большая баржа. «Да, может, и не на расстрел ведут! Увозят куда-нибудь?.. В Шлиссельбург?..» — подумал Николай Петрович. В нем засветилась необыкновенная, невероятная радость. «Нет, не может быть!.. — сказал он себе. — Что же это такое!..»

Сзади слышалась музыка, столь знакомая Николаю Петровичу. Только здесь она звучала так, как в камере никогда не звучала. «Ну, слава Богу!.. Еще раз довелось услышать!.. В такую минуту!..» — подумал Николай Петрович, едва сдерживая рыдания и стараясь сохранить в душе звуки курантов.

— ...Большевики называли тюрьму изолятором, а смертную казнь — высшей мерой социальной защиты. Сделали они это, собственно, просто по глупости, но глупость оказалась символической, и символ стал убийственным не для одних большевиков... Несчастье нашей эпохи в том, что никаких твердых, подлинных ценностей у нас нет и не было: были звонкие слова, к содержанию которых не было ни настоящей любви, ни настоящей ненависти. Сократ и люди, угостившие его цикутой, исходили из прочных моральных ценностей, — в сущности одних и тех же. В Варфоломеевскую ночь и убийцы, и жертвы одинаково твердо верили в Бога, в вечное спасенье, в загробную жизнь. Все войны в истории велись за право, за справедливость, за веру, за родину, и даже хитрецы, для своей выгоды посылавшие на смерть простых честных людей, ввали только наполовину, — даром их разоблачает глубокомысленный историк, все видящий насквозь... Я очень далек от того, чтобы идеализировать прошлое. Но тогда была вера в будущее. У нас и этого нет. У нас ничего нет, Сергей Васильевич...

— Базаров, тот, помнится, хоть в лягушку верил, а?

— У нас нет и лягушки. Должно быть, эта вера в лягушку и останется последней твердой верой просвещенного человечества. Ничего у нас нет, ничего! Мы точно спросонья говорили... Или под наркозом: так не проснувшимся или пьяным людям кажется, будто они говорят дело, но слова их ничего не значат и бессмысленно виснут в пустоте. Такие у нас были слова: свобода, самовластие, гуманность, деспотизм, родина, человечество и много, много других звонких слов... Что не было обманом, то было самообманом. С какой легкостью на смену «человечеству» пришли и «Gott strafe England» и «les sales boches»⁸¹, и Козьма Крючков, насадивший на пике сразу тринадцать швабов. С какой легкостью горячие русские патриоты оказались на наших глазах независимыми украинцами, независимыми литовцами, независимыми грузинами. И как незаметно-благозвучно тюрьма превратилась в изолятор, а «Столыпинский галстух» в «высшую меру»...

— Красно говорите, Александр Михайлович, — сказал с удовольствием Федосьев. — Много в этом и правды... Хотя на мой взгляд, чуть поверхностны ваши слова, уж вы меня извините: что ж так все валить в одну кучу, без логических разграничений, без политического анализа! В этом есть неуважение к чужой вере... А человек, неизлечимо больной демократическими взглядами, пожалуй, вам скажет: «Parlez pour vous»⁸² — и по-своему он тоже будет прав: у них ведь строго по части либерального мундира и знаков отличия за беспорочную службу демосу. Демос их послал к черту, но они беспорочную службу продолжают. Казалось бы, теперь слепому ясно, что демосу наплевать и на чужое право, и на чужую свободу. Может быть, ему наплевать даже и на свою собственную свободу, но уж на чужую наверное. Иными словами, демократия сама себя укусила за хвост. Это, разумеется, неприятно; если же в такой невыгодной позе сохранять величественно-спокойную улыбку: ничего, мол, не случилось, то, пожалуй, и несколько смешно, а?

— Меня особенно трогает ваше уважение к чужой вере, — сказал Браун. — Не мешало

⁸¹ Боже, покарай Англию (нем.) ; грязные боши (фр.)

⁸² Говорите за себя (фр.)

бы иметь уважение и к чужому неверию... Да и вообще я часто замечал: люди, очень горячо отстаивающие уважение к вере, всякую неприятную им политическую или философскую веру готовы смешать с грязью.

— Однако, согласитесь, Александр Михайлович, что четыреххвостку нельзя приравнять к религии. Во всяком случае на людей с такой религией скоро во всем мире будут пальцами показывать: нельзя же в самом деле разгуливать по бирже в костюме эдемского ангела!

— Да ведь в этом-то, повторяю, и драма: старые ценности умерли, новых нет. Мир три тысячи лет держался своего рода предустановленной гармонией, о, не в философском, не в лейбницевском, а в самом обыкновенном житейском смысле слова: по счастливому стечению обстоятельств, человек всегда рождался в той самой вере, которую всю свою жизнь единой спасительной и считал. Потом дьявол искусил: нет, ты подумай, да сравни, да поищи... Чего уж тут ждать хорошего? То, что могло дать жизни не пошлый и не временный смысл, давно стало анахронизмом... Жить надо было либо вечно, либо очень недолго.

— Уточните понятие анахронизма. Европа от римского папы теперь пришла к передовому фармацевту: папу разоблачила, но фармацевта признала. Значит ли это, что история мысли на фармацевте и остановится?

Браун безнадежно развел руками.

— Все шуточки, скептические шуточки, — сказал он. — И Победоносцев ваш скептически шутил, и Валуев скептически шутил, и Тютчев скептически шутил... Одни Россию проболтали, другие Россию прошутили... Урожай на Монтеней был у нас почти такой же обильный, как на Дантонов. А нужен был Энвер и его не нашлось. Мы с вами неудачные кандидаты. Не в этом дело... Я где-то читал: когда в Японии умирает император, его тело под гробовую музыку отвозят в усыпальницу в колеснице, запряженной черными волами. Потом этих волов умерщвляют голодом... Мы черные вола, Сергей Васильевич!

— Судя по предыдущему, я этого не вижу. Вам и на кладбище-то провожать было нечего.

— На землю надвигается тьма, — не слушая Федосьева, говорил Браун, — густая тьма, мрак, подобного которому история никогда не знала. Мрак не реакционный, а передовой и прогрессивный в точном смысле слова. Теперь, кажется, и сомнений быть не может: большая дорога истории шла именно сюда, мировой прогресс подготовлял именно это! История прогрессивно готовила штамп прогрессивной обезьяны, и мы стали свидетелями великого опыта полной обезьянизации мира.

— Нет, уж на историю, пожалуйста, не взваливайте. История, как нотариус, она любой акт регистрирует, ей что! Это вы, господа, готовили злую штампованную обезьяну, для которой мы, грешные, держали про запас клетку. А вышло так, что мы-то, все же были изверги и обскуранты, а вот мы умницы и идеалисты. Может быть, немного заблуждавшиеся по своему идеализму, но такие хорошие, такие милые, — со злобой сказал Федосьев. — Памятник не памятник, а так небольшую статуэтку и вам всем поставить не худо... Заметьте, ведь мы-то никому ничего особенного и не обещали. По моим понятиям, государственный деятель в нормальное время должен делать то, что делает хороший городской на перекрестке оживленных улиц: он регулирует движение, пропускает то одну людскую волну, то другую, стараясь никого не раздражать, когда нужно поднимает палочку. Разумеется, если у него на глазах не горит дом и не работает шайка разбойников... Наше дело маленькое. Это опять-таки ваши друзья, по своей любезности, так щедро раздавали обещания за чужой счет. Ах, да что об этом рассуждать, я об этом и говорить не могу спокойно.

— Да и я, признаюсь, не хочу об этом говорить, особенно с вами, столь случайный мой собеседник и попутчик. Что до памятников и статуэток... Послушайте, та женщина, которая стреляла в Ленина... Вы думаете, через сто лет на месте покушения будет ей стоять памятник? Нет, памятник будет Ленину! Обезьяна поставит ему!

— Не понимаю в таком случае, зачем вы готовили бомбы, — сказал Федосьев, пожимая плечами.

— Отчего же не взорвать князя тьмы?

— Ох, какие слова! Это бы вы тоже приберегли для «Ключа», — смеясь, заметил Федосьев. — Впрочем, вы и так, верно, пробуете на мне отрывки из своего шедевра. Уж очень красноречиво.

— Слова самые обыкновенные, — ответил хмуро Браун. — Я об этой тьме говорю, о тьме, надвигающейся на мир по строгим законам исторического прогресса.

— Но как бороться против того, что по-вашему должно восторжествовать?

— Отчего же нельзя? Большинство людей живет положительными идеями, — пусть худосочными, пусть дешевыми, но положительными. У интеллигенции для видимости вера в прогресс, по существу вера в личное счастье: и обман положительный, а самообман тоже положительный. А я, Сергей Васильевич, могу связать свою жизнь только с отрицательной идеей. В истории началась великая борьба, настоящая борьба на истощение, — что кому опротивеет раньше: культурному миру его фасадный порядок или миру большевистскому его хаос в хамстве? Мой выбор сделан прочно, сделан навсегда и без оглядки. Быть может, за тем фасадом пустыня, с разбросанными по ней балаганами. Но в ней есть хоть пещеры, последние пещеры, куда могут укрыться от обезьяны последние свободные люди. Здесь же нет ничего, кроме хамства, рабства и тупости. Любить мне больше некого, нечего и не за что. А ненавидеть, оказалось, еще могу, — и слава Богу! Этому стоит посвятить остаток дней.

Лицо его было очень бледно, глаза блестели. Федосьев смотрел на него, насторожившись. «Или это две бутылки вина? — спросил себя он. — А то попробовать? Самое время, на краю гибели...»

— Чем же вы жили до сих пор?

— Жил из любопытства. Или просто по инерции. При минимуме любви к жизни развил максимум жизненной энергии: формула нелогичная, но мыслимая.

— И динамит готовили из любопытства?

— Нет, повторяю, это по ненависти. Да еще из уважения к самому себе.

— Выдуманное чувство, Александр Михайлович, выдуманное: его английские сквайры изобрели.

VI

— ...Да, об этом говорить трудно, потому что говорить можно только тяжелыми страшными словами, а они, вдобавок, все давно сказаны, и это дает еще лишний повод для того, чтобы от них отмахнуться с настоящей или деланной скукой. Вопрос передо мной стоял тот же, что перед тысячами других людей до меня: как найти такое — не говорю, миропонимание, но такое ощущение жизни, при котором она имела бы сколько-нибудь разумный смысл? В сущности именно этого я искал двадцати лет от роду — и снова к этому вернулся на пятом десятке. Эти вопросы впервые возникают тогда, когда еще «новы все впечатления бытия», затем вторично после того, как впечатления бытия успеют достаточно опротиветь. Я тридцать лет жил напряженно: очень был любопытен и очень мне тогда хотелось жить. Однако жил я, как и все, по программе, составленной другими... Знаете, как в больших музеях перед наиболее знаменитыми картинами ставят особые скамейки для заранее предусмотренного восхищения. Вот такие скамейки неизвестно кем, неизвестно зачем, были расставлены наперед и по моей жизни. И я послушно посидел на каждой... Добавлю, что я достиг в жизни почти всего, чего мог достигнуть: приобрел имя, состояние у меня было и я следовательно был избавлен от того, что заполняет жизнь громадного большинства людей, от борьбы за деньги. О власти у нас говорить не приходилось. В своей науке тоже я сделал большую часть того, что мог сделать. И я с ужасом увидел, что у меня ничего нет. Это называется, кажется, моральным банкротством? Скорее это моральная нищета: я не банкрот, потому что и обязательств за собой не знаю, — кем они установлены, где проверены, где закреплены, наши человеческие обязательства? И я, наконец, послал к черту все эти скамейки. Заодно и некоторые картины... Не все, но многие! К черту!

— Верно, в это время вы и познакомились с Фишером?

Браун вздрогнул и мрачно уставился на Федосьева. Язычок пламени лизал копотью стекло. Федосьев прикрутил фитиль. Стало темнее.

— Вы, однако, человек сумасшедший, — сказал Браун.

— Александр Михайлович, какие уж теперь секреты? Может, через час и вас, и меня убьют, независимо от наших достоинств и недостатков, заслуг и преступлений. Скажите, ради Бога, правду: мне не хотелось бы умереть, так ее и не выяснив.

— Какую правду?

— Скажите, ради Бога: вы убили Фишера?

Браун смотрел на него, медленно, с сокрушением, кивая головой.

— Лечитесь, — сказал он. — Это навязчивая идея!

— Нет, в самом деле: вы убили Фишера, Александр Михайлович?

— Да бросьте вы, полноте! — вскрикнул Браун. — Как вам не стыдно!

— Значит, не убивали? — протянул Федосьев, глядя на Брауна. Он наклонился и провел пальцем по столу, на который медленно оседала копоть.

— Успела накоптить лампа... Как это мы не заметили?

— Не заметили.

Они помолчали.

— В свое время вы мне довольно подробно разъяснили вашу гипотезу о Пизарро. Выходило довольно складно. Пизарро так Пизарро. Но тогда вы предполагали, что я работаю на большевиков. Кажется, с тех пор вы имели возможность убедиться в том, что эта ваша гипотеза была не совсем удачной. Как же вам не стыдно? Что, собственно, вы предполагаете?

Федосьев слегка развел руками.

— Я и сам теряюсь в догадках. Конечно, я очень преувеличивал и вашу связь с революцией, и вашу связь с Каровой. Но все-таки... Может, что-нибудь литературное? Какой-нибудь Диоген Лаэртский, с равноценными ощущениями? Или вообще поиски новых ощущений? Или, быть может, желание проявить торжество своей воли над другими? Вы мне как-то говорили об этой поразившей вас мысли Гегеля. Хотя вы, собственно, и не из тех людей, которые живут по книжкам.

— Господи, какая ерунда! — сказал Браун. — Право, и отвечать стыдно.

— А вы преодолите стыд.

Федосьев встал, подошел к окну и отодвинул штору. За окном было темно. Раздражающе-медленно падали капли дождя.

— Дождь не прекращается, — сказал он, вернувшись на место.

— Уж если так, — спросил Браун, — то объясните мне вы, откуда, собственно, возникла у вас эта навязчивая идея?

— Возникла в результате строго логического хода мысли.

— Если не секрет, какого? Ну, хоть отправная точка? Да, собственно, почему вы вообще интересовались Фишером?

— Как почему? Должен вам сказать, что половина России была у меня под наблюдением. Я к своему делу относился любовно, как заботливый хозяин. Ночами не спал...

— Все думали в бессонные ночи, за кем бы еще установить слежку?

— Именно. А для наблюдения за Фишером я имел причины. Самые разные причины, начиная с его взглядов.

— Какие же у него были взгляды! Просто был циник, как большинство разбогатевших людей.

— Цинизм, Александр Михайлович, понятие довольно неопределенное: очень много оттенков. Фишер был циник с революционным уклоном. Быть может, он считал а priori мошенником всякого человека, однако к революционерам, я думаю, он относился особо: тоже мошенники, конечно, но по-иному, по-новому. Поверьте мне, все наши революционные

меценаты были именно таковы. Человек он был, вдобавок, широкий, щедрый, шальной. Он легко мог отвалить на революцию несколько сот тысяч, а то и больше. Добавьте к этому немецкую фамилию, роль, которую он играл. Добавьте и главное: дочь у него большевичка... Одним словом, я приставил к нему секретного сотрудника.

— Кого?

— Это все равно, кого, — улыбаясь, ответил Федосьев.

— Да ведь дело прошлое.

— Ничего не значит: мы секретных сотрудников не называем.

— А вот Спарафучиле назвали.

— Он не секретный.

— Уж не Загряцкого ли вы приставили к Фишеру?

— Загряцкого? — с удивлением протянул Федосьев. — Того, что обвинялся в убийстве?.. С чего вы это взяли?

— Были о нем какие-то темные слухи незадолго до революции. Потом он, кажется, исчез.

— Чего только люди не говорят! — сказал Федосьев со вздохом. — Нет, разумеется, Загряцкий тут ни при чем... Поселил я в «Паласе» филера, который следил за каждым шагом Фишера. И вот, из донесений я узнал о вашем знакомстве с ним... Вами, как вы знаете, я интересовался давно. Выходило довольно занимательно: с дочерью дружен, с отцом тоже дружен. Странная, казалось бы, дружба? Уж вы не сердитесь, Александр Михайлович, сами говорите, дело прошлое...

— Одним словом, вы установили наблюдение и за мной?

— Так точно.

— Что же оно выяснило?

— Выяснило, что вы бывали на той квартире.

Снова наступило молчание.

— Дальше?

— Становилось все занятнее. Знаменитый ученый и этакая квартира! Выяснилось также, что у вас есть от нее свой ключ. Вдруг разрывается бомба: Фишер отравлен на этой самой квартире! Согласитесь, Александр Михайлович, что и менее подозрительный человек, чем я, мог тогда вами заинтересоваться чрезвычайно. В разносторонних способностях революционеров я никогда не сомневался... Извините меня еще раз, вашу комнату осмотрели, — будьте спокойны, совершенно незаметно, техника у нас, слава Богу, была недурная. Ничего предосудительного найдено не было. Разве только одно странное обстоятельство: того ключа не нашли, — сказал Федосьев, с любопытством глядя на Брауна. — Прежде лежал в среднем ящике стола, а, помнится, дня через два после дела его уже не нашли. Так и не знаю, куда делся ключ? — добавил он полувопросительно. — Должен сказать, больше с той поры я ничего добиться не мог. Ничего решительно, хоть за вами следил до самой своей отставки. Сделал было еще одно изыскание, но оно дало отрицательные результаты.

— Какое изыскание?

— Дактилоскопическое, не стоит рассказывать.

— Милые нравы! — сказал, пожимая плечами, Браун.

— Чьи нравы? Ах, полицейские нравы? — с улыбкой спросил Федосьев.

— Все это вы делали с ведома следователя?

Федосьев засмеялся.

— С ведома Яценко? О нет, я ему ничего не говорил. Почтенный Николай Петрович и по сей день обо всем этом не имеет ни малейшего представления. Но надо сознаться, и я выяснил не больше, чем он. Так с тех пор и стою дурак дураком перед этой загадкой: вы или не вы? Вскоре после того меня уволили, дело давно потеряло практическое значение, но интерес к загадке у меня остался: вы или не вы?

Браун смотрел на него, качая головой.

— Вот какие у нас были реалисты и практики! — сказал он. — В этой фантастической стране главой полиции мог быть маньяк!.. Значит, я отравил Фишера для того, чтобы его миллионы достались товарищу Каровой? Которая, через час, быть может, нас с вами расстреляет?

Федосьев вынул часы.

— Пять минут четвертого. Очень может быть, что через час нас убьют. Не расстреляют: я живым не дам, и вы, верно, тоже... Да, да, я именно это предполагал. Теперь это кажется нелепостью, — по крайней мере отчасти, — но, согласитесь, тогда дело представлялось в другом виде: теперь все вверх дном. Может быть, тогда вы и рады были бы дать полезное революционное назначение наследству Фишера? Так ли уж это было невыносимо? Теперь все вверх дном, — повторил Федосьев. — Заметьте, что и это фантастическое наследство оказалось как бы мифом, каким-то черным символом: ведь миллионы Фишера растаяли под секвестром. И деньги его, и акции, и что там еще, все теперь совершенно обесценилось, конфисковано, национализировано, все пропало, все досталось им... Очень странная история, — сказал он, помолчав. — Все мы на них работали: боролись, мучились, уничтожали друг друга — с тем, чтобы все досталось им... Ну, да это философия... Так не вы? Значит, не вы?.. Кто же убил Фишера? — спросил Федосьев и вдруг вспомнил, что об этом когда-то его растерянно спрашивал Яценко.

— Мое мнение вам известно.

— Известно? Мне? Ах, тот ваш рассказ: умер от злоупотребления возбуждающими средствами. Да, вы мне это тогда говорили в «Паласе».

— Мы тогда обменялись гипотезами. И в сущности, мы оба были почти правы, — сказал медленно Браун.

— Как же так: оба правы? Вы с этой басней... с этой гипотезой, а я с Пизарро?

— А вы с тем объяснением, которое вы под конец дали мотивам действий... Пизарро.

— Этого я что-то не пойму. Значит Фишер отравился... Вы тогда называли вещество, но я не помню, какое?

— Кантаридин.

— Почему вы так уверенно говорите?

— Потому, что он меня расспрашивал об этом веществе.

— Когда? — спросил, встрепенувшись, Федосьев. — Там? На той квартире?

— Да, и там, на той квартире, — повторил медленно Браун.

— ...И вот, тогда я себе сказал, что кругом обманул своего биографа! Для этой грязи, для этих женщин, для этих вечеров он никакой главы отвести не мог бы. А я, старый дурак, я гордился своей биографией! Это было всего глупее. Да, я весь проникнут был тем, что вы только что назвали выдумкой английских сквайров, — ведь вы двойник того худшего, что есть во мне. Но себя обманывать я не мог и не хотел: я увидел, что и я тот же Фишер.

— Нескромный вопрос: ведь это были очень молодые женщины?

Браун смотрел на него с ненавистью.

— Да, молодые. Однако, не радуйтесь: не настолько молодые, чтобы вызвать интерес к делу прокуратуры. Но я тогда ясно понял, что и я не лучше Фишера... У меня все иллюзии исчезли приблизительно в одно время.

— Но чем же кончилась та ночь? Вино, молоденькие женщины... Вы, кажется, сказали, и музыка? Откуда же взялась музыка? Ах, то механическое пианино?

— Да, играло пианино... Вторую сонату Шопена. Знаете?

— Нет, не знаю... Значит, тогда он заговорил о кантаридине?

— И соната была отвратительная, и женщины, — говорил Браун, не слушая Федосьева, глядя мимо него на окно. — Все было отвратительно! Самое отвратительное был, конечно, он сам. И в нем, как в зеркале, я тогда впервые увидел себя... Очень страшно!.. Очень страшно, — проговорил он вполголоса.

«Верно и выпито было немало... Как и сейчас, — подумал Федосьев. — Или это у него тихая экзальтация? Не стоило затевать такой разговор, когда через час все будет зависеть от

крепости его нервов. Ну, да теперь все равно...»

— И вы, уходя, назвали ему дозу этого кантаридина?

— Какую дозу? Что вы несете? Я не врач.

— Может быть, не ту дозу назвали?

— Оставьте, Сергей Васильевич! Право, это становится скучно.

— Не ту дозу назвали? По ошибке? Или из отвращения?

— Бросьте ерунду!

— Если это ерунда, то во всем деле нет ровно ничего страшного. Я думал, в конце концов моральное начало, как водится, за себя отомстило. Но моральному началу, значит, не за что было мстить?

— Разумеется, не за что! Это вы из меня почему-то хотели сделать кающегося преступника.

— Однако вы сами, кажется, сказали...

— Я даже и похожего ничего не говорил.

Федосьев смотрел на него озадаченно.

— ...Потом вы ушли, а он остался с женщинами?

— Да... Впрочем, кажется, и женщины уже собирались уходить.

— Но следствие пришло к выводу, что на этот раз он не успел пригласить своих женщин.

— Следствие пришло также к выводу, что Фишера отравил белладонной Загряцкий.

— И больше вы ничего не знаете? Кроме того, что случайно влопались в историю, о которой лучше молчать.

— И больше я ничего не знаю.

— Но вы предполагаете, что Фишер умер от этой дозы кантаридина... быть может, чрезмерной?

— Умер от разрыва сердца.

— Но разрыв сердца вызвала эта доза?

— Или просто его развлечения.

— Так, так... Значит, не вы, — протянул с усмешкой Федосьев.

— ...Все-таки странная у вас жизнь. То кабинет ученого, то гарем Фишера, то динамитная мастерская... А впереди?

— Впереди у всех одно и то же. Так у Рафаэля, на «Spasimo di Sicilia» ведут Христа и разбойников. Конец пути уже виден вдали: на вершине Голгофы возвышаются одинаковых три креста.

VII

Они прислушались. Задребезжали колеса. Федосьев вынул часы.

— Ровно четыре. Пора.

— Спарафучиле аккуратен. Вашей школы, — глухо откликнулся Браун.

В первой комнате открылась дверь, послышались неверные шаркающие шаги. Хозяин, чиркая спичкой, бормотал ругательства. Коптящий огонек задрожал у двери.

— Что, готово? — спросил Федосьев.

— Так точно, — ответил с порога хозяин. — Эх, весь керосин сожгли, — проворчал он, вдвигая в лампу стекло. Так точно, готова лошадь... — Он невнятно добавил что-то похожее на «ваше превосходительство».

— Мы тоже готовы, — сказал Федосьев. — Ну, теперь пожалуйста сюда, надо за все расплатиться.

— Да, надо за все расплатиться, — повторил, вставая, Браун. Федосьев искоса на него взглянул. «Только бы не нашла на него какая-нибудь депрессия или меланхолия, — с беспокойством подумал он, — совсем будет теперь некстати... При тусклом свете лампы лицо Брауна было мертвенно-бледно и страшно. Впоследствии Федосьеву казалось, что оба

они, несмотря на внешнее спокойствие и привычный шутливый тон, были не вполне нормальны в эту долгую странную ночь.

— За сегодняшнее сколько? — спросил он хозяина и принялся отсчитывать ассигнации. Хозяин внимательно за ним следил, поверяя на лету счет. Выражение его лица становилось все более почтительным.

— Вот, получайте, — сказал Федосьев, называя цифру. — Так?

— Так точно...

— Это за гостеприимство и за хлеб-соль... Теперь, как было сказано, для вас приготовлено еще семь тысяч. Их вы получите, когда приедем... Вот они, — добавил Федосьев, показывая пачку ассигнаций. — Пять тысяч царскими, и две облигациями Займа Свободы... Облигации верные. Как раз и доход по ним подошел, видите: 16 сентября срок платежа?

— Царскими бы лучше, — ответил, почтительно улыбаясь, хозяин.

— Вот тебе раз!.. Не верит Займу Свободы! — веселым тоном обратился Федосьев к Брауну, который угрюмо молчал. — Да вы прочтите только, что на них написано, — сказал он. — Вот: «...Чтобы спасти страну и завершить строение свободной России на началах равенства и правды...» Видите? Как же вам не стыдно!..

— Царскими вернее, — в тон ему, с легким смешком, повторил хозяин.

— Вы дураку и купоны сбудете, их я вам дарю.

Браун нетерпеливо застучал слегка по столу. Федосьев посмотрел на него с веселым недоумением. «Мило шутят охранники», — так перевел он выражение лица Брауна.

— Ладно, все получите царскими, — переменив тон, сказал Федосьев. — Чемоданы вынесли?

— Так точно. Все снес из вашей комнаты, как вы приказали.

— Едем.

Они вышли. Еще не рассвело. Капал редкий скучный дождь. Было холодно, сыро и тоскливо. У фонаря стоял старый извозчий фаятон, на вид непосильный для клячи, которая мотала головой, косясь на вышедших из дому людей.

— Не опоздаем? — вполголоса спросил Браун.

— Никак нет, к самому отходу попадете, — оживленным полупшепотом говорил хозяин, укладывая чемоданы. Он, видимо, был очень доволен отъездом гостей. — Здесь вас не беспокоит? Этот я на козлы возьму... Пожалуйста, садитесь...

— Как бы только нас всех не задержали по дороге, — сказал Федосьев, глядя в упор на хозяина. — Или на пристани... И нам будет неприятно, да и вам тоже: не дай Господи, еще добрались бы до старых грешков, а?

— Не должны задержать... Бог милостив, — ответил, изменившись в лице, хозяин.

— Я тоже думаю, не должны... Едем.

Они сели. Хозяин застегнул мокрый фартук фаятона и, ступив на переднее колесо, вскочил на козлы.

— «На началах равенства и правды», — пробормотал Федосьев, застегивая пальто. — «Завершить строение...» Да, эти завершили!..

Он не вытерпел и вставил крепкое слово.

Огромная плавучая пристань, прикрепленная к берегу цепями, была разделена во всю длину высоким дощатым, недавно поставленным забором. Вдоль него расхаживали солдаты с ружьями. В конце пристани малиновыми квадратами горели окна большой будки. У наклонно спускавшихся к берегу мостков за столом сидел сонный чиновник и пересчитывал квитанции. На столе слабо светила лампочка без абажура.

Со стороны мостков раздался громкий, уверенный, смеющийся голос. Чиновник с неудовольствием повернул голову. В полосу света вступили три человека. Носильщик, тяжело ступая, взшел на пристань, сбросил на дощатый пол мокрые чемоданы и с

испуганным видом оглянулся на будку.

— Так нельзя, граждане, приходить в последнюю минуту... Пароход отходит, — сердито сказал чиновник.

— Was ist los?⁸³ — спросил Браун, поднимая брови. Он протянул чиновнику паспорт и билеты. Услышав немецкую речь, чиновник поднялся и поспешно взял бумаги.

— Билеты покажете на пароходе... Потрудитесь подождать, — сказал он и направился к будке.

— Подождать... Подождать надо, — медленно-вразумительно сказал пассажирам носильщик, показывая глазами на будку. — Чрезвычайная Комиссия, — шепотом добавил он.

Браун с недоумением оглянулся на Федосьева, как бы спрашивая, не понимает ли он. Федосьев пожал плечами.

— Schlechtes Wetter⁸⁴, — громко сказал Браун.

— Jawohl⁸⁵, — ответил Федосьев.

За дверью забора, у которой стоял часовой, слышался неясный шум. Издали доносились голоса. Наверху над забором ветер рвал черный дым, то унося за пристань, то придавливая клубы дыма к воде. «Верно, сейчас отходит», — подумал Федосьев. — «Как противно покачивается пристань!..» Он зевнул, отошел к скамейке и сел.

Намотанная на бревно, рядом со скамейкой, длинная цепь то вытягивалась над водою, то, изогнувшись, погружалась в воду серединой, к которой пристал пучок соломы. «Вот теперь это дуга», — думал Федосьев, представляя себе огромный вертикальный круг, дугой которого была бы шедшая к берегу цепь. «Вон-вон где сомкнулось бы...» Слабо блестели звезды. Дождь прекратился. Едва начинало рассветать. С моря дул резкий ветер. «Формула круга, кажется, два пи эр... Или пи эр квадрат? Эта туча похожа на Белое море... Еще каплет... Нет, это с брезента... Сейчас все сомкнется. Был Сергей Федосьев, нет Сергея Федосьева... Хорошо, что пристань плохо освещена... Долго просматривают... Бумаги чистые, но мог поступить и донос...»

Из будки вышли два человека: тот же чиновник, за ним немолодой разведчик в плаще поверх черной куртки. Они направились к столу.

— Извольте подождать, — сказал Брауну чиновник. Разведчик повернул выключатель, пристань залило ярким светом.

— Was? Versiehe kein Wort⁸⁶, — щурясь, пренебрежительно сказал Браун.

— Просят подождать, — повторил чиновник. Браун развел руками с видом полного непонимания.

— Так и в самом деле можно опоздать, — по-немецки сказал он капризным тоном избалованного туриста. «Jawohl», — хотел было ответить Федосьев, но решил, что неудобно повторять во второй раз те же слова, и проворчал: «Ach», неопределенно пожимая плечами. «Да, он на высоте положения... Хладнокровный человек... Разведчик едва ли из моих... А впрочем, кто его знает? Очень неприятный...» Не повернувшись в сторону разведчика, он снова зевнул, улыбнулся и забарабанил пальцами по сырому шершавому борту скамейки. Разведчик прошел мимо них и задержался взглядом на Федосьеве. «Вот-вот... Кажется, пропал», — решил Федосьев, барабанил пальцами чуть быстрее прежнего. Вдруг за дощатым

⁸³ Что случилось? (нем.)

⁸⁴ Скверная погода (нем.)

⁸⁵ Согласен (нем.)

⁸⁶ Что? Ни слова не понимаю (нем.)

забором отчаянно и страшно завыл свисток.

Дверь будки раскрылась настежь. Из нее вышло еще несколько человек. Один из них, во френче и в высоких желтых сапогах, держал в руке паспорта. Федосьев потянулся и встал. «Сорвалось! — сказал себе он, оглядываясь в сторону мостков. — Может, пора взяться за револьвер?.. Еще с минуту можно подождать...» Разведчик что-то тихо докладывал человеку в желтых сапогах. Тот на ходу кивнул головой и подошел вплотную к Брауну. «Если к нему подошел, а не ко мне, то, быть может, и не сорвалось...» Порыв ветра сдвинул пристань, цепь натянулась. Опять закапал редкий слабый дождь.

— Ваша фамилия? — резко спросил Брауна человек во френче. — Переведи, — приказал он стоявшему с ним штатскому. Штатский на дурном немецком языке задал вопрос Брауну. Услышав ответ, человек во френче пренебрежительно кивнул головой.

— Имя-отчество?

Штатский поспешно сказал ему вполголоса несколько слов.

— Ну, нет отчества, так пусть скажет место рождения... На этом-то и попадают, — добавил он. Узнав место рождения Брауна, человек во френче проверил по паспорту и повернулся к Федосьеву. — Ваше имя и фамилия?

«Сказать разве: Сергей Васильевич Федосьев?.. Его тогда разобьет удар, все-таки это будет приятно...» — Дождавшись перевода, Федосьев назвал имя и фамилию. «Неужели сходит?.. Тот, однако, очень интересуется чемоданами... Неприятный человек... Ох, как бы не из моих!..»

Немолодой человек подошел к группе и шепотом заговорил с товарищами.

— Что ж, что чемодан русский, — проворчал другой разведчик. — И немцы здесь покупают. Им дешево, у кого валюта.

— Не понимаю, зачем осматривать вещи, — недовольным тоном сказал Браун, вынимая из кармана ключи. — Ведь мы уезжаем, а не приезжаем... Все открыть?

«Переигрывает немного, но хорошо... Мастер... Кажется, сошло!..» — Федосьев поспешно вынул и свои ключи. — «Костюмы тоже петербургские...»

— Скажи ему, чтобы этот открыл и не разговаривал, — приказал переводчику начальник, ткнув пальцем в сторону того чемодана, который лежал подальше. Федосьев повернул ключ в замке, носильщик поднял крышку. В чемодане Федосьева поверх простыни и ремней лежала немецкая книжка в желтой бумажной обложке. Из книжки торчала аккуратно сложенная газета, виднелись буквы заглавия: «...geblatt». ⁸⁷ «Это очень хорошо вышло: geblatt... Подействовало... Кажется, на geblatt'e и выедем»... Носильщик, опустившись на колени, поспешно расстегивал ремни. Один из разведчиков приподнял костюмы, ткнул рукой в разные углы чемодана. Человек во френче кивнул головой, видимо, удовлетворенный тем, что заставил немца показать багаж.

— Schon gut? ⁸⁸ — с усмешкой спросил Браун.

— Гут, гут, — повторил, махнув рукой, начальник и отдал паспорта. — Пропустить, — приказал он подчиненным. Носильщик радостно принялся затягивать ремни. За забором послышался новый свисток. Он теперь прозвучал совершенно иначе.

— Скорей... Едва с ними не опоздали, — сказал Браун, вынимая с тем же сердитым видом часы. — «Переигрывает... Как бы тот не обозлился... А все-таки молодец!..» — оценил игру Федосьев. Человек во френче слегка кивнул им головой и пошел назад к будке в сопровождении своей свиты. Чиновник с завистью вздохнул, повернул выключатель, оставив одну лампу, и снова сел за свой голый некрашенный стол.

— Идем, барин, идем, — сказал носильщик, взваливая па плечи чемоданы. Часовой посторонился. Носильщик открыл дверь в дощатом заборе.

⁸⁷ Видимо, окончание заглавия «Tageblatt» (нем.)

⁸⁸ Все в порядке? (нем.)

Впереди прямо перед ними, сцепившись мостиком с широкой пристанью, сверкал огнями шведский пароход. На палубе сутились люди. По столбику медленно разматывали канат. Сбоку рванул холодный ветер.

— Скорей, скорей, барин! — закричал носильщик, ускоряя тяжелые шаги. — Деньги приготовьте!

Матросы отвязывали веревки мостика. Носильщик сбросил на палубу чемоданы. Браун сунул ему деньги. Носильщик побежал назад. Мостик скользнул на пристань.

Элегантный стюард в белом кителе приветливо приподнял фуражку.

— Die Herrschaften kommen etwas spät⁸⁹, — с твердым шведским акцентом сказал он, показывая улыбкой, что понимает причину опоздания и не одобряет русских порядков. — Каюты шестая и восьмая, — добавил стюард, заглянув в книжечку. — Вниз по этой лесенке и сейчас налево.

Лампа вспыхнула и ярко осветила красное дерево, овальное зеркало, начищенные до блеска ручки умывальника, белоснежную подушку, графин и стакан в стойке, полотенца на подвижном стержне.

— Чемоданы сейчас будут принесены в каюту, — сказал стюард, раскрывая складной стул. — Над койкой есть второй выключатель... Звонок здесь.

— Благодарю вас.

— Ресторан сейчас закрыт, но если господам угодно выпить кофе или закусить, я могу принести сюда. К сожалению, есть только холодный буфет.

— Да... Нет, не надо... Благодарю.

Стюард пожелал доброй ночи и вышел на цыпочках. Увидев Федосьева, он придержал дверь и пропустил его в каюту.

Браун сел на койку и засмеялся легким, чуть истерическим смехом.

— Хорошо? — спросил он Федосьева, — хорошо?..

Голос его сорвался.

— Тсс! — прошептал Федосьев, показывая рукой в сторону коридора. Он закрыл дверь. — Не говорите громко по-русски, на пароходе еще может быть проверка.

Федосьев сел на складной стул. Он внезапно почувствовал страшную усталость, такую, какой, быть может, никогда не испытывал в жизни. С минуту они молча смотрели друг на друга. Федосьев глубоко вздохнул и перекрестился.

— В сущности, контроль был детский, — не без труда выговорил он и протянул руку к графину. Зеркало отразило измученное лицо, глаза больного человека.

— Детский... Этот дурак в цирковых сапогах!

— Еще не успели наладить... Не все сразу... Я вам говорил...

Оба они овладели собой.

— Говорили... Знаете ли вы, что у меня в кармане?

— Динамит?

— Не динамит, но в этом роде: моя рукопись «Ключ».

— Это Бог знает что такое! — с искренним возмущением сказал Федосьев.

— Вы инсинуируете, что я мог бы вывезти из России более нужные вещи? Все-таки жаль было выкидывать...

— Я инсинуирую, что вы ради своего шедевра могли бы не рисковать хотя бы моей головой, уж если не собственной!

— Да ведь при нас все равно револьверы. Если б дело дошло до личного обыска...

— Немецкие путешественники могут иметь при себе револьверы, но никак не русскую рукопись! А стрелять мы условились только в последней крайности... Это Бог знает что такое!.. Хотите воды?

— Дайте...

⁸⁹ Несколько поздновато, господа (нем.)

Протяжно завыл свисток. Браун расплескал воду. Пароход задрожал и тронулся.

— Пошли?

— Пошли... Слава Тебе, Господи!..

— Могут еще остановить у канала.

— Нет, это маловероятно.

— Пошли!..

Браун взглянул в иллюминатор. В черно-серой пустоте плыли редкие, уже тускнеющие огни. Малиновые окна будки удалялись.

— Ну, как сошло?.. Что же вы молчите?..

— Вы играли божественно!.. Выпейте все-таки воды...

— Скажите тост!

— С удовольствием. Повод есть... Я все-таки не предполагал, Александр Михайлович, что вы так хорошо владеете собой!

— Не предполагали?

— Нет, нет...

— А вы сами?.. «Jawohl»... — Он снова захохотал. — Вы сами-то, а? «Jawohl»?

— Что ж говорить о старом воробье? Я не философ, я фараон.

— Ваше здоровье, фараон!

— Спасибо... Самообладание у вас поразительное... Нет, что бы вы там в трактире ни говорили, вы убили Фишера, — весело сказал Федосьев. — Не иначе как вы убили Фишера, Александр Михайлович.

VIII

Муся встретила Витю на перроне Гельсингфорского вокзала. Поезд еще не остановился, когда они увидели друг друга. Муся радостно вскрикнула и побежала к медленно подходившему вагону. Витя, с маленьким чемоданом в руке, спрыгнул с площадки. Они бросились друг другу в объятия, хотя расстались всего лишь дней десять тому назад.

— Слава Богу!.. Ну, слава Богу!.. Я так волновалась!.. Так беспокоилась!..

— Напрасно... Напрасно, — повторял счастливый, сияющий Витя, не зная, куда девать затруднявший его чемодан.

— Но как же все сошло?.. Благополучно? Гладко?

— Как видишь, совершенно благополучно... И рассказывать нечего, просто неловко!

— Что же было?.. Да говори, несносный!.. Это все твои вещи?.. Но сначала скажи, что Сонечка?.. Что Глаша? Как ее здоровье? Да говори же!

— Я так не могу, не все сразу... У меня в вагоне большой чемодан... Все благополучно... А у тебя?

— Ну, слава Богу!.. Я сейчас позову носильщика... — закричала она.

— Здесь что, совсем Германия?

— Почти Германия...

Носильщик подкатил тележку, вежливо поклонился, взял у Вити ручной чемодан и побежал в вагон.

— Да рассказывай же! Что было в Белоострове?

— Право, ничего особенного. Посмотрели на мой паспорт, порылись в каких-то бумагах... Потом в вагоне говорили, что это списки: кого велено задержать.

— Воображаю, как у тебя душа ушла в пятки!

— Удовольствие среднее, что и говорить.

— Я, однако, была убеждена, что ты проедешь!

— Отчего же ты волновалась?

— Какой ты глупый!.. Почти все проезжают через Белоостров благополучно.

— Далеко не все, осмотр был очень строгий, — обиженно возразил Витя, хотя только

что утверждал обратное. — Одних лишь немцев пропускали сравнительно легко, а всех других обыскивали, допрашивали. Потом говорили, что искали какого-то важного контрреволюционера...

— Нет, правда?

— Однако мой германский паспорт произвел магическое действие...

— Или, скорее, твой возраст.

— Возраст здесь ни при чем! И денег у нас, у немцев, не отобрали... Вот только чемодан самому пришлось тащить через мост.

— Бедняжка! Ты очень устал?

— Нисколько... Какая ты, однако, элегантная!.. Мистер Клервилль здесь?

— Вивиан уехал по делу в Выборг, вернется сегодня ночью. Он очень просил тебе кланяться... Так что же Сонечка и Глаша?

— Сонечка три дня плакала, не переставая. Теперь немного успокоилась.

— Бедненькая!.. Я тоже так по ней скучаю, так скучаю!.. А здоровье Глаши?

У Муси лицо стало испуганным. Витя вздохнул.

— Неважно.

— Что?.. Что?.. Ей хуже?

— Нет, не хуже, но так же, как было.

— Какая температура?

— К вечеру поднимается. Вчера было 38,9...

— Господи!.. Доктор был?

— Но к утру падает... Доктор приходил два раза. Утром 36.

«Да ведь это и есть самое ужасное, если так скачет температура! Это туберкулез!» — хотела сказать Муся.

— Григорий Иванович к вам переехал?

— Еще на прошлой неделе... Однако здесь совершенная Европа!

— Совершенная! Я тоже в первый день не понимала, что все это значит... Но постой, как же... Я так рада!

Носильщик вынес из вагона старый ободранный чемодан и поставил его на тележку. По-видимому, уважения у носильщика убавилось. Он спросил на ломаном русском языке, куда нести вещи.

— У меня внизу экипаж.

— Как экипаж? — изумленно спросил Витя.

Муся засмеялась.

— Вот и я в первый день не понимала: как экипаж? Теперь привыкла... Идем за ним... Но как я счастлива, что ты приехал!

— А я-то!

Они спустились по лестнице, беспорядочно разговаривая, расспрашивая, перебивая друг друга. Проходившие люди смотрели на них не слишком доброжелательно. Чиновник у выхода отобрал билеты, тоже явно не одобряя русскую речь.

— Здесь нас теперь не очень любят.

— Чухонцы? Правда?..

— Тсс... Глупый!.. Все русские вывески замазаны... Ты голоден?

— Как собака!

— Сейчас я тебя накормлю, будешь доволен после Петербурга... Но что же сказал доктор?

— Сказал, что у нее начало легочного процесса.

— Боже!

— Да... Какая чистота! Это после наших-то улиц!

— Она знает?

— Мы не сказали, но, кажется, она догадывается.

— Бедная Глаша! Она очень убита?.. О князе, разумеется, ничего не слышно?

— Ничего. И о папе тоже ничего...

— Ну да, так и должно быть, это в порядке вещей. Не слышно, значит все хорошо...

Вот этот экипаж, — сказала Муся носильщику и вынула из сумочки несколько монет.

— У меня есть мелочь. Я разменял в Териоках, только еще не разбираю их денег.

— Хорошо, хорошо, садись... Ну, а Григорий Иванович что?.. Вот вам, спасибо...

Носильщик снял фуражку и поклонился. Коляска на резиновых шинах тронулась.

— Что за великолепие! Это экипаж гостиницы?.. Григорий Иванович? Такой же, как был. Все так просили тебе кланяться... Точнее, не кланяться, а поцеловать...

— Так исполняй же поручение, глупый!

Они опять заключили в объятия друг друга.

— Ты знаешь... — сказала Муся слегка изменившимся голосом.

Витя вдруг от нее отшатнулся.

— Мистер Клервилль тоже живет в этой гостинице?

— Где же ему жить? Какой ты смешной, — сказала Муся и засмеялась. Ее смущенный смех сразу все сказал Вите. Как он ни приучал себя к этой мысли, она его поразила. «Повенчались!.. И это уже было», — подумал он, вглядываясь в Мусю с внезапной острой тоской и с жадным любопытством.

Через полчаса, выкупавшись в ванне, где простым поворотом крана можно было получить горячую воду, переодевшись в свой второй костюм, который был немного лучше дорожного, Витя спустился вниз по покрытой ковром лестнице в сверкающий чистотой вестибюль гостиницы. Он все не мог прийти в себя. Швейцар почтительно сказал ему: «Good evening, Sir»⁹⁰ — но и этот «Sir» не доставил Вите полного удовлетворения.

— Готов? Иди сюда, я здесь, в читальной, — негромко окликнула его из-за колонн Муся. На ней было другое платье, которого Витя не знал. Она сидела в мягком кресле, держа перед собой на коленях черную папку с иллюстрированным журналом. «Совсем другая... Английская дама», — тоскливо подумал он. Витя неловко подошел, ступая по мягкому ковру, и смущенно остановился перед Мусей.

Муся не читала, она «занималась самоанализом», — это выражение она прежде всегда произносила с подчеркнутой насмешкой. Теперь самоанализом занималась новая, опытная, рассудительная Муся. Думала она о своих делах, — о будущем больше, чем о прошлом: Муся вырабатывала конституцию своей супружеской жизни. «Да, я страстно, безумно люблю его», — искренно говорила себе она. Всего лишь десять дней тому назад, когда она, плача, расставалась с Петербургом, с друзьями, с тем, что в кружке называлось шутливо первой главой ее биографии, Мусе казалось, что она почти ненавидит Клервилля: как-никак, он разлучал ее со всем этим. Потом было другое, то, в чем еще не могла разобраться и новая, рассудительная Муся. Из этого теперь ясно выделилось одно:

«Да, страстно, безумно люблю его, люблю еще гораздо больше, чем полтора года тому назад, когда он был только сказочной мечтой... Ревнива ли я?» — спрашивала себя Муся. Этого она и сама не знала; обычно говорила друзьям, что нет ничего глупее ревности: «Вот уж мне было бы совершенно все равно!» Однако Муся и сама не очень этому верила. «Да, могут быть неожиданности... Во всяком случае, ему никогда и вида не надо подавать...» — Это было очень важным пунктом конституции. — «Вообще он должен думать, что он совершенно свободен. И в мелочах, Боже упаси, в чем-либо его стеснять: пусть уходит, когда хочет, приходит, когда хочет, как в свое холостое время, и дома его всегда должна окружать приятная, дружелюбная атмосфера, никаких упреков, никаких сцен, это только дуры делают!..» — советовала себе Муся, все-таки заранее чувствуя некоторое раздражение против Вивиана. «Хорошо, но если не в мелочах, если будет серьезное, что тогда? Тоже делать вид, будто мне совершенно все равно? (раздражение в ней росло). Об этом рано думать. Может, ничего серьезного и не будет... А я сама? Да, конечно, я безумно его

⁹⁰ Добрый вечер, сэр (англ.)

люблю... Но неужели за всю жизнь только с ним, с ним одним!.. Все-таки это несправедливо: почему мужчины могут? А что, если в один прекрасный день эта несправедливость мне надоест?.. Но теперь об этом глупо и стыдно думать: надо сейчас, сию минуту, выбить эти мысли из головы... Тот офицер? Ну, о нем и вспоминать смешно: просто был красивый англичанин в моем вкусе: Нет ничего дурного в том, чтобы им в ресторане „пополоскать глаз“ (Муся очень любила это сомнительное парижское выражение). — «Нет, офицер *так* ... А не *так* что?» — спросила она себя и сразу с ужасом и наслаждением почувствовала, что и спрашивать не надо: в душе у нее прозвучала фраза «Заклинания цветов». — «Да, с ним это могло бы быть, если может быть вообще... Не теперь, конечно: теперь думать об этом гадко! Скорее всего, я больше никогда его не увижу... А вдруг мы встретимся где-нибудь в Европе, через несколько лет, без войны, без большевиков?.. Я скажу ему: „Знаете ли вы, что я когда-то была почти влюблена в вас?..“ Нет, это плоско! Я скажу: „У вас глаза недобрые и с сумасшедшинкой, — это и сводит меня с ума!..“ Еще глупее!.. Но он что скажет? — ...„Чтоб и не заглядывала туда, куда ходил до сих пор“... (а я, как дура, повторила)... „Привет и пожелания скорейшего выздоровления“... „Извините, что взволновала вас“, — замирая, вспоминала она. Он опять скажет что-нибудь в этом роде, точно таким же ровным, бесстрастным голосом: „Очень рад, что с вами встретился... Как поживает мистер Клервилль?.. А ваши родители?..“ — Вот только глаза его говорят совсем другое, с этим он ничего не поделает...» — подумала Муся и увидела на лестнице Витю. «Этого я страшно люблю, его люблю вполне чисто, как брата!.. Разумеется... Я так счастлива, что он спасся, что я сейчас поведу его в ресторан... Бедный мальчик!»

Она, улыбаясь, его оглядела.

— Теперь молодцом. Пойдем обедать... Где ты хочешь обедать, здесь или на Эспланаде?

— На каком Эспланаде? Мне все равно. Как ты всегда...

— Мы обыкновенно завтракаем в гостинице, а обедаем на Эспланаде, это здешний Невский. Но сегодня можно здесь и пообедать. Кормят вполне прилично. Гельсингфорс, конечно, провинция, но хорошая провинция, эта гостиница почти как в Европе. Хочешь здесь?

— Прекрасно.

Господин, писавший за столиком письмо, оглянулся на них с недовольным видом, хотя они говорили негромко. Муся отложила твердую черную папку с золоченой надписью «The Graphic».

— Немножко рано еще для обеда, но ничего, можно, — сказала она, вставая. — Сюда.

В ресторане были заняты только два столика. За одним из них сидели немецкие офицеры в полной походной форме. Витя с удивлением на них смотрел. В первую минуту ему даже показалось, что он ошибся: уж не финские ли мундиры? «Нет, конечно, немцы!..» При всей своей ненависти к немцам, он невольно почувствовал престиж этих людей, стоявшей за ними страшной государственной машины. Моноклей у офицеров не было, — Витя думал, что все германские офицеры носят монокли.

— Мне тоже в первую минуту показалось дико, — сказала Муся. — Но они здесь очень вежливы, надо отдать им справедливость... Смотри, за тем столом, на другом конце зала, в штатском, это французские офицеры. Правда, странно? Война кажется какой-то несерьезной!.. Но мне нравится после большевистского стиля: в этом есть что-то рыцарское, они уважают друг друга.

— Как же все-таки это возможно? — проговорил изумленно Витя. Ему казалось, что эти люди должны тотчас броситься друг на друга.

— Месяца четыре тому назад, когда немцы здесь появились, они и были, говорят, полные хозяева. Теперь их дела на западе идут плохо, и финны, естественно, стараются поддерживать хорошие отношения с обеими сторонами... Где бы нам сесть?

— Все равно... Только подальше от немцев!

— Вот этот столик тебе нравится? Четвертый от тевтонского, по-моему, расстояние

достаточное.

Метрдотель почтительно отодвигал перед ними стол. На белоснежной скатерти лежала переплетенная книжка. Муся и Витя уселись рядом на диване.

— Ты когда-нибудь пил коктейль?

— Никогда.

— Позор!.. Я тоже в первый раз попробовала в понедельник. Меня Вивиан научил, — сказала Муся, искоса взглянув на Витю. — Они с этого начинают обед.

— Вкусно?

— Не очень вкусно, но потом приятное кружение в голове. У них целый каталог коктейлей, вот он... Дайте нам два Manhattan'a, — по-английски сказала она метрдотелю, который, слыша русскую речь, тоже несколько убавил на лице почтения.

— Два Manhattan'a, — повторил метрдотель. Он подал Мусе карту без переплета и отошел к французскому столу. Сидевшие за этим столом люди с любопытством смотрели на Мусю. Витя заметил, что один из них скользнул взглядом по немецким офицерам и тотчас отвернулся.

— Супа, я думаю, мы есть не будем? Здесь удивительные закуски. «Сексер», что ты, вероятно, знаешь?

— Да, конечно. Мы ведь бывали на Иматре.

— Значит, закуска... Потом ты что будешь есть? Я закажу sole frite⁹¹ и утку, это они недурно готовят... Но, может быть, ты не любишь sole frite?

Она звонко-весело засмеялась, так что с обоих столов оглянулись.

— Ты удивляешься, что я после Петербурга вдруг стала такой гастрономкой! Но ты и представить себе не можешь, как быстро возвращаешься в нормальные человеческие условия!.. Я в первый день тоже на все здесь смотрела, как баран на новые ворота, после селедки и бифштексов из конины, которыми нас кормила Глаша... Бедная Глаша, мне так ее жаль!.. Какое ты вынес впечатление из слов доктора? Это опасно?

— Он прямо мне сказал, что если...

— Постой, по случаю твоего приезда я хочу выпить шампанского. Да, да! У них есть французское. Собственно, напитки запрещены, но здесь все можно... Вот он идет... Что же это я все заказываю, это неприлично, ты уже большой. Закажи ему ты, а я, кстати, послушаю, как ты говоришь по-английски.

Витя выдержал экзамен с честью.

— Недурно, — сказала Муся. — Это очень важно, потому что мы тебя везем в Англию.

— Как это, вы меня везете?

— Да так, очень просто. Вивиан еще не получил инструкции, но, вероятно, мы скоро отсюда уедем... Впрочем, об этом мы еще успеем поговорить... А что, кстати, если б ты, хоть из вежливости, спросил меня, как поживают папа и мама? — смеясь сказала Муся.

— Ах, ради Бога, извини! Я совершенно забыл... Но разве ты могла с ними снестись? Я просто не подумал!

— Верю. Конечно, могла снестись. Кажется, папа занимает теперь при гетмане какой-то важный пост, — какой, не помню, но важный. Я это не очень одобряю, однако им там виднее. Притом я ничего не смыслю в политике... Ты тоже ничего не смыслишь, поэтому молчи. Писем я еще не имею, но получила две длинных телеграммы. И представь, шли всего шесть-семь часов!

— Что же они телеграфируют?

— Они так счастливы, что мы сюда вырвались... Собственно, в телеграммах говорилось только об этом (Муся не сказала, что вторая телеграмма была восторженно-поздравительной в ответ на ее извещение о свадьбе). Да еще папа сообщает, что послал мне чек на Стокгольм. У него в Стокгольме есть деньги. Это очень кстати,

⁹¹ Жаренная в масле морская рыба-соль (фр.)

конечно... Вивиан тоже получил здесь деньги от своей тетки, он ведь ее наследник, — сказала Муся, опять бегло взглянув на Витю. — Вот несут наши Manhattan'ы. И шампанское... Как жаль, что здесь нет музыки! Я люблю в ресторанах плохую музыку.

— А я не люблю... И потому, что плохая, и потому, что нельзя разговаривать.

Они выпили коктейль.

— Твое здоровье!.. Нравится тебе? Невкусно, но увидишь, как будет приятно потом!

— Нет, и на вкус хорошо, — солгал Витя. — Твое здоровье, Мусенька!

Коктейль скоро ударил в голову. Разговаривать стало легче: они только теперь почувствовали, что до того было не очень легко.

— Смотри, сколько подали закусок.

— Да, я этого давно не видал... Господи!..

— Кажется, нечего тебе желать доброго аппетита? Ешь, голубчик... О чем мы говорили? Да, кстати, о деньгах, — вскользь добавила она. — Или, вернее, не совсем кстати. Быть может, это тебя тревожит, мой друг? Правда? Так вот я хотела тебе сказать, что об этом ты совершенно не должен беспокоиться...

— У меня есть деньги, — поспешно сказал Витя.

— Да, эти три тысячи марок, конспиратор? На это далеко не уедешь, — смеясь сказала Муся. — Но я тебе открываю неограниченный кредит... Из *моих* денег, — подчеркнула она, — из тех, что я получаю от папы... Хотя и Вивиан мне говорил то же самое. Он тебя так любит...

Витя покраснел до корней волос. Муся весело на него смотрела. Вид того, как он ел, доставлял ей удовольствие.

— Спасибо, но мне не нужно... Я думаю, этих трех тысяч мне хватит для того, чтобы пробраться на юг России.

— Куда? На юг России? Ты с ума сошел!

— Нет, не сошел. Я твердо решил...

— Какой вздор! Тебя только там не видали! Тебе учиться надо, а не воевать... Но мы все это еще обсудим с Вивианом...

— И обсуждать нечего, — мрачно ответил Витя, подумав, что, если он с кем-либо не станет этого обсуждать, то именно с Клервиллем.

— Хорошо, хорошо... К тому же, ты и не можешь ехать на юг России до тех пор, пока не выпустят Николая Петровича. Подумай только, что с ним может быть, если они узнают, что его сын в этих южных армиях! — По изменившемуся лицу Вити она увидела, что нашла настоящий довод, которым и надо будет пользоваться. — Ну, да обо всем этом еще рано говорить.

— Да, рано... Хотя почему же рано?.. Значит, по-твоему, надо сидеть так, сложа руки, и ждать, пока им угодно будет освободить папу, Алексея Андреевича, всех...

— Витенька, но что же делать? Мы из Англии будем хлопотать, у Вивиана там большие связи... Все-таки, если кто может оказать протекцию, то скорее всего англичане.

— Они уже оказали протекцию капитану Кроми, твои англичане!

— Это дело еще не кончено. Я уверена, английское правительство так этого не оставит!.. Витенька, повторяю, что же делать? Во всяком случае отсюда ты сможешь посылать Николаю Петровичу провизию. Там ведь ничего нет. Согласись, для одного этого стоило уехать.

— Ты думаешь, это возможно? Мне и то совестно есть все это, — сказал Витя. — В то время, как там...

— Я думаю, скоро будет возможно. Ведь я и нашим буду все посылать. Глаше, Сонечке, Никонову...

— Да, им, вероятно, можно будет, но в крепость, как ты думаешь?.. Вы здесь ничего не слышали о заключенных? У нас ходят всякие слухи!.. Вы ничего не слышали?

— Ничего, решительно ничего, — сказала Муся. Витя беспокойно на нее взглянул: его встревожило это повторение: «*решительно* ничего».

— Наверное? Ты меня не обманываешь?

— Какой ты странный! Что же я могу здесь в Гельсингфорсе знать?

Муся действительно ничего по-настоящему не знала. Однако как раз накануне завтракавший с ними английский офицер, только что приехавший с русской границы, рассказывал, что у Лисьего Носа большевики расстреляли и затопили в северном Кронштадтском фарватере несколько барж с заключенными, вывезенными из петербургских тюрем. Клервилль был чрезвычайно недоволен тем, что его товарищ рассказал это при Мусе, — так на нее подействовал рассказ.

— Что я могу знать? — повторила Муся. — «Нет, это верно неправда», — сказала себе она. — Нам говорили, будто все эти слухи распускаются ими нарочно, чтобы запугать...

— Ты думаешь? Правда?

— Это очень правдоподобно... Возьми и грибков, они очень вкусные. Правда, хорошая закуска?.. Но скажи, ты рад, что приехал?.. Я так рада! А ты?

Он посмотрел на нее, — спрашивать было не нужно.

— Налей мне шампанского.

— Как, к закуске? Еще не достаточно холодное. Пусть остынет, — сказал Витя, тоже очень быстро становившийся гастрономом.

— Все равно... Спасибо... Но постой, ты начал говорить о Глаше, что тогда сказал доктор. А я тебя прервала, сама не знаю, как...

На этот раз смутилась и покраснела Муся. Витя смотрел на нее с улыбкой.

— Я знаю, у тебя сейчас обо мне нехорошие мысли, — сказала она, грозя ему пальцем.

— Мусенька! У меня о тебе нехорошие мысли?

— Да, да... Ты думаешь: чуть только она оказалась в Европе, чуть только вернулась прежняя жизнь, и уже ей больше нет никакого дела ни до Глаши, ни до Сонечки, ни до всех тех, кто там остался!.. Гадкий мальчишка, ты врешь!

— Мусенька, но ведь я никогда ничего такого не говорил!

— Но ты это думал, это еще хуже! И это совершенная неправда!

— Да это ты все выдумала!

— Клянусь тебе, Витенька, это неправда, — сказала Муся, взяв его за руку. — Да, я люблю эту жизнь, шампанское, все это, — сказала она, — но ты не думай, что я бессердечная эгоистка! Ты и представить себе не можешь, как я вас всех люблю: и Глашу, и Сонечку, и бедного князя, и Григория Ивановича!.. О присутствующих не говорят... Да, ты себе представить не можешь, как они мне дороги, как я к ним привязана!.. Я всю дорогу плакала, когда мы выехали из Петербурга, даю тебе слово, всю дорогу, так что на нас смотрели в вагоне... Да вот, у меня и теперь слезы... Как глупо!..

У нее в самом деле на глазах были слезы.

— Но ведь я решительно ничего не сказал!

— Вот Глаша, — сказала Муся. — Я знаю, ты думаешь, что я ее не люблю... Это неправда!.. Все равно, какая она, — добавила Муся, — вернее, какая она была... Но у меня душа рвется, когда я о ней вспоминаю... Как она изменилась, Глаша! Признаюсь, я не думала, что она может так любить! Ведь и болезнь ее, и все, это из-за того, что случилось с Алексеем Андреевичем. Чего она только не делала в те дни!.. С опасностью, да, с настоящей опасностью для жизни! Я думаю, она способна была бы бросить бомбу и пойти на смерть, как та, что стреляла в Ленина... Глаша не очень добрая, я гораздо добрее, правда? Но, как человек, она лучше меня, я это отлично знаю. Что ж делать, если я такая...

— Какая?

— Что ж делать, если я не нахожу, что дурно любить нескольких сразу и по-разному, — бестолково говорила Муся (Витя решительно не мог уследить за странным ходом ее мыслей). — А Глаша однолюбка... Сонечка, та нет, та не однолюбка, она скоро Березина разлюбит. Зато, пока она любит Березина, для нее никто другой не существует... Она однолюбка на год, — сказала, засмеявшись, Муся. Витя смотрел на нее с нежностью.

— Но ведь ты же мне сама сказала, — начал он, — с месяц тому назад...

— Ты думаешь, я помню то, что я говорила месяц тому назад? Или ты думаешь, что я чувствую теперь так, как месяц тому назад?... Налей мне еще. Правда, чудное шампанское?

— Очень хорошее. Настоящее.

— Клоп! «Настоящее» — передразнила Муся. — Шведы, когда пьют, говорят «сколль!» и потом с минуту смотрят молча друг на друга. Так у них полагается... Сколль, Виктор Николаевич. Отвечай то же самое. Живо!

— Сколль, Мусенька.

— Ну, хорошо... Но что же все-таки сказал о Глаше доктор? Мы все сбиваемся, — сказала она. Оба они засмеялись и им тотчас стало стыдно.

Муся и Витя долго стояли в коридоре у дверей Витиной комнаты: они все не могли наговориться. Голова у обоих кружилась.

— У тебя все есть? Пижама?

— Да, все, все...

— Постели здесь идеальные! Сейчас же ложись и спи...

— Зайди ко мне, Мусенька, милая... Ведь всего десять часов. Еще поболтаем...

— Ты устал с дороги, сейчас же ложись... Разве зайти на минуту?

— Зайди, милая!

— Здесь нельзя поздно разговаривать, люди рано ложатся... Нет, нет, марш спать!

— Когда он приезжает?

— Во втором часу.

— Ты будешь его ждать?

— Это тебя не касается!

— Я говорю не об этом, но вообще: все, что касается тебя, касается и меня!

— Вот еще! Какие ты говоришь глупости! — «Этот, правда, за меня в огонь и в воду пойдет!» — подумала Муся с радостью, хоть ей совершенно не было нужно, чтобы кто-либо шел за нее в огонь и в воду. — Нет, в самом деле ты немного поглупел, оставшись без меня больше недели. Но в Англии ты у меня опять поумнееешь.

— Не буду я ни в какой Англии.

— Это мы увидим!.. Где у нас обосновался Григорий Иванович?

— В кабинете Семена Исидоровича. Сказал, что знать ничего не желает и берет себе самую лучшую комнату. — ответил с легким неудовольствием Витя: перед его отъездом Никонов почти насильно отобрал у него револьвер, и этого Витя в душе еще не мог ему простить: с револьвером ушла большая доля поэзии в его путешествии по чужому паспорту.

— Узнаю его! Милый Григорий Иванович, я так его люблю! Нет, ты ничего не понимаешь, ты очень, очень поглупел, Витенька!..

«...Да, она эгоистка! — думал Витя. — То есть в ней есть и эгоистка. Но она, кроме того, что прелестная, она и добрая, по-настоящему добрая. Да, она говорит правду, что нежно любит и Григория Ивановича, и Сонечку, и даже Глашу... „О присутствующих не говорят“... Как ей не стыдно было так сказать об этом! Ведь она знает, что я люблю ее, что мне ничего не нужно, только на нее смотреть... Хотя нет, неправда, нужно и другое!..»

— Так ты ничего не знаешь о твоём шефе? — вдруг спросила Муся, не совсем естественно засмеявшись. — Об Александре Михайловиче?

— Ничего не знаю.

— И ты ни разу его не видел с тех пор?

— Ни разу... Ведь он тогда через тебя же запретил мне искать его.

— Запретил, запретил, — повторила с досадой Муся. — Неужели ты так ничего о нем и не узнал? Не слышал, бежал ли он?

— Ничего не узнал, — хмуро ответил Витя.

Муся вздохнула.

— Это необыкновенный человек, — сказала она мечтательно. — Он земной, о, да,

очень земной!.. И вместе с тем у него в глазах есть что-то нездешнее... Кажется, вы так, поэты, говорите: нездешнее?

— Я не поэт, — еще более хмуро возразил Витя. Интонация Муси придавала слову «поэт» явно обидный характер.

— Но и ты это видишь, правда?

— Я вижу только, что коктейли очень сильная вещь.

— Дай Бог, чтобы он спасся! — не слушая Витю, сказала Муся. — Нет, не может быть, чтобы он погиб! Не может быть, Бог этого не допустит!.. — тихо проговорила она, закрыв глаза и мотая головою.

IX

Баржа качалась, кружилась и кренилась, но все не шла ко дну, несмотря на заливавшие ее волны. На Лисьем Носу распоряжавшийся казнью человек в шинели и шпорах начинал терять терпение. *Неподвижный, как статуя*, он стоял у вбитого в землю, по его приказу, факела, любуясь и силой революционного действия, и факелом, и своей позой, и в особенности своими чувствами. В его уме пробегали обрывки скудных исторических воспоминаний, — быть может, благодаря им возникла и самая мысль о расстреле и потоплении баржи с заключенными. Он был *человек* судьбы. Но очень долго стоять в позе статуи было трудно. Вдобавок шел дождь.

Разведчики выгружали пулеметы из моторных лодок на берег. В одной группе спорили: сколько времени еще продержится баржа, черневшая вдали шатающимся пятном, — ее невозможно было хорошо разглядеть в полутьме.

— Больше пяти минут не продержится.

— Ну, и больше может.

— Никак. Пари?

Вновь поступивший разведчик, впервые в эту ночь откомандированный на казнь, с ужасом смотрел то на баржу, то на пулеметы, то на начальство. Лицо у него изредка сводила судорога.

— На что пари?

— На фальшивую керенку.

Послышался смех. Человек судьбы с неудовольствием оглянулся на подчиненных: смех не соответствовал грозному величию революционной сцены.

— Верно, плохо открыли кингстоны, — отрывисто бросил он, видимо, щеголяя морским термином. — С подрывными бомбами тоже никогда не знаешь.

— Нет, товарищ, все изрешетили... Сейчас потонет, будьте спокойны...

— Отсюда все видно, — говорил один из старших разведчиков, надевая чехол на пулемет. — Вон Финляндия, вон Россия, а вон там будет Швеция.

— Не Швеция, а Европа...

— Много ты знаешь! Швеция и есть Европа.

— Туши фонари, давно пора...

— Где Россия? — рассеянно спросил новый разведчик.

— Вон там, — показал старший. Но там ничего не было видно: стоял туман. Небо меняло цвет. Луна становилась все бледнее. Дождь усиливался. Начинался пасмурный день.

— Ну вот... Тонет!.. Готово... Что я говорил! — сказала сразу несколько голосов.

Действительно баржу захлестнуло совсем. Ее край нелепо поднялся вверх и завертелся. Затем черное пятно исчезло. Разведчики замолчали. Факел зашипел и погас. Человек судьбы высоко поднял руку, медленно опустил ее и, насвистывая «Интернационал», пошел к освещенной брандвахте.